

ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 3/2014



3'2014

- *Дмитрий Румянцев*
Без Логоса, без Аттиса,
без Лотоса
Стихи
- *Мария Ануфриева*
Карниз
Роман
- *Елена Скульская*
Снег пританцовывает на батуте
Рассказы
- *Михаил Румер-Зараев*
Возвращение на землю
Как один крестьянин сто горожан прокормил
- *Евгений Абдуллаев*
Семиградье
Семь поэтических сборников 2013 года

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.ru, www.oaomrk.pф
тел.: (495)745-84-28; (49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 21.01.2014.
Подписано в печать 22.02.2014.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 5196. Цена свободная.

Дружба народов

3'2014

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь

Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Без Логоса, без Аттиса, без Лотоса. Стихи	3
Мария АНУФРИЕВА. Карниз. Роман	9
Анатолий МАРУЩАК. Обереги. Стихи. С украинского.	
Перевод автора. Вступительная заметка Бориса Евсеева	101
Елена СКУЛЬСКАЯ. Снег пританцовывает на батуте. Рассказы	104
Владимир САЛИМОН. По дороге в город-сад. Стихи	120
Алексей САМОЙЛОВ. Две маленькие повести	126
Наталья ПОЛЯКОВА. Барабан счастья. Стихи	159
Ирина КОТОВА. Койко-жизнь. Рассказ	162

Золотые страницы «ДН»

Борис СЛУЦКИЙ. Стихи и переводы	167
Геворг ЭМИН. Стихи. С армянского. Перевод Бориса Слуцкого	172
Дебора ВААРАНДИ. Стихи. С эстонского. Перевод Бориса Слуцкого	173
Роман СЕНЧИН. Из тайных книг (Андрей Платонов. Чевенгур)	174

Публицистика

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ. Возвращение на землю. История о том, как один крестьянин сто горожан прокормил	178
--	-----

Нация и мир

Лиана АЛАВЕРДОВА. Ехали-ехали и куда же мы приехали? Социалистические Штаты Америки глазами эмигрантки	208
---	-----

Критика

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Семиградье. Семь поэтических сборников 2013 года	219
---	-----

Книжный развал

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА. Странствие как anti-travel	233
Олег ХЛЕБНИКОВ. «В своей ежедневной стране»	237
Владимир ШПАКОВ. Альманах + альманах	239
Нина ГАБРИЭЛЯН. Палиндромы судьбы Глана Онаняна	244

Галерея Матяни Назаренко

Айдан Салахова — художник	248
К нашей вклейке: Айдан САЛАХОВА — скульптуры	

Эхо

Расцеп. Раздор. Разбор. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	250
---	-----

	ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ, ФОНДА «РУССКИЙ МИР», МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)
---	--

Дмитрий Румянцев

Без Логоса, без Аттиса, без Лотоса

* * *

Нас мало: мы шайка, мы секта,
возможно нас скоро распнут:
ревнители гнutoго текста,
мы сбиты из манкого теста —
для тех, кашеварящих тут.

В эпоху распада, где радий
кровавый замешивал борщ,
мы тот Сумасшедший корабль —
космический чудо-корабль,
расчерченный Ольгой Форш.

И в ночь горлового сиротства
азд — кифаред — астронавт,
мы ищем вселенские сходства,
проявочный свет парадокса —
страховочный медный канат.

Когда пустотелая масса
жирует, блудует, кутит,
поэзий лампадное масло
восторг отделяет от мяса
и светит в пути.

Нас, пьющих строку, как в фрамугу
ворованный дух бытия,
соделает рифмой друг к другу
небесный Хаям.

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «культурология». Автор книг стихов «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Страдательное животное» (Омск, 2013). Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Омске. Последняя публикация в «ДН» — № 1, 2013.

Отцы и дети

Я незаметно перешёл в «отцы»,
в пустынники, кого дичатся дети
подросшие. Но кто за всё в ответе?
Иван Сергеич? Пушкин? Лао-Цзы?
Иль будущее?
Жареный петух —
страх бытия (небытия) — сегодня
клюёт меня, как в сказке, мутит дух:
я — царь Дадон? А дети — наша сводня
с грядущим шамаханским?
Что, гаврош?
мой нахалёнок, правды — не найдёшь?
Познай себя! Ты сам — мой высший суд
из книжечки Виталия Бианки
(пичужка рая вроде коноплянки),
за труд
не посчитай убрать меня с пути:
теперь мне время тлеть, тебе цвести.
Рисунок мой, мой жребий, мой чертёж
прими в наследство и сотри, как ластик
(мой визави в контакте, одноклассник,
мой запоздалый внутренний правёж).
Чего ж ты ждёшь?
Но, время позже, на краю земли,
куда ты кинешь рыжий ком суглинка,
встань на меня и уходи тропинкой
знакомою, — я чавкну под ботинком,
ты ж — сына по деталям подбери.

«Дай мудрости ему в поводыри,
чтоб подобрал себе, как искони
Ты — Сына».

В ожидании приказа

В снежки играют мокрые солдаты
за КПП. Суббота. Увольнение.
Слепи снежок асбестовый мохнатый,
как будто головы усекновение
Предтечи Иоанна. Вьюга кружит,
как Саломея — ворохом слоёным.
И кто-то этим утром занедужит,
но кто-то холод ордена заслужит,
когда в огонь отправят батальоны.

Ну а пока евангельская притча
играется предтечею сраженья.
Кровь снегирей и золото синичье.
И снежный атеизм и вера птичья.
И до приказа, как до воскресенья,
две тыщи лет.

Безумный Макс

На свете погуляв и почудив,
запомнившись не всякому «хорошим»,
я знаю: вы, Максимилиан Волошин,
до многого дознались, возлюбив

людскую боль: средь озверевших масс,
войны, вы укрывали беглых красных
и белых, исходили из согласных,
созвучных звуков моря: «Он бы спас!»
И на спасённых опускался Спас.

Вы мыслили системами миров,
у вас в мозгу вселенные рождались
и гибли. И история ковала
ход легионов с битвами богов.

Как вышло, что такая мелочь — жалость,
в железном тигле звёзд, мегамиров
вошла вам в кровь.

Не только ли поэтому сейчас
вы живы здесь: вот на волнах залива
сплетается густая ваша грива,
есть профиль у скалы — Волошин Макс.

Природа безразлично-терпелива.
История кроваво-некрасива.
А мы нелюбопытны и ленивы.
Нам не хватает вас.

* * *

Любви прилипчивое таинство
ещё не жрала катастрофа:
— Но непременно мы расстанемся
как «циники» Мариенгофа!
Война ли разомкнёт любовников,
разлад, тяжёлая планида.
Вот я сижу на подоконнике
с душой солдата-инвалида.
Курю прогорклое, колющее,
молюсь на церковку в Коломне,
и небеса благополучия
ещё не треснули от молний.

Концерт на фабрике

Вышла тьма чернорабочья, —
так писал Кривулин Виктор
про поездку Блока, точно
на рождественской открытке.

Блок о Боге думал плохо
и в «Двенадцати» ославил.
От стихов его оглохли
все фабричные *крестьяне*,

у кого в мозолях руки
и мазуте непременно.

Там, где цеховые звуки
как мосты вздувают вены.

Где болты, опока, гайки
с ржой от пота — до могилы.
Ни борделя, ни гадалки —
труд и труд. Как пелось мило

про кутилу и угрюмца!
Лишь бы дети шли бы мимо
красоты его бес-путства
и добра не знали криво.

Сюр

Как взбалмошный Дали закручивал усы,
так здесь, в деревне, шеи у гусынь
заверчены. А баня вся расселась, —
сбегаю в сад: подёрнут ряской пруд
(как рясою митрополитов пуп),
и за весло чего не зацепилось?!
И облака уходят на Фигерас.

Привет тебе, испанская тоска, —
как Сальвадор, увидев ишака,
издохшего на праздник жирным мухам, —
из детства вынес об искусстве жить
какую-то наверченную жуть,
так я на стихотворство зреньем слуха

гляжу — вот дребезжит велосипед...
стрекошет всё, поёт; и мне вослед
жужжит, свистит, края переполняет,
исходит смертолюбьем бытия.
И я, как жадных рыб на мотыля,
ловлю стихи, которых не бывает.
Быть, иль не быть? — рассудок забывает.
...А рыбина меня переплывает
в пруду. Меж облаков, жуков зевает —
в дуэнде дня...

Эскиз

На ужин: хлеб, вино и рыбий хвост, —
живёт в голодной дурноте, в дурмане
нужды. И на салфетке видит гость
расписку Амедео Модильяни.
Но Модильяни вновь грунтует холст.

Но Модильяни покупает ~~кнеть~~ [хлыст?] —
гонять чертей, приманенных гашишем
по лестницам [эпитеты] Парижа.
Натурщица, накинув платье, вышла
на новый холст.

И начинает править мастихин
её уход. И густо пахнут спермой
две простыни в углу. И катит Сена
в [такой-то] фильм.

И в этот трюк на белом полотне
болезненная Жанна Эбютерн
несёт ему ребёнка. Но не слышит
художник плача детского. В себя
он погружён и ценит...[сам себя],
от гордости выходит из себя
и пишет.

И вот пока он мажет и скоблит,
и ставит миру целому на вид
на видном месте свой треножник, позу
меняет всё. И, схаркивая кровь,
ждёт Амедео замысел, как жрёт
плоть огненный эскиз туберкулёза.

Разрыв

Год прошёл с невесёлого дня.
Боль прошла, я очнулся над книгою.
Кем ты будешь, уйдя от меня,
содержанкой, настасьей филипповой?

Кроткой спутницей чьей-то? Да ну! —
в этой душевной души достоевщине!
Про любовь, как в «Мужчине и женщине»
ты молила меня в старину.

Ты хотела страстей! Ах, зачем
показное, чужое, заёмное?
Если мы друг для друга, как родина
с кислым дымом над рощей ничьей?

Ты — блудница, и я — идиот,
и не Мышкин, а гадкий и маленький.
И тебя эта сводня и маменька,
жизнь, ещё заберёт в оборот.

Возвращайся в наш маленький ад,
чтоб подняться до света победного —
той, что годы и годы назад
встретил я над рекой (наугад
говорю: заблудившийся Дант) —
беатриче для рыцаря бедного...

* * *

Что ты кружишь по комнате, гений Эйнштейн?
Что ты формулой смелой бумагу мараешь?
У Милевы у Марич темно на душе:
ничего не исправишь!

Вот и сын, и она ждут в пустотах души:
всё покрыло безумье. Планеты по кругу
обращаются, тянутся даже друг к другу.
Мрак — расплата, испод озаренья, скажи?

Так дерзай, раз привык, мысли, если привык! —
как твой разум от формул любви не взорвался? —
ты от мук откупился, от *них* отказался,
показавши язык...

И когда голосит полнолунная ночь
светом совести в бездне сердечной, я знаю,
что не гения я, но себя проклиная
(что любимых своих за стихом забываю)
за бессилье помочь, нежеланье помочь,
невозможность помочь...

Ося

Мне говорила с улыбкою мама
что-то навроде того:
«Ты у меня не хитрей Мандельштама»,
но не читала его.

Как же он пел, этот дрозд или зяблик
с фомкою к юной душе,
так, что в ворованном воздухе зябло
сердце и думало только о ямбах,
как о большом барыше?

Мир воровской с поэтическим смежен:
в этом да в том паханы
знают друг друга, сживают, понеже
распря — в масштабах страны.

Ося Калёный порой над куплетом
плакал, да резал овцу,
смачно злословил о том и об этом,
неравнодушный к словцу.

Вот он выходит из бара: «Эй, гаврик,
к девкам меня отвези...
Что за поэма: ро-за-рий, дендр-ааа-рий!
Пусто в мошне, а в мошонке — сценарий»,
и не платил за такси...

Жить, не работав до пота, а правив
ритм, кто меня искусил?

* * *

Всё меньше поэтического вымысла,
поэзии космическое здание!
Всё больше быта. Сор в стихах да вывески,
наверное, и выдадут старание,
диспетчерским даны дискантным голосом
и, заданные муторностью опыта,
как проклятые музой гранки опуса,
останутся формально-чистым фокусом
без Логоса, без Аттиса, без Лотоса,
без снятия с Христа шипов страдания.

Мария Ануфриева

Карниз

Роман

В ней с детства как будто умещались две девочки: мечтательная тихоня с пухлой книжкой на острых коленках и бесшабашная пацанка с растрепанными косами, верховодившая окрестными сорванцами. Пятерки за домашние задания соседствовали с жирными двойками по поведению. Она поила кукол чаем, а потом неслась на улицу и вела малолетнюю банду войной на соседний двор. Когда выросла, девочки угомонились и лишь изредка, не утерпев, лезли в ее отношения с мужчинами, нашептывая: «Включай очаровательную глупышку» — нет! — «врубай стерву», и, надо сказать, редко ошибались. А уж когда она влюбилась, обе умолкли, такого не ожидали даже они. Ия оказалась женщиной с изюминкой.

Изюминки, если вдуматься, есть у всех. Над кем-то создатель задумался и просыпал целую пригоршню. У одного они легли в сердцевину, а сверху — толстый слой теста, и не скажешь, что внутри есть изюм. У другого лежат на поверхности, а откусишь — одно тесто.

«Мне так хотелось, чтоб люди хотели иначе. Вот беда — попала сама под раздачу», — напевала под нос Ия слова из песни только входившей тогда в моду певицы Земфиры и смотрела на картинку с кошкой, прищипленную иголкой к стене.

Кошка идет по краю серой покатой крыши. Мягко пружинят лапы, глаза прикрыты, зажмурены, будто от удовольствия, и не смотрят вниз. Под кошкой квадраты дворов, нити узких улиц, перекинутые крест-накрест ленты широких проспектов и крыши, крыши, крыши. Высоко забралась кошка, но крыша под ней изгибается или обрывается — этого уже не видеть, картинка заканчивается волнистым краем. Замерла кошка на краю и словно трогает лапой тонкую иглу шпиля далекой крепости. То, что крепость называется Петропавловской, Ия сперва не знала. Она эту картинку еще в Новотитаровке из журнала выдрала.

Ия по-турецки сидела на письменном столе и в такт певице постукивала пальцами по учебнику «История философии». На его обложке были изображены элегантные французские интеллектуалы Камю и Сартр, и широколобый, с

Мария Ануфриева родилась в 1977 г. в г. Петрозаводске. В 2001 г. с отличием окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Работает в сфере рекламы. Участник Международных Волошинских фестивалей. В 2012 и 2013 гг. участвовала в Советании молодых писателей при Союзе писателей Москвы (семинар прозы), по результатам рекомендована в Союз писателей Москвы. Рассказы публиковались в журналах «Дружба народов» (№7, 2013), «Кольцо А» и др. Роман «Медведь» вышел в издательстве «Время» (2012). Живет в Санкт-Петербурге.

волнистой бородой мужик. Имя его, как сообщал учебник, Аристокл. Это за косую сажень в плечах к нему приклеилось греческое Platos.

Ноготь оставлял тоненькие следы полумесяцем на глянцевого лице Платона-Аристокла, но она не замечала, что портит учебник и широкий лоб ученого мужа, и все отбивала и отбивала такт: *«Ромашки-и-и... Дурной мальчишка ушел, такая фишка, нелепый мальчишка»*. Нелепо переживать, когда уходят, тем более дурные, тем более мальчишки. Это она права.

Земфира ей определенно нравилась. В ночном эфире популярной городской радиостанции шла запись интервью, которое перемежалось песнями с ее первого, готовящегося к выходу альбома.

Разные имена бывают на свете. Вот певицу Земфирой называли. Земфира-Зефира. Должно быть, не сладко жилось ей с таким именем, пока звездой не стала. Потом-то уже плевать. Готовое имя для сцены, цыганское будто, и выдумывать ничего не надо.

Ее наградили именем — Ия. Назвали бы хоть Ая или вот общеупотребительно: Оля...О-ля, О-ля. Много Оль хороших на свете встречается, а вот имя — пустышка, дырка от бублика.

Отец-то хотел назвать ее Лаума, но мама воспротивилась, мол, ведьмы только нам не хватало. Мама с рождения в Латвии жила и в языке, слава Богу, разбиралась. Про ведьму, конечно, никто бы не вспомнил, но дразнили бы ее в школе: а) Вайкуле, б) лучше не вспоминать. «Лаумой» называлась фабрика нижнего белья в родной Лиепе.

Может, имя этой фабрике и помогло выстоять тогда, когда почти все заводы в их городе остановились. И отцовский машиностроительный, и мамин завод детских колясок давно закрылись, а трусики и лифчики «Лаумы» до сих пор нарасхват.

Родители никогда не ссорились. Жили в согласии до тех пор, пока однажды не расстались навсегда. Но тогда до крушения страны, зацепившего и обрушившего их семью, еще далеко было, поэтому называли дочку компромиссно и даже немного под стать любимому городу — Ия. Впрочем, это не избавило ее от чертовинки в характере, как будто предугаданной не сумевшим настоять на своем родителем.

«Ия из Лиепай», — так она порой и представлялась до сих пор, хотя где теперь Лиепая и где она... Но «Ия из Новотитаровки» звучало бы совсем поганно.

Все ее существо восставало против этого чужого корявого названия, которое клеймом прописки в паспорте имело теперь к ней прямое отношение. Зато гражданка Российской Федерации. Сама сбежала от бабушки, к матери с отчимом на Кубань пожаловала, чтобы школу в России закончить. Они тогда дом новый отстроили и братиком ее наградили. Но не переплюнули оставшегося в Лиепе отца — тому молодая жена родила двух погодков.

Так у Ии появились три брата и пропала семья, а потом и родина. Став россиянкой, к бабке в Лиепею студентка из Петербурга приезжала как иностранная гостья, по приглашению.

Дома, в Латвии, русских притеснять стали, и казалось, никаких перспектив, а вот теперь, говорят, в ЕС их примут. Если так, выходит, она будущую Европу надеревню променяла, патриотка хренова. А она не в Россию хотела, а просто к маме.

В той, лиепайской еще школе, приклеилось к ней имя Изаура с легкой руки классной руководительницы. Сериал «Рабыня Изаура» шел, а она всегда смуглой была, черноволосой, а тогда кожа вообще желтизной отливала.

— Гляди-ка, ну прямо вылитая Изаура, — сказала их классная на обеде в столовой училке из параллельного 4 «Б». Та стояла через три стола, за которыми сидели все четвертые классы школы, и, услышав, закивала головой:

— Еще и косички вон черные по бокам!

Классы заржали и принялись выискивать дона Леонсию, но среди розовощеких мальчиков с белыми, как лен, волосами так и не нашли.

Через неделю в классах объявили карантин, потому что Ию отвезли в больницу, определив желтуху, но это уже не имело никакого значения. Она стала Изаурой и, вернувшись через два месяца в класс, немедленно познакомила свой четвертый «В» со всем, чему сама научилась в детской больнице: петь матерные частушки и аккомпанировать себе «тюремной музыкой». Пацанка внутри нее ликовала. Костяшками пальцев отбиваешь удалой ритм на краю парты: гоп-ца-ца, гоп-ца-ца...

Это умение потом не раз пригождалось ей в жизни для того, чтобы разбавить пресность какой-нибудь шибко благородной компании. А первый раз в Новотитаровке понадобилось, когда далекие от политеса акселераты-одноклассники пытались цапе из Прибалтики свои понятия внушить. Она через это «гоп-ца-ца» и выпитую бутылку домашнего вина тогда почти в доску своей стала.

Совсем своими девчонки становились на доске. На досках, вернее, в покосившемся сарае на краю станицы. Он бесхозный, что ли, был, открыт всегда. Там и компании гудящие собирались, и парочки забредали. Дурная слава об этом сарае шла.

После выпитой бутылки и ее туда зайти тянули, но островки здравых мыслей, дрейфующие в голове посреди разлившегося винного океана, подсказали ватным ногам дорогу в обратном направлении, к дому.

— Чё ты ломаешься, опытная же телка, сама говорила, — подловил ее на перемене следующим днем Рогатый.

Настоящий казачина, и даже челка его вилась и складывалась сама собой в замысловатый чуб. Димка Рогатый его звали — да, это она помнит, хотя память ее имела быстрое свойство выкидывать то, что держать в голове не хотелось. Но Рогатого — помнит, куда уж деться, как-никак первый ее мужчина. И главное, зачем...

Чтобы не хуже других, чтобы не в грязь лицом. И потом, сама так круто себя держала в компании Рогатого после бутылки вина: дескать, ничем меня не удивишь, я и не только «гоп-ца-ца» умею, все уже давно у меня там, в Прибалтике, случилось, и даже неинтересно мне, такой просвещенной в пикантных вопросах девушке, с вами тут, колхозниками, в хлеву барахтаться.

Подловил ее Рогатый на слове, подловил. Пришлось крутизну свою доказывать. Там, в этой Новотитаровке все с ног на голову было, чем хуже — тем лучше. Что ж, почти по Достоевскому. Ну, Федор Михалыча-то она позже, конечно, к сараю притянула, когда уж поняла, что Рогатого из памяти не стереть, как прочих других. Впрочем, другие уже не в Титаровке были, а когда она стала свободной взрослой женщиной-студенткой.

Интересно, Рогатый-то понял, что первый у нее или слишком пьян тогда был? Неделю он за ней увивался, все доказательств опыта просил. Может стать, и не допросился бы, но потом ее и девки-ровесницы уже подкалывать стали. В выпускном классе, а парня своего нет. Ну и что, что только приехала, опытная женщина в таких делах не мешкает. Хихикали и многозначительно кивали на Рогатого: гляди, как за тобой таскается.

Под давлением общественности, можно сказать, Рогатый и стал ее парнем. На первом же свидании в сарае навалился как боров, подмял, пыхтел, елозил, сопел в ухо, потом разогнался, будто дрова рубил. Она от боли даже красиво, глубоко, как в однажды смотренном у подружки видеофильме, стонать забыла. Только дышала как-то по-собачьи, верхом легких и неудобно упиралась головой в стену сарая.

Это на урок физкультуры было похоже — так же бессмысленно, потно и все не кончается. Вот когда сочинение пишешь или контрольную по физике списываешь, так будьте-нате, звонок тут как тут. А в вонючем спортзале под прицелом мяча в феноменальной по своей тупости и не знающей географических преград игре «перестрелка» время замирает, урок все длится, мяч все бьется о стенку или об тебя, если не увернешься.

Но даже самый длинный, спаренный из двух, урок когда-нибудь заканчивается. Звенит звонок и можно бежать в раздевалку. Рогатый сдавленно зарычал, несколько раз отчего-то дернулся и, когда он повалился на нее и сгреб в свои мокрые объятия, она поняла, что мучения позади.

Он еще что-то мычал и как теленок лизал ее ухо, когда она уже вежливо, но настойчиво проталкивалась к выходу из-под него, ведь урок физкультуры закончился, зачет вымучен, и дольше оставаться в спортзале не имело смысла.

Конечно, она, честно глядя ему в глаза, соврала, что ей понравилось, как врала потом не раз. С каждым последующим разом это было все убедительней: она уже не забывала стонать, извиваться, вытягиваться стрелой, закидывать ноги на плечи и смыкать их на мужской спине. Да, и еще сжимать низ живота, как будто там спазм от желания. Актриса больших и малых...

И зачем это было ей нужно, нет, ну скажи? Чтобы как все, чтобы никто не догадался.

«Я ворвалась в твою жизнь, и ты обалдела. Я захотела любви, ты же не захотела...» — пела Земфира.

Она тоже ворвется в его жизнь, и он захочет любви. Она уже любит его — на расстоянии, заочно, не видевши ни разу, влюбившись по рассказам. Даже думает о нем стихами, «высоким штилем».

Уже сегодня Ия собиралась встретиться с Папочкой, в жизнь которого мечтала ворваться, хоть никогда и не видела. Ну и что, зато много слышала: у него крутой нрав, острый язык, крепкий кулак и новая подружка-юрист. Смена баб происходит регулярно. Вообще-то новой подружкой мечтала стать она, а тут вот незадача, без всякой раздачи.

* * *

Ия жила на съемной квартире в спальном районе Петербурга, квартира была отвратительная, грязная, за стенкой алкаши, а рядом полчища тараканов. Стоило выключить свет, перли из всех щелей. Казалось, что с каждым днем, несмотря на принимаемые меры, их становится все больше и скоро они целиком утвердят свою власть над отдельно взятой квартирой, превратив ее в тараканье Прусское царство. Надо было бежать отсюда, но студенческая стипендия не позволяла. Спасибо, мать с отчимом переводы раз в месяц присылали, а два раза — посылки со знакомым проводником.

При всех своих недостатках квартира имела одно перекрывающее их достоинство — дешевле не сыскать. С юристом тут не потягаешься.

А подружки в универе еще думали, что у нее богатый любовник есть. У некоторых, и правда, были папики, они же спонсоры. Но не у нее. Скука, какая

же скука, ведь за несколько лет после сарая с Рогатым для нее в мужчинах ничего не изменилось, как она ни старалась, потому что сама она не поменялась. Чем больше они до нее дотрагивались, тем меньше трогали.

Папочка — это другое дело. Всегда, когда Ия ловила ухом истории его походов, — разумеется, делая вид, что они ей совершенно неинтересны, — чувствовала, что задевают ее слова за самое живое, за низ живота.

Поводов познакомиться не найти, единственной ниточкой была общая знакомая. Толстуха Муха, за какие-то сомнительные заслуги названная так с легкой руки того же Папочки. Сама же Муха всех особей женского пола, независимо от возраста и наживных регалий, называла «девочка», а всех мужчин от 5 до 95 лет — «мальчиками».

Муха все обещала, что соберет общую компанию. Ия равнодушно пожимала плечами: «Ну, соберешь, так соберешь». Про себя же умоляла: «Ну, когда же, наконец, когда ты выполнишь свое обещание, черт бы тебя побрал?!»

И вот — свершилось! Вчера ей позвонила Муха и сказала:

— Приезжает девочка одна из Италии, мы с ней гулять будем, в Эрмитаж пойдем. Хочешь с нами? Еще кое-кто будет.

— Кто? — блекло поинтересовалась Ия, закусив губу, и чуть не запрыгала на месте, услышав ответ.

Потом она красила ногти, перебирала платья и вот уже за полночь уселась слушать радио.

В постели она вытянулась, скомкала между ног одеяло и обняла куцую подушку. Стараясь думать о завтрашнем дне и не думать о тараканах, она заснула.

Утро встретило ее визгом тормозов, воем сирен, гудками автомобилей и железным звоном трамваев. Окно выходило на широкий проспект, который просыпался одним из первых в городе, а то и вовсе не засыпал.

Вчерашнего волнения не было, все равно шансов у нее нет. Погуляют по городу и разойдутся. Но каблуки, на всякий случай, одела самые высокие, не для прогулок. И любимое платье, с красными маками по подолу. Ничего, что лето кончилось.

Выйдя из метро, она сразу их увидела. Муха энергично размахивала рукой с зажатой в ней сигаретой и стреляла глазами по сторонам. Рядом стояла тоненькая, хорошо одетая, загорелая девушка, в которой Ия сразу признала «итальянку».

Оказалось, что ее зовут Надя и родом она из Белоруссии. Не успела Ия задать невинный, но раздирающий ее душу вопрос: «Больше никого не ждем?», как увидела Папочку.

Идет, улыбается и машет им руками так широко, словно заходя хочет обнять всех разом. Он был именно таким, как она представляла. Белые брюки, рубашка в полоску, кожаная сумка на плече, ежик волос. Так и хочется провести по ним ладонью, чтобы почувствовать мягкую колкость. Ничего демонического, и главное — без подружки-юриста.

Папочка сразу обратил внимание на «итальянку», оно и немудрено: Надя была чудо как хороша. Разговаривая, она ласково касалась кончиками пальцев руки собеседника, склоняла кудрявую головку и, казалось, гладила своим взглядом.

«Итальянка» понравилась и Ие, но ей было чуть обидно, что сама она занята на вторых ролях, и идет позади рядом с Мухой, которая деловито прокладывала путь, прямо противоположный дороге в Эрмитаж, и озабоченно читала надписи на вывесках.

— Давайте посидим, выпьем, а там уж и в музей можно, — наконец озвучила она план действий и разом, как кутят, по-хозяйски втокнула всех троих в показавшуюся ей приличной забегаловку.

Они сидели у окна, пили вино, сквозь пыльное стекло светило осеннее солнце, а мимо, как пелось в еще одной популярной тогда песне, «пролетали дорогие лимузины». В них проносились женщины с горящими глазами, золотыми волосами. За углом, по соседству с забегаловкой ковал браки районный ЗАГС.

Здорово ловить лучики осеннего солнца на лице. Они словно извиняют, что прогуливаешь занятия в университете, ведь дождливой осенью каждый солнечный день сродни каникулам.

Муха и Надя обсуждали Люксембург. Ия чувствовала себя неловко, поскольку нигде за границей, кроме своей родины, ставшей чужой страной, еще не бывала. Она заметила, что и Папочка старается, но не может поддержать беседу: видать, тоже не бывал.

Она смотрела на Папочку и чувствовала, как прорастает в ней невесть откуда взявшаяся уверенность, что все это — ее. Это чувство мучило ее и раньше, а тут взошло, заколосилось, хоть жни да каравай с него пеки.

Разговор плавно повернул и перешел на обстоятельства итальянской жизни Нади.

— Ну как там, в Италии? — допытывался Папочка. — Чем ты там занимаешься—работаешь?

— Работаю, — мягко говорила Надя, а Муха с многозначительным видом подливала ей в бокал. — Я так отвыкла от этого серого неба, люди тут такие неулыбчивые. А там солнце, в Венеции так хорошо, как я люблю Венецию! Там настоящий рай.

— А что ты делаешь, где работаешь? — не унимался Папочка и по-кошачьи следил за движением ее губ.

— Секретарем в фирме, звонки принимаю.

По рассказам Мухи было известно, что Надя, окончив филфак университета, долго искала работу. Идти учительницей в школу она не могла: иногородней девчонке на такую зарплату не прожить, разве что ночевать в той же школе и подъезжать за учениками. Возвращаться на родину, отдавая столичной жизни, не хотела.

Однажды купила очередную газету с вакансиями, а там объявление: требуются девушки с хорошим знанием английского языка. Через месяц Надя уехала в Италию работать танцовщицей в баре.

Оставалось порадоваться, как удачно сложилась ее судьба.

— Ну, за Италию! — решительно подняла свой бокал Муха. — Кстати, не пора ли нам выпить чего-то покрепче? Только пойдем в другое место.

В то время такси по мобильнику не вызывали, потому что их не было. Нет, такси, конечно, были, не было мобильных. Вернее, они тоже были, но у избранных: массивные черные трубки, не помещавшиеся в карман и казавшиеся простым смертным недостижимой роскошью.

Они вышли на улицу, встали на краю тротуара и замахали проезжающим машинам. Тогда останавливался каждый второй.

Потом они ехали по Невскому, завернули на Стрелку Васильевского острова, и дальше — на Петроградку. В Надиной сумочке тоненько, мелодично запиликало.

— Алло, бабуля, я уже в России, скоро к вам, в Белоруссию, — говорила в маленький изящный аппаратик Надя.

— Это девочке родственники звонят, — громким шепотом авторитетно объяснила Муха и с гордостью обвела всех уже немного мутным взглядом, будто это в ее сумочке раздалось волшебное пиликанье.

— Я тоже из Белоруссии, — сообщил голубоглазый водитель с жилистой шеей. — Из Гродно, а вы откуда?

— Из Витебска, — неохотно, но ласково ответила ему Надя.

Вечер уже накидывал на город свою пелену. Уходивший день был теплым, солнечным, и пелена эта, прозрачная, тихая, мягкая, словно укутывала, обволакивала, ласкала. Казалось, она была такой же неторопливой, нежной, томной и ласковой, как шедшая рядом Надя.

Надя и вечеряющий город сливались в одно целое. Хотелось накрыться ими, извальяться в них и уснуть, закутавшись ими же.

— Тещины блины! — провозгласила Муха и опять, как кутят, подтолкнула их в раскрытые двери блинной на Сытной площади.

По количеству блинов, укладываемых штабелями в пакеты, блеску в глазах Нади и Папочки и придиричиво считающей блины Мухе, было ясно, что банкет по случаю приезда Нади только начался.

По дороге в Александровский парк Муха еще несколько раз вталкивала их в магазины, и первым из них, конечно, был магазин, торгующий спиртным.

В парке они нашли кафе прямо у воды — небольшого канала, со дна которого поднимались причудливые и очень склизкие на вид водоросли. От него сильно пахло тиной и мочой, а в воде тут и там, как яркие поплавки, выглядывали цветастыми боками пластиковые и жестяные бутылки.

— Амстердам! — мечтательно, чуть запыхавшись, выдохнула Муха, и первая плюхнулась на длинную деревянную скамью.

— Похоже? — с серьезной миной осведомился Папочка, закидывая ногу на ногу.

— Похоже, — с готовностью согласилась Муха. — Там только не воняет, и мусора нет, а так очень похоже.

Скатертью-самобранкой развернулись на столе купленные яства. Венчал стол крепкий пузатый арбуз. Когда его разрезали, он издал неприличный утробный звук, такое наливное, спелое, просящееся наружу было его нутро.

Солнце розовело прощальным отсветом за причудливыми рваными крышами высоких домов, но, даже прощаясь, оно словно говорило: «Жизнь прекрасна, девочки».

— За жизнь! За Петроградку! За жизнь на Петроградке! — перерывы между тостами Мухи становились все короче.

Жизнь и впрямь казалась прекрасной. Лопались на зубах тугие соленые икринки. Сахарился и таял во рту спелый арбуз. Деликатно булькая, плескалась в рюмки холодная водка.

Ия почувствовала, что перестало болеть першившее несколько дней подряд горло, таким целебным оказалось сочетание водки, икры и арбуза с витающими в воздухе феромонами физической приязни друг к другу.

Эти феромоны, казалось, выделяли все в их компании, за исключением Мухи, уже проявлявшей первые признаки беспокойства по поводу прощального бульканья. Лицо ее постепенно приобретало все более решительное выражение.

— Поедем к тебе, девочка, холодно стало, — толкнула она Ию и озабоченно добавила: — Да вот только есть ли магазин возле твоего дома?

Ия растерялась. Перед глазами вихрем пронеслись рыжие прусаки, не

желающие расставаться с обжитым местом, и сломавшийся накануне в довершение прочих неприглядных картин быта сливной бачок унитаза.

— Я бы с радостью, так ведь ко мне далеко, — неумело попыталась увильнуть она.

— Может быть, лучше к тебе, всем вместе? — ласково спросила Папочку Надя и надолго остановила взгляд на его подбородке.

Папочка смущенно крикнул, но не успел ничего сказать, как в разговор вмешалась Муха:

— Девочка, туда нельзя, там же того! Юрист ждет. Я сегодня с утра с ней разговаривала, она-то не знает, что мы встречаемся, думает, «на работе», — тут Муха многозначительно кивнула на Папочку. — Суп, говорит, буду варить. Харчо. Уже сварила, наверное.

Муха хлопнула последнюю рюмку, с сожалением потрясла ее и решительно, как будто ставила жирную точку, опустила на стол. Вся компания выжидающе посмотрела на Ию. Со стенки рюмки скатилась запоздалая последняя капля, которую так хотела найти Муха. Капля оставила на столе небольшой водяной хвостик. Жирная точка превратилась в запятую.

— Мальчик, ты до дома не доезжай, ты возле магазина останови! — оживленно командовала Муха в машине.

Она сидела на переднем сиденье и громко фыркала, обмахивая себя непонятно откуда взявшимся беретом с россыпью стразов по каемке. Ия думала о том, что Муха могла бы сыграть Портоса вместо актера Смирнитского, и вышло бы даже лучше. В темном салоне машины ей казалось, что впереди сидит громада-мушкетер и говорит один за всех.

— Ты музыку любишь, мальчик? — спрашивала Муха у шофера. — Я вот Пугачеву люблю! Алла Борисовна — это все! Вот помню я, еще СССР когда был, я в поезде ехала. И тут говорят: в соседнем вагоне Пугачева едет! Я в тот вагон пошла, в купе постучала. А там и правда Пугачева сидит. Ну, и еще кто-то, и еще. Поздоровалась, нет ли у вас сигарет, Алла Борисовна, говорю. Она мне пачку «Мальборо» протягивает и говорит: бери всю, девочка.

— Да ну, — не верил шофер. — Прямо так и сказала? А еще что-нибудь сказала?

— Сказала, — вздохнула Муха. — До свидания, девочка. Закрой дверь. С той стороны.

Когда зажегся свет в прихожей, Ия зажмурила глаза, чтобы не видеть лица гостей, увидевших тараканов. Ей казалось, что открыла она их только тогда, когда вновь услышала деликатное бульканье уже в комнате и не раз произнесенный в этот вечер тост Мухи:

— Как говорится, вздрогнем... за Италию!

На миг в комнате стало тихо. Не позволяя стопкам вернуться на стол, Муха игриво спросила:

— А между первой и второй — что?

Она подмигнула набравшейся духу войти в комнату Ие.

— Что между первой и второй, девочка?

— Улица Репина, — озвучила Ия фирменную концовку тоста своего факультета, одной стеной выходящего на ту самую улицу.

— Отличный тост! — с чувством сказала Муха и с трудом разлепила закрывающиеся глаза. — У всех «перерывчик небольшой», и только в Петербурге — это самая узкая улица. За Петербург! Ну, пошли, — подтолкнула она Ию. — На балконе покурим.

Курили они долго, курили, смотрели вниз на проезжающие машины,

ждали, пока затихнут стоны, доносившиеся из глубины квартиры через раскрытую форточку. Уже, казалось бы, битва миновала и можно возвращаться. Но нет, снова бесстыдно скрипнула кровать, и полились порожистой рекой сдавленные, хлюпающие ахи, чьи и не разберешь.

— Вот кобелина, — не выдержала Муха. — Тут никаких сигарет не хватит. Что же делать-то, а, девочка?

Звуки снова стихли. Они подождали.

— Пойдем, — шепнула Ия. — Теперь можно.

Они пробрались в комнату, наполненную мертвой, глухой тишиной, словно не из нее вырывались навстречу ночному городу эти стоны. Даже прусаков она не видела в тот вечер. Попрятались по углам.

Ия по привычке скомкала меж ног одеяло и перед полетом в бездонную ловушку сна услышала, как обиженно крякнула под Мухой раскладушка, а та деловито чертыхнулась, провиснув в ней до самого пола.

Утро встретило их серым питерским небом во все беззанавесочное окно. О вчерашнем приветливом солнце ничего не напоминало. Наверное, это и впрямь был его прощальный осенний выход под занавес теплых дней.

Хотелось, чтобы утро только снилось, и не болела голова. Но откуда-то в подушке появился магнит. Он не давал голове не то что подняться, а даже слегка повернуться.

— Воды! — донесся протяжный стон из раскладушки.

Ия сделала вид, что не слышит, и прикрыла глаза, но стон перерос в требование.

— Вчера покупали! В пакете. За дверью. Я спрятала на утро, — слабым голосом давала наставления Муха, как раненый солдат выносящим его с поля боя санитарам.

Ия нехотя встала, почувствовав, что и в голове ее пророс магнит, и этим двум магнитам — в голове и подушке — очень хорошо друг с другом. Надя еще спала, Папочки в комнате не оказалось.

— На работу ушел, — пробудькала Муха, вливая в себя баллон минералки.

Потом они все-таки встали, бесцельно и с сожалением, как всегда бывает с похмелья, потыкались из угла в угол и собрались завтракать. Надя приготовила яичницу, сели за стол и обнаружили на нем бумажку, которая оказалась запиской для Нади, а в ней — связка ключей.

И зажмурившаяся Надя, и записка, и ключи, и ушедший утром, но не забывший их оставить Папочка были так красивы, что им нельзя было даже завидовать, можно было только любоваться.

Ия любовалась и думала, что в ее жизни никогда не будет таких ключей и такой записочки.

— С первого взгляда, — подвела итог Муха и озабоченно добавила: — Однако, как же юрист? Я их всего месяц назад познакомила. Дела-а-а. Ага, значит, это первые ключи, а вторые — у нее. Ага, значит нам туда пока нельзя, вдруг она окажется дома. Ну, то есть теперь-то уже не дома, а в гостях, выходит. Собирайтесь, девочки, поехали ко мне, а там решим, что делать, как нам юриста из дому, тьфу, из гостей выкурить!

— Не стыдно тебе, — шепнула ей Ия уже на улице, — ты ведь их познакомила? Юрист же не виновата, что так получилось. С первого взгляда, то есть.

— А при чем тут я? — так же шепотом возмутилась Муха. — Я всех

предупреждаю, что это кобель, и все равно не слушают. Бабы — дуры, что я могу поделать?! Тебе-то как, понравился Папочка, ты ведь тоже первый раз видела?

— С ним интересно, но не мое, — с деланным безразличием слукавила Ия, да ведь и впрямь после записочки с ключами было окончательно ясно, что не ее.

— Вот это правильно, девочка, вот за это я тебя люблю — ты у нас отличница, сразу во всем разобраться можешь. За тебя я спокойна, хоть ты сексуальная-я-я-я, — протянула Муха.

Ия передернула плечами, она не любила такие разговоры. Собственная сексуальность всегда казалась ей вопросом спорным, и когда она слышала про нее в утверждающей форме, была уверена, что это из вежливости.

У Мухи, как всегда, царил творческий беспорядок, на который, ослепительно улыбаясь, смотрели с настенных плакатов звезды зарубежной и российской эстрады.

Одно время Муха работала в главном концертном зале города уборщицей и с тех пор полюбила музыку. Она давно не утруждала себя общественно полезной деятельностью, но деньги у нее водились: что-то присылала жившая за границей мать, что-то перепало от разновозрастных мальчиков, с которыми она знакомилась легко и непринужденно, не забывая отмечать, что больше ей нравятся девочки.

На добропорядочных мальчиков старше сорока лет это откровение Мухи производило ошеломляющее впечатление, и они хороводились вокруг нее, поили и напивались сами, а утром с удивлением озирались среди творческого беспорядка под лучезарными улыбками Мадонны, Уитни Хьюстон и Валерия Леонтьева.

— Мальчик, ты любишь музыку? — вместо утреннего приветствия спрашивала Муха. — Я вот очень люблю. Вот помню я, когда еще СССР был...

Ночной гость уходил с полным чувством соприкосновения с богемой, изрядно полегчавшим кошельком и, как правило, не оставляя телефон на прощание. Звонки по-домашнему принимали супруги.

Вот и на этот раз широкая кровать Мухи была артистически разобрана и даже будто взбита, словно в ней долго крутились волчком, а потом осторожно, чтобы не разрушить получившуюся конструкцию в форме бизе, вылезли.

С протяжным, сладостным стоном Муха плюхнулась в самый центр своего лихо закрученного ложа. Жестом показала гостям на стоящие напротив широкие продавленные кресла, покрытые чем-то клетчатым, артистически-дырявым.

Надя поправила перед зеркалом кудрявую прядь и словно для тренировки послала долгий ласковый взгляд отражению плаката с Леонтьевым.

Она словно текла, струилась, переливалась на камушках. Несмотря на налет жаркой итальянской живости, от нее веяло прохладой. Видно, знойная Италия не до конца вытеснила тенистую Белоруссию с ее озерами и густыми дубравами, которые отражались где-то в глубине ее глаз.

Казалось, что там же, на дне Надиных глаз можно плутать и не найти выхода из прохладной чаши, и одновременно стать безраздельным хозяином ее, белорусским партизаном. Таким женщинам посвящают стихи и оставляют утром на столике ключи от входных дверей.

Пили кофе. Муха звонила на работу Папочке и получала инструкции, где они встретятся. Юрист еще накануне все поняла, вылила харчо в унитаз и ушла, оставив ключи у соседей. Муха ободрилась и хвалила юридическое образование:

— Это все потому что университет. Умная девочка. Правильно, надо себя ценить. Что же поделать, когда у нас тут, с первого взгляда... так сказать.

Пока сидели у Мухи, Ие все казалось, что она плывет: тяжело в голове, тяжело в груди, все из-за жирной точки, появившейся вчера на столике в уличном кафе. Точка все разворачивалась и разворачивалась запятой. Все длиннее и длиннее становился ее хвостик.

Ия не любила компании, и удивлялась сама себе: давно пора расстаться, второй день прогуливает учебу, что она вообще делает у Мухи, и зачем снова собирается к Папочке.

Но уйти она не могла, ее затягивало в водоворот, который начинался в темном глубоком озере Надиных глаз и закручивался в воронку в ней самой. Медленно крутило в этом водовороте и не отпускало. Хотелось сложить руки и идти ко дну, где что-то давно ждало...

Вечером они сидели у Папочки. Ия против своей воли ловила его кошачьи взгляды на Наде. Иногда они скользили и по ней самой. С ровным дружеским интересом, который иногда превращался в долгое раздумье, застывавшее холодком в ложбинке на спине.

Постепенно она стала замечать, что это раздумье исподволь ловила и Надя, становясь все грустнее и грустнее. Лишь Муха деловито летала из угла в угол.

Вслед за ней с лаем носилась хозяйка дома — рыжая такса Норма.

— За Италию! — в который раз Муха бредила Надину душу близким отъездом.

— Скоро ты приедешь снова? — спрашивал Папочка Надю. — А то оставайся, работу тут найдешь.

— Что я тут делать буду? Чулки вот вчера купила, на коленках гармошкой топорщатся, видишь? Я не могу так жить... — ласково отвечала Надя. — Через год приеду, как деньги будут.

Папочка делал вид, что слово «год» совсем его не трогает, а Муха строила многозначительные скептические мины за его спиной, ловя момент, пока Надя их не видит.

— В прошлый раз уезжала, а в аэропорту в кафе, перед отлетом, мама дочку провожает в Италию. Красивая такая девочка, молодая совсем, веселая! Смеется все время. Про работу что-то там говорили. А я хотела подойти к ней и сказать: куда ты едешь, дура! И чтобы мать слышала, — неожиданно и совсем невпопад сказала Надя.

С ее голоса на миг слетела ласка, а глаза ожесточенно и пусто уставились в стену.

Через три дня Надя уехала в Белоруссию повидать родных, а оттуда в Италию. Они посадили ее на поезд, а потом брели с вокзала по темным тропам улиц, сдвинутых каменной грядой домов, обступавших с двух сторон. Закручивающийся в трубе улиц ветер хамски толкал их в спину, будто напоминая: тут вам не Италия. На душе было сиротливо, и даже Муха молчала и не подначивала зайти в магазин, сказав на прощание:

— Пошла я домой, спать хочется.

Ия тоже поехала домой, дружески помахав Папочке рукой в закрывающуюся дверь вагона метро.

Всю следующую неделю она провела как в тумане: вроде все по-прежнему и жизнь топчется на своем месте, но отделена она невесомым слоем, словно вата, поглощающим звуки и притупляющим восприятие.

Она ждала. Не понимала, чего ждет, но все равно ждала. Хмуро, ровно, почти равнодушно, ведь ждать ей было нечего.

* * *

Телефон все же зазвонил и голосом Папочки сказал:

— Привет! Не отвлекаю? Мне помощь твоя нужна! Можешь приехать? Надо в квартире посидеть. Обворовали, сссуки! Все вынесли! Двери нараспашку. Милиция только ушла. Мне на работу надо срочно, никто не может приехать! Не могу квартиру без присмотра оставить, мастер только завтра придет замок чинить! Выручишь?

Ия кубарем скатилась со стола, где по привычке сидела с книжкой, сложив по-турецки ноги. Мечась в поисках подходящей — самой лучшей — одежды, швырнула тапком в чету неторопливо, как на променаде, пересекавших комнату прусаков. Затем высыпала на стол содержимое косметички.

Выбегая из дома, она услышала, как возле мусорки во дворе жалобно мяучит котенок, но, мотнув головой, побежала мимо: какие котята в съемной квартире. Потом все-таки обернулась и увидела высокого худого парня, вышедшего из соседнего подъезда: он подошел к горе отходов и пытался разглядеть там подающее сигналы бедствия существо. Вот и хорошо, нашелся другой спасатель.

Через час она стояла в подъезде старого дома перед высокой деревянной дверью. Потянула за ручку и дверь тут же поплыла ей навстречу, не встречая препятствия.

— Сссуки, — быстрыми шагами из глубины коридора шел Папочка. — Ничего не оставили: деньги, телевизор, даже косуху кожаную, на вешалке у входа висела.

— А милиция что сказала?

— Да ничего, отпечатки пальцев не снимали. Походили просто. Давайте, говорят, не будем играть в следователей. Позвоним, говорят, если новости для вас будут. Это все Понтий устроила, ее рук дело!

— Какой Понтий? — засмеялась Ия. — Пилат, что ли?

— Ага, Пилат! Билад! — передразнил Папочка. — Это знакомая давняя. Вместе фарцой еще торговали на Гостинке. Ну и не только фарцой... Вот не зря ей, сучаре, срок тогда дали. Таскается по кабакам, баб каких-то ко мне два дня назад приволокла, подружки мол, ночевали здесь, ну а сегодня прихожу: дверь открыта...

— Срок, какой? — опешила Ия. — Тебе тоже срок дали?

— Условный, — приобнял ее за плечи Папочка. — У меня мать тогда от рака умирала. Я такую речь на суде произнес! Судья плакала! Пожалели... Ну, ты проходи, хозяйничай тут. Собаку только не забудь покормить. У нее каша с мясом в холодильнике. Слесарь завтра придет замок менять. Ночью спать будешь, на крюк железный изнутри закройся. До революции еще, небось, повесили, а видишь, как пригодился. Не бойся, я тебе звонить буду. Это коммунальная квартира, но никто не живет сейчас. Ты одна будешь, никому не открывай. Чувствуй себя как дома!

Когда дверь за Папочкой закрылась и тут же снова отворилась сквозняком, она торопливо накинула на петлю толстый железный крюк — внутреннюю защелку. Подергала дверь: щель есть, но снаружи так просто не откроешь. Прильнула к этой щели: на площадке никого нет. Даст бог и не будет.

Вещи в комнате оказались разбросаны: торопливо и зло. Ия слышала, что для домушников шкафы с бельем — как касса банка. Почти всегда найдешь деньги. Почему-то именно этот нехитрый тайник в полотенцах и простынях кажется обычным гражданам самым надежным. Именно с него начинаются поиски сбережений квартирными ворами.

Возле этажерки валялись сброшенные на пол статуэтки: их-то за что? Она подняла с пола фарфорового мальчика с золотыми кудрями и школьным ранцем на плече. В один миг тот стал инвалидом, лишившись обеих ног, которые так и остались лежать на полу. Мальчика было жалко.

На кухне, порывшись в ящиках стола, нашла моментальный клей и, вернувшись в комнату, принялась врачевать мальчика. Через пару минут тот крепко стоял на ногах, и лишь жирная полоска подсыхающего желтого клея, выступившего по краям разлома, чуть выше колен, напоминала о проведенной операции.

Возле ног вилась такса Норма. Она умильно заглядывала в глаза и всем своим видом убеждала, что рада новой компании, но пора бы и подкрепиться. Ия уже знала, что Папочка хорошо готовит, и потому не удивилась, что собачья каша после разогревания оказалась весьма аппетитной на вид.

Норма, торопясь и чавкая, уплетала еще горячую кашу, быстро водя мордой над миской. Ия, посыпав кашу сахарным песком, тоже уплетала ее, высоко подняв брови, по привычке оттопырив мизинец с красным маникюром и приняв самый независимый вид. Как будто кто-то, кроме собаки, мог увидеть, что она ест собачью кашу.

Закончив первой, Норма встала на задние лапы и заглянула в тарелку Ии. Увиденное ей не понравилось, и она тихо, но угрожающе зарычала.

— Цыц, — осадил собаку Ия, сузила глаза и зашипела, упершись немигающим взглядом в круглые влажные собачьи зрачки.

Власть в доме менялась: Норма это почувствовала, а Ия поняла, едва переступив порог.

Она не знала, что будет дальше, но чувствовала, что закруживший водоворот вышвырнул ее в нужное место, *ее* место.

Предчувствие, чувство, чутье всегда рождало в ней знание и, уловив еще лишь только оттенки, колебания, какие-то микроскопические предвестники этого знания, она принюхивалась и брала след, как гончий пес. Может быть, все-таки не зря мать хотела назвать ее Лаума...

Вот и сейчас Ия словно шла — да что шла, почти бежала — по следу, и ей было не остановиться.

Норма поняла ее рычание по-своему и поджала хвост.

— Пошли вещи убирать, — примиряющим тоном сказала Ия собаке. — И помни, у меня не забалуешь.

Цокая когтями по полу, собака побежала бочком по длинному коридору квартиры-расчески. Одна сторона — глухая стена, а по другой — двери закрытых комнат, как зубья у гребенки.

Возле своей комнаты Норма заплясала на задних лапах, то и дело высоко подпрыгивая. Казалось, если бы не набитое брюхо, она может сделать сальто-мортале в воздухе.

— Вэлкам! — распахнула двери Ия. — Чувствуй себя как дома!

Смеркалось. Это сгушались пока еще не природные сумерки, а сумерки хмурых, много повидавших на своем веку петербургских коммунальных квартир. Их сумерки служат предвестником темной пелены, спускающейся на улицы нордической Венеции.

Ия представляла, как собираются в пустой квартире тени, ходят за ней, касаются ее длинными бестелесными пальцами, пробуют душу на ощупь: наша — не наша, уйдешь — останешься с нами?

Она изучала квартиру, принюхивалась, прислушивалась к своим ощущени-

ям и чувствовала, как вырастает корнями. Корни эти уходят вниз, все глубже. Вот они уже коснулись темной жижи в вечно сыром, дымящемся затхлым паром подвале.

Дом-то 1905 года — ровесник первой русской революции, вспомнила она слова Папочки. Выцветшая, всегда восторженно глядящая в сторону бабка-соседка, царствие ей небесное, утверждала, что туда, в незаполненный еще водой подвал сбросили тела профессора с женой, чем-то не угодивших новой власти в революционном Петрограде. Это были первые тени дома.

Бабка закончила свою жизнь в больнице для умалишенных, но кровавая история, которой она дала жизнь, продолжала витать в плотном воздухе четырех проходных дворов вокруг дома. И неважно, жили тут убиенные солдатней профессор с профессоршей или нет, если нет — их стоило бы придумать, иначе чьи шаги, вздохи и стоны раздавались ночью в парадном, где на лестнице сохранились крюки для крепления ковра, некогда устлавшего путь жильцов к квартирам, а теперь неизменно пахло мочой.

Самым колоритным местом в квартире оказалась уборная. Ее дверь была единственной посреди глухой сплошной стены, а внутри высился, взбирался к потолку диковинный южный город. Крепостной вал, резные башни, оазисы зелени среди средневековых камней на приклеенной к стенам уборной дерюжке — откуда взялись они в доме-ровеснике революции?

И на этот вопрос Ия помнила ответ: после войны жил в одной из комнат художник-казах, и так он любил квартиру, своих соседей и весь мир, что увековечил свои чувства к ним в уборной. Остальные жильцы не разделяли его любви ни по одному из пунктов и на стенах квартиры малявить запретили.

Художник не то умер здесь же, не то сгинул и растворился в серых городских сумерках. Судьба его неизвестна, но остался город, может быть, его родной, подаренный на добрую память всем будущим посетителям уборной.

Картинная-уборная понравилась Ие, как и заклеенный обоями кривой выступ в углу комнаты, некогда бывший камином.

В коридоре напротив входных дверей к потолку был приделан железный крюк. Странное чувство юмора было у прежних жильцов квартиры.

«Это чтобы вешаться было удобно, когда уж совсем немоготу, — подмигнула ей Папочка, придумывая назначение этой бесполезной в коммунальном хозяйстве вещи. — Представляешь, заходишь в квартиру, и сразу ноги перед тобой висят. Как в фильме "Десять негритят". Уууу!»

Раздался звонок. «А-а-а», — подпрыгнула Ия.

— Как вы там?

— Я твоего мальчика склеила, — гордо сообщила она Папочке. — Теперь как новенький.

— Что? И его порвали? Вот с-с-суки. Значит, ты и его нашла...

— Зачем искать? Он же на полу валялся!

— Так ты в шкаф не лазила? Похоже, ты другого мальчика нашла, — смущенно ответил Папочка. — Но все равно, спасибо.

Положив трубку, Ия первым делом полезла в платяной шкаф. Пошарила по одной полке, второй, третьей — в руку ей уперлось дуло. Провела ладонью дальше — ребристое такое дуло, похоже, резиновое.

Она потянула и извлекла из вороха белья, полотенец, носовых платков внушительных размеров искусственный член. Понимающе улыбнулась, беспокойство за мальчика стало понятно.

Ночью Ия не могла заснуть, ловила ухом шорохи и массировала пятки о

теплую спину собаки. Такса свернулась в клубок под одеялом на краю кровати и лежала, не шелохнувшись, уверенная, что это ей чешут спину, а не об нее — ноги.

Время от времени Ия подходила к входной двери, чтобы проверить, на месте ли цепочка. Когда она вставала с кровати, такса поднимала голову, а затем опять клала ее на передние лапы и шумно вздыхала.

— Спасибо за мальчика! — услышала Ия сквозь утренний сон. Услышала, проснулась и улыбнулась одновременно.

Когда Ия думала о Папочке, она ощущала, как откликается на мимолетное предчувствие опасности ее тело. Но опасность была далеко, как в ясный январский день далек день весенний. В морозном воздухе вдруг появляется прозрачность и особая, тонкая щемящая нотка обещания счастья, какая бывает только ранней весной.

Теперь она глядела опасности в глаза, и имя ей было — Папочка. С кровати соскочила собака, откинув одеяло с ног Ии. У ног склеенного фарфорового мальчика лежал солнечный луч. У ее ног на краю кровати сидела похожая на мальчика женщина. Высокая, коротко стриженная, опасная. Не совсем *она* и не вполне *он*. Женщина, которой стоило бы родиться мужчиной, чтобы показать мужчинам, как надо любить женщин.

* * *

Для Ии все началось лет в четырнадцать, еще в Лиепае, когда она как-то по-иному взглянула на свою одноклассницу. У той была худая, незащищенная, по-мальчишески подбритая шея. «Зимняя вишня». Увидев эту шею, можно было сразу умереть, и это было бы правильно. За такие шеи только и стоит умирать. Тонкая загорелая кожа, короткие волосы, аккуратные ушки с маленькими мочками, почти прозрачные на свет, и — самое беспощадное — воротник белой рубашки, из которого и вырастала эта шея. Сами по себе эти воротник и шея ничто, но вместе — тонкая шея в широком вороте — нечто.

Она не знала всей ценности своей шеи и прятала ее в широкий шерстяной шарф, потому что ее и без того низкий голос часто становился хриплым из-за простуды. В ней не было кокетства, и белая рубашка с отлогим воротничком дополнялась темными юбками из плотной ткани, ниже колена. А внизу немыслимые сапоги — «дутики», без каблука.

С тех пор как она с каким-то незнакомым острым чувством жалости смотрела на этот нелепый наряд, блуждая ничего не видящим взглядом по школьной тетради с описанием портрета Печорина, Ия не видела ничего более асексуального и манящего одновременно.

— Неужели тебе не нравятся мальчики? — спрашивала она сама себя, потому что, конечно, это был самый сокровенный вопрос, какой только можно было задать себе в четырнадцать лет.

Да почему же, вроде нравятся. Очень даже волнительно, когда на тебя обращает внимание мальчик, сует в руки записочку, в которой сообщает, что хотел бы быть твоим другом, а потому ждет завтра в 15.00 на скамейке у гаража. Но мальчики и записочки не шли ни в какое сравнение с той тайной мучительной страстью, которая перехватывала дыхание при виде тонкой смуглой шеи в белом воротничке.

Со временем она научилась жить с этой страстью в ладу, надежно упрятав ее в какой-то самый отдаленный уголок своего «я» — такой дальний и такой узкий, что пришлось ее туда запихать, затолкать, втиснуть.

Страсть тоже научилась жить с ней в ладу, освоилась в своем чуланчике на задворках сознания. Обустроилась, заматерела, и оттуда руководила поведением, впрочем, не зарываясь, осторожничая, держа себя в рамках приличий. Ее оскорбляли Рогатый и его последователи, но она мирилась с ними, потому что знала свою тайную силу, и терпеливо ожидала своего часа.

В голове неслись мысли, наскакивая одна на другую. Рваные, неровные, словно порезанные тонкими парикмахерскими ножницами для филирования челки. Отфилированные мысли.

Папочка смотрел, смотрела... — да какая, к черту, разница. Главное, не отрываясь — на ее ноги.

Вот сейчас это и будет? Вот именно сейчас... В первый раз. В фильмах для взрослых свечи всегда в такие минуты горят. Много больших белых свечей. А тут собака по шербатову полу когтями цоп-цоп-цоп.

— Девочка моя, ты всегда так долго в постели валяешься? Завтрак на столе!

Ия соскользнула с кровати и пошла на кухню, выгибаясь и потягиваясь как кошка. В коридоре они с Нормой соревновались, кто быстрее. Ия использовала запрещенный в гонках прием — прижимала бокастую таксу к стене — и потому достигла кухни первой, радуясь, что арбитру Норма не пожалуется.

На столе стояли горячие бутерброды: колбаса — сыр — помидор — лист салата. Жизнь с женщинами имеет свои преимущества. Например, ты можешь выкинуть кулинарную книгу, а также иголку с нитками и пяльцы. Не расстраиваться, если забыла зачеркнуть в календарике дни последних месячных. Этот дамский набор не пригодится. Возьми только чувства. Без них не обойтись. Чувства — самый прочный материал при строительстве воздушных замков.

Когда невесомые воздушные замки рушатся, осколки чувств ранят сильнее всего. Под этим камнепадом лучше не стоять. Дальновидные героини не заходят в такие замки вовсе. Умные героини седлают коней и оказываются по ту сторону крепостного рва, лишь заметив ползущую по стене трещинку, когда цитадель еще цела. Влюбленные героини кружатся в вальсе под высокими сводами до тех пор, пока не рухнет потолок придуманного замка, не разверзнется пол под ногами и не устремятся они в пропасть. Впрочем, и падая можно кружиться в вальсе и не замечать полета вниз. Влюбленные вообще мало что замечают.

Ия кружилась, но не в вальсе с прекрасным кавалером. Кружилась по-тарантиновски, не обходя острые углы, а ударяясь об них с размаху или случайно и счастливо минуя на расстоянии пары сантиметров. Зажмуриваясь от щекочущего нутро полета души вниз, в пятки, будто танцуешь на краю крыши. Она сотрясалась в знаменитом танце Умы Турман с Джоном Траволтой.

«Криминальное чтиво» она смотрела много раз. Для того, чтобы наконец-то досмотреть до конца, но ни разу не досмотрела. Турман извивалась, приседал Траволта. Она тоже чувствовала себя частью чего-то запретного, почти криминального, когда нажимала кнопку «off» на пульте, а Папочка одним точным толчком сталкивал с кровати таксу Норму.

Собака вздыхала почти по-человечески, ведь и ей никак не удавалось досмотреть «Криминальное чтиво». Нехотя, бочком, ковыляла в кресло, медленно покачивая задом и громко цокая когтями по полу. Опять вздыхала, крутилась волчком, укладывала нос-футляр на короткие передние лапы и долго, не мигая, смотрела на Ию.

Может быть, собака думала, что отношения мужчины и женщины заканчиваются смешными прыжками под какофонию звуков, а то, что она видит перед глазами — норма.

— Норма, Норма, — звал Папочка собаку, когда кровать освобождалась. — Как далеки мы от тебя, норма.

Звал или звала, *он* или *она* — вот в чем вопрос. Если имя твое Иэн Бэнкс, а критики величают Тарантино от литературы, можно не мучиться этим вопросом. Осиная фабрика все расставит по своим местам. Но если ты не легендарный шотландец, твоя затея — бэнкс! — рвется как натянутая тетива — бэнкс, бэнкс и еще раз бэнкс по носу.

Он — ложь и раздражает, но и она — не она. Женщина, похожая на мальчика. Папочка.

* * *

Люди часто играют в игры. Чаше, чем подозревают об этом. Иногда всю жизнь превращают в игру. Да и — «Что наша жизнь? Игра!». Выбираешь роль, следуешь, вживаешься...

Папочка играл своей жизнью, вертел в руках как жонглер, подкидывал и ловил. Это была роль — Он.

Ия приняла условия игры, они не ломали ее устоев. Ей нравились женщины, хотя на самом деле нравились ей эксперименты.

Она поигрывала, раскидывала картишки, выпадала мелочь, такие же любительницы экспериментов. С ними можно было болтаться по кафешкам и раз в неделю, по воскресеньям, ходить в *темный* клуб «Карниз», где собирались те, кто не хотел соответствовать местоимению «она» или стремился опробовать на себе вариативность нормы. Можно было даже лечь с одной из них в постель и попытаться что-то изобразить, думая при этом: «Правильно ли я ее трогаю? Так ли делают *эти* настоящие лесбиянки?» Соседка по постели наверняка думала так же, и дальше обжиманий, стыдливых от боязни обнаружить *некомпетентность*, дело не шло.

Всех их объединяло слово «*тема*», как ходящих в один класс объединяют буквы А, Б или В. Они были «в теме», даже если ничего в ней не смыслили.

Ходили слухи, что обычай использовать слово «тема» зародился в Питере, на Петроградке, которая представлялась Ие меккой всего запретного, а потому манящего. На Петроградке жил Папочка.

«Нелюбовь, нелюбовь» — надрывалась модная Ева Польна. Эту песню особенно любили ставить в «Карнизе». На входе стояли охранницы и блюли фейс-контроль. Выпускницы спортивного вуза, они сурово взирали на врывающихся в зал девиц снизу вверх. Невысокие, накачанные и насупленные.

Шанс встретить в зале мужчину был равен шансу повстречать лох-несское чудовище или снежного человека, отправившись на их поиски с аппаратурой и многочисленной группой сочувствующих.

Нелюбовь была главным чувством, которое испытывали друг к другу посетительницы клуба, старательно изображая любовь. В медленном танце в центре зала кружили пары. Девочки-пареньки *Активы* крепко держали за талии, а кто посмелее — и за задницы женственных *Пассивов*. Последних еще называли *Фам*, на французский манер, а на русский — *Клавами*.

Если с пассивами все было понятно: клавиша она и в Африке фам, то среди активов еще выделялись *бучи* — совсем уж мужеподобные женщины с крепкими затылками, квадратными челюстями и заквадраченными носами на мужских ботинках. «Буч — это актив в квадрате», — определила для себя Ия.

Хороший мужчина всегда в цене, это знает каждая женщина, даже нетрадиционная. За *активами* велась настоящая охота, со страстями, слезами и

кознями. Даже неповоротливые и задумчивые как телята бучи оказывались в эпицентре пристального женского внимания.

Девочки-пареньки понимали свою ценность и умело играли сердцами преданных поклонниц-*фамов*, обнажая тщательно скрываемую от самих себя бабскую сущность.

— Курочкина, Курочкина, как я ее люблю! — заходила в слезах знакомая Ие маленькая, невзрачная социологиня-первокурсница Петрова, прижимая к пушистому полосатому шарфу добытый какими-то нечестными путями портрет своего кумира. На черно-белой фотографии дымил сигаретой коротко стриженный пацаненок в узком фраерском пиджачке.

— Надо тебе у Мухи спросить, может, познакомит, — утешала Петрову Ия.

Шанс пойти в «Карниз» и не встретить там Муху был равен шансу прийти в цирк и не увидеть под его куполом акробата. Заболел? Муха не была *активом* и *пассивом* тоже не была. Она была Мухой.

В подражание любимой Алле Борисовне она носила короткие черные развевающиеся балахоны. Не лишённые, впрочем, элегантности и даже некоторой таинственности.

— Что это ваше бац-бац, тынц-тынц, нелюбооовь, — наставляла она пацанку за музыкальным пультом, одной рукой ероша короткий ежик диджейских волос, а другой крепко, по-боцмански, держась за спинку стула. В «Карнизе» ее всегда штормило. — Что это за музыка?

— Просят, — застенчиво лепетала пацанка и во все глаза глядела на Муху как ученица консерватории на маэстро. — А что надо ставить?

— Алла Борисовна, вот человек! — Муха тяжело плюхалась на стул, долго рылась в карманах артистического балахона в поисках сигарет и выпускала колечко дыма в лицо пацанке. — Три счастливых дня было у меня, вот что я тебе скажу, девочка!

Клуб «Карниз» Муха считала своим вторым домом, всем он был хорош, крутом одни девочки и никаких тебе приставучих мужчин с их сальными взглядами и широко расставленными ногами: развалятся так, словно яйца им мешают, того и гляди на шпагат сядут. Но достоинства суть продолжение недостатков. Недостаток в «Карнизе» все же был, и немалый — мужиков-то не было! Дойные коровы паслись в других местах и доили их другие *femme fatale*.

Муха страдала от отсутствия мужчин в «Карнизе» так же, как страдала бы от их присутствия. Она даже попыталась решить эту дилемму и притащила с собой двух «мальчиков». Охранницы их не пустили, но на такую милость Муха и не рассчитывала. Она усадила кавалеров на лестнице перед входом: «посидеть-то можно!» и, взмахнув на прощание крыльями балахона, устремилась в клуб.

«Мальчики» терпеливо ждали, ведь им было обещано «много лесбиянок», и покорно сносили случайные тычки сновавших мимо бабищ в джинсах и мужских рубашках навыпуск. Они все выискивали в выходящих проветриться парочках и стайках Джину Гершон и Дженнифер Тилли из американского фильма «Связь». Воображали себя братьями Вачовски и предвкушали открытие многих талантов «девочек-лесби». Для них в полиэтиленовом пакете лежало четыре банки джин-тоники по пол-литра и шоколадка с арахисом. Но Джина и Дженнифер не выходили, проказницы.

Вместо них вываливались все новые и новые бабищи. Их спортивные костюмы лоснились и переливались в лучах заходящего солнца как гладкие тюленьи шкуры. Такие купят шоколадку сами...

Джин-тоник выпила Муха, закусила шоколадкой, выплюнула арахис.

Подождав обещанного три часа, мальчики ушли и унесли с собой нерастраченную мужскую мечту о красивых «розовых» девочках в кружевном нижнем белье.

В ларьке у метро приобрели журнальчик с развратной медсестрой на обложке, помусолили страницы, повздыхали. Две скуластые жительницы Казани, приехавшие в Петербург «попробовать местного кокаина», разыграли для них настоящий спектакль с активным вовлечением в действие зрителей, как будто знали, чего от них ждут. Они даже были похожи на Джину и Дженнифер, особенно со спины. «Мальчики» чувствовали себя почти братьями Вачовски и не очень ругали Муху. Входные билеты на спектакль стоили две тысячи рублей с каждого.

Потерпев фиаско с кавалерами на крыльце, Муха решила отбросить предубеждения. В конце концов, с точки зрения равноправия полов, брать деньги с мужчин и не брать их с женщин — это ущемление женских прав. Для начала Муха решила брать в долг, но быстро поняла прописную истину: берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. На помощь ей пришла короткая память, когда подлетали кредиторы-*фами* детская наивность, когда подваливали кредиторы-*активы*.

Постепенно все привыкли к отчислениям в фонд Мухи и относились к ним почти как к членским *«темным»* взносам.

Ия познакомилась с Мухой в очереди. В обычных клубах, если вырос хвост в женскую уборную, можно мило улыбнуться, пожать плечиком и проскользнуть в мужскую. В клубе *темном* это не пройдет: обе уборные — женские.

— Что-то я тебя раньше не видела, девочка. Ты первый раз? — спросила толстуха в балахоне. Она поправляла взмокшие у лба кудри и изрядно пошатывалась. В «Карнизе» снова штормило.

— Первый раз в первый класс! — заржала стоящая позади высоченная фигуристая девица.

— Помолчи, Кобыла, это хорошая девочка, я вижу.

Когда Ия попыталась выйти из кабинки, та оказалась заперта снаружи. Подергала, толкнула — не поддается. Кашлянула. Очередь рассосалась и, похоже, даже Кобыла только что хихикнула и хлопнула дверью.

— Девочка, дай взаймы двести рублей и купи мне бокал пива, — вкрадчиво пропел голос снаружи.

— Откройте защелку!

— Двести рублей.

— Сто, — сказала Ия.

— Сто пятьдесят, — согласился голос.

— Сто, — настаивала Ия. — У меня больше нет, еще домой ехать.

— А бокал пива? — обиделся голос.

— В другой раз, — пообещала Ия.

Раздался щелчок, дверь отворилась.

— Я тебя люблю, девочка! — обняла ее толстуха, ловко пряча сто рублей в карман балахона.

Снаружи послышались крики. Толстуха приоткрыла дверь и высунула голову.

— Что там? — спросила Ия. Она уже поняла, что в этом мирке, как и в любом другом, живут по своим законам, а толстуха законы знает как никто другой. За науку неофиту не грех и заплатить.

— Дерутся. Кобыла бьет дочку Караченцева.

— Того самого?!

— Она так говорит. Врет, падла. Похожа очень... Пошли, тихонько. Не будем же до утра в толчке сидеть.

Муха решительно двинулась вперед, Ия — за ней, радуясь, что мощный корпус закрывает ее почти целиком, оставалось только пригнуться. Вокруг бильярдного стола бегала коренастая женщина, и впрямь похожая на известного актера. В женском варианте это сходство смотрелось странно. За ней гонялась Кобыла, стремясь ткнуть кием как шпагой. «Дочка Караченцева» ловко увертывалась и приседала, как хорошо обученный солдат.

Ия вспомнила любимый с детства фильм «Батальоны просят огня». Лейтенант Орлов — ее первая детская любовь. А сейчас этот лейтенант, ничуть не постаревший, удирал от разъяренной девицы. Кобылу пытались сдержать редкие смельчаки из собравшихся зевак (зевачек, девах, девочек), но им тут же доставалось кием. Женская свара хуже собачей своры, а уж если она подогрета алкоголем...

— Чего это они? — шепотом спросила Муху Ия, когда они ползли под бильярдным столом, чтобы незаметно покинуть поле боя.

— Нажрались как суки. Не обращай внимания. Кобыла любит «дочку Караченцева». А та бежит налево. А эта ревнует. Понятно?

— Понятно.

Ие стало понятно, что в «Карнизе» она не найдет того, что ищет. Ей хотелось *по-настоящему*, вокруг все было по-бутафорски.

Но она продолжала таскаться туда каждое воскресенье — вот так вышедший в лес грибник не сворачивает с пути, даже если видит, что места неурожайные. Не зря же он надевал резиновые сапоги, брал корзину и наливал в термос чай.

Потом она услышала про Папочку и поняла: это то, что она ищет. Она не видела *его*, вернее, *ее* (бэнкс по носу). Нет, все-таки *его*, если играть по установленным правилам. Не видела, но обижалась, когда до нее доходили слухи о его похождениях и романах, будто этим он наносил ей оскорбление, предавал, обманывал именно ее, о существовании которой не подозревал.

Папочке было тридцать лет. Он давно не ходил по клубам, где крутилась мелюзга, работал в охране закрытого элитного бассейна и называл себя «бабушкой лесбийского движения». «Бабушка» в сочетании с *он* почему-то не казалась Ие смешной. Может быть, потому что самой ей было на десять лет меньше. Да и мало ли слов произносим мы в жизни, не задумываясь над их абсурдностью.

* * *

И вот — перед ее носом дымятся горячие бутерброды...

Ия поерзала на табуретке, как бы занимая свою клеточку на шахматной доске — *поосновательней*. Папочка сел напротив — на своей клеточке. Между ними клетчатая скатерть. Партия началась.

Бульк-бульк — раздалось за спиной, и потом протяжное — уууууу, и снова — бульк.

— Что это? — подскочила Ия.

— Лягушки, — невозмутимо сказал Папочка. Такса Норма даже ухом не повела.

— Как лягушки? — опешила Ия. У нее в квартире нашествие тараканов, тут — лягушки.

— Поверила, что ли? — засмеялся Папочка. — Это в ванной вода булькает в трубах. Здесь же ванна на кухне, сами ставили. Самопальная ванна, пол под

ней уже сгнил почти. Скоро в арку свалится на голову прохожим. Что делать... Мыться надо. Трубы старые, в них всегда так квохчет. Привыкнешь.

Ия подошла к окну. Второй этаж, под кухней арка, над аркой ванна, под ванной гнилой пол. Но мыться можно — это главное.

Лягушки лучше, чем тараканы. В съемную квартиру Ия вернулась один раз — собрать вещи. Вернее, возвращалась она два раза, но про первый предпочитала не вспоминать.

Она уже знала, что длинноволосые, грудастые девицы, облизывающие друг друга язычками, и *настоящие* лесбиянки не имеют ничего общего. Первые, искусственные, замещают вторых в сознании обывателей, в глазах общества, и, надо сказать, помогают вторым, настоящим.

Пока лесбиянка — красивая женщина, пихающая наманикюренные пальчики в такую же очаровательную подружку — ее можно принимать, великодушно быть *толерантным* и говорить: «Вы знаете, а ведь и моя ориентация — лесбиян».

Ведь зачем она облизывает себе подобную? Во-первых, от глупости. Во-вторых, для всеобщего мужского удовольствия. Конечно же, она мечтает, чтобы к ним присоединился он, Самец. И помог неумелой женщине. Той и другой. Обоим глупышкам.

Кроме сексуального возбуждения, убеждение это играет гораздо более важную роль — дает ощущение собственного превосходства, гладит ауру. Словом, делает приятно не только головке, но и голове, которая — сделаем смелое предположение — является у мужчин эрогенной зоной ровно в той же степени, что и у женщин.

Покажи этим «лесбиянам» тех, кого они *принимают*, живьем, в натуре, не головка опустится — обрушится голова. И перестанут они быть толерантными и смешливыми, станут карающими, оголтелыми, когда увидят вместо медсестрички или горничной в костюмчике из секс-шопа накачанную тетю весом в девяносто кило, готовую разбить бутылку о голову распустившего слюни «лесбияна».

Папочка не весил девяносто кило, не носил спортивных костюмов, но разбить бутылку и сделать «розочку» мог. Не избежал он и еще одного отличия лесбиянок настоящих от «общественно принятых» — пьянства.

Пил Папочка красиво, не то что «карнизовская» молодежь. С чтением Цветаевой, цитацией прочих классиков, за собственноручно накрытым столом. Но настроение «под лаской плюшевого пледа» быстро улетучивалось.

Дебоширил Папочка тоже красиво. Утром красиво просил прощения. Красиво проходила неделя. Потом все повторялось. Классическая для многих традиционных семей схема работает и в нетрадиционных.

— Бьет, значит, любит. Но сколько можно...

— Так уходи.

— Уйду, вот с духом соберусь...

Знает, что не соберется.

Первое возвращение в съемную квартиру совпало с первым скандалом. Из-за чего, Ия не помнила. Скорее всего, как все настоящие скандалы, он вырос из ничего, из желания поскандалить, из какой-то трещины внутри.

Трещины были внутри у обоих. Чаще всего они совпадали, образуя единую, общую трещину, проходящую через них как громоотвод. Но иногда смещались, и тогда молния била по ним же. Била — бэнкс, но не сжигала, и они продолжали свою партию.

В тот первый раз Ия собрала чемоданишко и поволокла его к дверям. Папочка выдернул его из рук. Чемоданишко раскрылся, барахлишко высыпалось. Ия снова его собрала, поволокла.

— Дай, помогу, до метро, — сказал Папочка. Он был не очень пьян.

Согласилась, отдала чемоданишко. Она вообще не хотела уходить. Но надо было что-то делать.

Дошли до метро. Не расстались. Спустились по эскалатору вниз. Не расстались. Подошел поезд. Не расстались. Сели в вагон. Там уже не расстанешься.

Тогда Ия поняла, что обратно они поедут вместе. Знал это и Папочка. Но обнаружить это знание не хотели. Ссора так ссора. Дотащили чемодан до квартиры. Включили свет, распугали тараканов. Они стали единственными полноправными хозяевами и, казалось, расплодились еще больше. Питались они, очевидно, у соседей.

— Черт, здесь нельзя оставаться, — присвистнул Папочка. — Это мутанты какие-то. Придется тебе возвращаться.

— Придется, — поспешила согласиться Ия.

— У метро не могла сказать? Теперь обратно тяжесть такую тащить.

— Не могла, — прошептала Ия и уткнулась носом в его плечо. Он был выше ее. — А ты не могла?

— Не могла, — ответил Папочка.

На другой день Ия позвонила хозяйке квартиры, чтобы отдать ключи.

— Хочешь, погадаю? Дай мне руку, — сказала ей хозяйка и, не дожидаясь ответа, развернула ладонь Ии к себе.

Ию передернуло. Хозяйка и сама всегда напоминала ей большого таракана. Смуглая, черноглазая, с патлами грязных седых волос. О том, что некогда они были черными как вороново крыло, напоминали теперь только брови и толстые черные волосины, вылезавшие из ее подбородка. Несмотря на неопределенный возраст, что-то около шестидесяти лет, она просила звать себя Любашей.

Любаша редко была трезва и не вынимала изо рта беломорину. Когда она не дымил папиросой, казалось, она ее сосала. И еще была у нее одна удивительная особенность: облик обликом, а пахло от Любаши всегда хорошо. Даже не хорошо, а как-то именно особенно: подкопченно — но не дымом дешевых сигарет, а дымком костра, проспиртованно — но не пойлом сивушным, а будто тыпнула она медицинского спирта, обеззаразила нутро. И еще рядом с ней слышался ветер, шорох камышей, плеск волн на бережку.

Наверное, потому что жила Любаша неизвестно где, но на природе. Квартиру сдавала, а про жизнь свою говорила: «Рыбачка я». Был у нее какой-то ухажер, с которым она ловила рыбу в лесных озерах, а потом продавала ее в городе у метро.

— Рука у тебя холодная, девочка, — чуть помедлив, сказала Любаша. — У меня вон какая горячая, чувствуешь? Потому что мужик со мной настоящий! Он кровь как разгонит, так разгонит. А у тебя, видать, нет мужика. Почему у красивой молодой девочки нет мужика? Потому что есть тараканы...

— Кстати, тараканы, — ухватилась Ия за подкинутую тему. Исповедоваться перед Любашей, которую она видела в последний раз, ей не хотелось. — Вам службу вызывать надо. Их обычная отравка не берет.

— Бог с ними, — не выказала никакого интереса к своему жилищу Любаша. — Они тоже жить хотят, не меньше нас с тобой. У тебя линия жизни глубокая, длинная. Большая любовь будет к высокому, красивому.

«Любовь уже есть», — подумала Ия, ведь Папочка был высок и красив. Это предсказание напомнило ей прогноз погоды на завтра с обещанием первого снега. Ты выглядываешь в окно, а он уже идет.

— А дети будут? — спросила она.

Когда-нибудь у женщины должны быть дети, так заведено. Этот вопрос интересовал ее разве что чуть-чуть. У нее будут дети, и Папочка, и отец детей тоже будет. Все это будет там, в прекрасном будущем, которое непременно наступит. Пока ей двадцать лет и у нее уже есть Папочка.

Любаша смотрела в ладонь, жевала темными губами и не спешила с ответом. Ие это не понравилось:

— Будут дети? — повторила она с нажимом.

— Будет мужик, будут и дети, — уклончиво ответила Любаша, затем воззрилась на нее вороньими своими глазами и сказала совсем уж невпопад: — За удовольствия платим, за мечту — расплачиваемся.

Ия передернула плечом, сунула ей ключи, и побежала в одну сторону. Любаша потопала в другую.

В тот год Ия все бегала, и цель этого бега была одна — скорее прибежать домой. Если Папочка дома, неслась галопом. Сутки он работал в охране, двое — вел хозяйство. Гены пальцем не сотрешь. Готовил Папочка по-женски кропотливо.

Среди мужчин тоже попадаются кулинары, да какие! Но мужчина и на кухне стратег. Если уж заведует ложками-поварешками, так шеф-повар. Если уж сварганит на радость жене блюдо, так раз в год на Восьмое марта, чтобы не расслаблялась. Мужчине размах нужен, простор для творчества, признание. А вот так тихо стоять у плиты, день за днем, мелко крошить овощи для супа и ни на что не претендовать — это только женщина может. Папочка мог.

Но на этом его женские добродетели заканчивались. На накрытый стол ставилась бутылочка, часто на пузырек заходили гости в лоснящихся как тюленьи шкуры спортивных костюмах. Они приносили с собой новости и сплетни из «большого» мира, а мир для них ограничивался «Карнизом».

Ия быстро обнаружила в себе луженую глотку. Оказалось, что пить она могла как заправский мужик, и не сладкое винишко, а водку. Когда Папочка уже спал, она выставляла за дверь тюленей и убирала со стола.

— Девочка моя, ты пьешь как гусар, ешь как троглодит и спишь как мужик, на спине, — говорил ей утром Папочка.

Ия обижалась, выкатывала нижнюю губу и шла красить ногти.

— Обидные слова говоришь, — кричала она через минуту, высунувшись в длинный коридор кашеварившему на кухне Папочке.

— Да ты больший мужик, чем я, — беззлобно парировал Папочка. — Просто боишься в этом признаться!

Ия понимала, что Папочка прав. При всей женственности облика в ней был силен мужской замес. Она его прятала и не любила, когда о нем напоминали.

Собственно, ничего мужского в ней не было: она до смерти боялась насекомых и высоты, любила побрякушки и яркие платья, особенно с красными маками. Был только особый, *мужской* взгляд на жизнь. Не сентиментальный и прямой. Этот взгляд все и портил с мужчинами. Ей было с ними не интересно. Не возникало сказки, дрожи в груди, того флера, который всегда окутывает первые шаги зарождающихся отношений, пусть самых захудалых. Не было ощущения *инаковости*, а ведь оно и манит открытием нового мира.

В женщинах была родственность, но и *инаковость* тоже была. Может быть,

потому что смотрела на них Ия мужским взглядом. Впрочем, не на всех, на Папочку.

Такие же, как она, женственные особи-особы вызывали у нее здоровое чувство соперничества. Пушистой горделивой кошечке, которая торжественно шествует мимо тебя с гордо поднятым хвостом, хочется поддаться под зад. Слегка, чтобы не зазнавалась. Обычная женская нелюбовь.

К экзотическим, лысым кошкам породы «сфинкс» испытываешь благоговение. Они кажутся пришельцами из иных миров и настолько ужасны, что в уродстве своем прекрасны. Ие нравились женщины-мальчики, но не грубые, обруталенные, превратившиеся в мужланов, а худенькие, с изломом, дерзким взглядом из-под короткой челки безвозрастные «пацанята». Словом, в женщинах ей нравилось то, с чем она боролась в себе — мужское начало.

Для того чтобы уравновесить чаши внутренних весов, Ия тщательно следила за женской половинкой. На ее сторону клались прически, красный лак для ногтей и лакированные сумочки, платья с декольте и юбки с воланами, накрашенные ресницы и нарисованные скулы, и каблучки, каблучки, каблучки.

Чем больше она ощущала уродство внутри, тем красивее становилась снаружи. Из вполне обычной девочки с заурадной внешностью, незаметно для самой себя она превращалась в красивую женщину.

Красивой женщиной был и Папочка, но на его внутренних весах груз распределялся по-иному. С особым пристрастием заполнена мужская половинка. Стройность и высокий рост, светлые волосы и большие глаза — все это не играло, не работало на женский облик без главного: желания быть женщиной.

Папочка пускал в ход лишь одно свое женское достояние — длинные пушистые ресницы.

— Хочешь, бабочку покажу? — говорил он и наклонял лицо к щеке Ии. Касался ее щеки кончиками ресниц и быстро моргал. Бабочка на цветок садится.

— А теперь ежика! — просила Ия.

Папочка утыкался носом в ее ухо и начинал часто-часто дышать, будто бежал и запыхался. Ежик принюхивается к яблоку.

* * *

Через год, как и обещала, приехала Надя. Ия узнала об этом по обрывку телефонного разговора. Ей показалось, что Папочка договаривается о встрече на завтра. Ия не подала виду, только долго не могла уснуть, ворочалась и, засыпая на боку, подумала, что на спине спят спокойные, уверенные в себе люди, а на боку те, кому хочется принять позу эмбриона, ужаться, свернуться калачиком, спрятаться от мира хоть ночью.

На следующий день Ия поехала из университета не домой, а неизвестно куда. Села в трамвай. Когда тот уперся в конечную остановку возле трамвайного парка, пересела в другой. Потом в третий.

Осенью Петербург похож на Лиепая — город, где рождается ветер. Может, оттого и дышалось Ие так легко в этом климате, что оба города — при Балтике.

Храм Спаса-на-Крови, этот пряничный домик, как Свято-Николаевский Морской собор, возле которого они всегда гуляли с бабушкой. Ровный серый свет и невидимая, но хорошо ощутимая щеками мокрая взвесь в воздухе между небом и землей.

Но есть и какая-то отдельно существующая только в Петербурге, окутывающая его субстанция. Если дать волю фантазии, может, и мыслящая. Восставшая

из древних чудских болот или спустившаяся на салазках балтийского ветра с неба.

Она ехала и смотрела в окно, и было очень печально, тревожно и хорошо, потому что осень в Петербурге не просто прекрасна, она родственна душе, как знакомая с детства колыбельная. В первом куплете усыпляет, убаюкивает большой город листопадом желтых кленовых листьев. Тех, кто не поддался очарованию сентябрьского золота, вводит в транс сезоном моросящих дождей. Укрывает ватным одеялом низких, неподвижных облаков. Поет о чем-то грустном, понятном без слов.

Приезд Нади совпал со вторым куплетом осени. Капли дождя бороздками стекали по стеклу. Ие казалось, что проплывающий мимо город плачет вместе с ней.

Накануне вечером она начала собирать вещи и тогда же поняла, что весь год она жила под дамокловым мечом Надиного приезда. Весь год она чувствовала вину перед ней, хоть сама себе в этом не признавалась. И все же жаль, что кончился этот год.

Четвертый трамвай под номером «36» привез Ию на очередную конечную остановку. Она вынырнула из своих мыслей, огляделась по сторонам и поняла, что заехала далеко: в поселок Стрельна.

В отличие от других пригородов, сюда до сих пор ходил трамвай, а сама ветка была наследницей легендарной «Оранэлы» — Ораниенбаумской электрической линии, с размахом построенной еще в царские времена.

При советской власти все оборудование электростанции в Ораниенбауме отправили для обслуживания уральских рудников. Рельсы и шпалы разобрали. Правда, четвертину дороги все же оставили, аккуратно до Стрельны.

Ия вышла на улицу. Дождь закончился. Темнело по-осеннему быстро. Будто натягиваешь на глаза то самое ватное одеяло, которое днем устилает небо.

Что тут делать, было непонятно. У единственного продуктового ларька стояла женщина с авоськой. За женщиной стояла собака с впалыми боками. Женщина склонила голову к окошку ларька и громко объясняла, что надо достать макароны не ракушки, а спиральки. Собака сунула морду в авоську и тихо тащила из лежащего наверху бумажного кулька три розовые сардельки. Осторожно, но настойчиво, как опытный сапер при обезвреживании взрывного устройства.

Ия вернулась к трамваю и постучала в закрытую переднюю дверь.

— Вы обратно поедете?

— Катаешься? — гаркнул в открывшуюся дверь водитель.

— Я заснула, мне в город надо.

— Через десять минут. Это последний, больше не будет!

Дверь сердито дернулась, но не закрылась.

Ия села на то же сиденье. Через пять минут в открытую дверь прошмыгнула собака со связкой сарделек в зубах, воровато оглянулась и забилась под заднее сиденье.

Больше желающих ехать из Стрельны в город не было, и трамвай поплыл, громыхая и покачивая железными боками, а потом и побежал по неразобраным большевиками рельсам «Оранэлы» в обратном направлении.

Так же, маленькой девочкой, каталась она на самом старом в Прибалтике липайском трамвае. Их-то трамвайная линия постарше «Оранэлы» была. Это тоже роднило ее с новой балтийской родиной и даже примиряло с происходящим.

Ия смотрела и пыталась разглядеть очертания домов в темноте. Собака слопала сардельки и изредка вздыхала, так же, как и домашняя такса Норма. Наверное, все собаки вздыхают одинаково, а значит, вздыхают они о чем-то своем.

Вздыхала собака, вздыхала Ия. Она тоже чувствовала себя покинутой, не нужной. Хотелось домой, а может теперь уже не домой, а в гости.

Собака вышла на улице Лени Голикова. Ия вышла в Автово. Она вернулась к полуночи. В темном парадном поскребла ключом в замке. Дверь распахнулась изнутри раньше, чем она ее открыла.

— Где тебя носило? — встряхнул ее за плечи Папочка.

— А где тебя носило? — с вызовом ответила Ия и не удержалась. — Как встреча прошла?

— Какая встреча?

— Та, о которой ты вчера договаривалась!

— Я не хотела тебе говорить. Встречусь, думаю, с ней быстренько. Ты подслушивала, что ли?

— Случайно.

— Хорошо прошла. Давно же не виделись. Соскучилась я по ней. Не могу все-таки вот так взять и вычеркнуть ее из жизни. Все-таки многое нас связывает. Тебе не понять, слава богу.

— Конечно, где уж мне. Любишь ее?

— Люблю. Сегодня поняла, что люблю все-таки. А кого мне еще любить? У меня и нет никого больше: ты, она, да Норма.

— Так, может, мы втроем и жить будем?

— Зачем втроем, — удивился Папочка. — Пусть приходит. Тебе жалко, что ли?

— Далековато идти будет.

— Так она рядом живет. На Сытной площади. Что тут идти-то...

— Ах, она уже и живет рядом. Вернулась, что ли?

— Так она давно вернулась! Ей же тогда и дали-то немного, подумаешь, два года!

— Откуда вернулась? — опешила Ия.

— Из женской колонии в Саблино, откуда же еще!

— Ты с кем встречалась?

— С Понтием, с кем же еще! Она же год боялась звонить после кражи. И я не звонила. А тут объявилась. Ладно, думаю. Всю жизнь ее знаю. Что уж теперь.

— А Надя?

— Какая Надя? Ах, та... Далась она тебе. Надя еще летом приезжала. Муха звонила, звала меня. Я не пошла. Что я ей скажу? — виновато развел руками Папочка. — Ни к чему это.

Этой ночью Ия вновь заснула на спине.

* * *

С того дня в их мирок вошла Татьяна Пантелеева, которую никогда не величали по имени, по фамилии звали редко, а отчества никто не знал. Разве что отделы кадров многочисленных работ, которые она меняла как перчатки.

Работать Понтий любила. Она была первоклассным поваром. Ее быстро повышали до общего руководства кухней, но потом начинали замечать, как быстро исчезают продукты.

Замечали, конечно, не сразу, да и, заметив, поначалу не обращали внимания. Работать на кухне и не накормить при этом своих близких, далеких и

соседей может только ленивый, эгоистичный, словом, потерянный для общества человек. Человек ответственный и отзывчивый всегда несет с работы полные сумки.

Ответственность и отзывчивость Понтия не знала границ. Она была *несуном* в полном смысле слова. Даже когда все были накормлены, в холодильнике не оставалось и сантиметра свободного пространства, а закрома ломились от снеди, Понтий не могла не экономить на порциях посетителей. Патологически не могла.

Когда количество унесенного домой в очередной раз превышало количество съеденного гостями заведения за день, ее увольняли. Отдохнув пару дней, она устраивалась на новую работу. В Петербурге много едален, и хорошие повара всегда в цене.

На этот раз Понтий работала в кафе неподалеку от дома и звонила им с утра:

— Куриные грудочки для Нормы, вам — свининку или говядинку?

— И то, и другое. Мы вечером заберем, — говорил Папочка.

— Вечером балычок будет или кореечка. Ко мне племянники подъедут, но и вам останется.

На дворе стоял 1999 год. Балычок был кстати.

Тяжелые времена наступали, когда Понтий устраивалась в вегетарианские кафе, которые начали появляться в городе. Она их не жаловала, но работа есть работа.

Все близкие, дальние и соседи Понтия садились на диету, жевали капусту, хрустели морковкой и с нетерпением ожидали, когда она вылетит и с этого места. Руководство заведений с вегетарианской кухней оказывалось таким же квелым, как и их меню, и долго не могло сообразить, куда деваются превосходные белые кочаны из Голландии. Тогда окружению Понтия приходилось хрустеть с удвоенной скоростью, чтобы приблизить конец вынужденного поста.

В редкие выходные Понтий пекла пирожки с мясом или с капустой и ходила по гостям. Из гостей она тоже неслла, ибо не нести не могла. Уносить принесенное с собой было бы странно, поэтому неслла она то единственное, что не приносила — спиртное. С уходом Понтия со стола исчезали початые бутылки, в которых оставалась хоть маковая росинка. Целые бутылки не исчезали, потому что пока они были целы, Понтий не уходила.

Она могла бы осчастливить своими кулинарными талантами любого мужчину, но мужчины интересовали ее не больше репчатого лука, который даже в лихие девяностые и отходняковые нулевые годы стоил недорого. Лук — единственный ни разу не был удостоен чести быть унесенным Понтием с работы.

Вспоминать прошлое Понтий с Папочкой не любили, но Ия знала, что знакомы они с детства и выросли в одном дворе. Точнее, в одной подворотне на Большой Пушкарской улице.

Пока матери пили, дочери превращались в шпану. Потом, в советское еще время, начались темные делишки, которые закончились бы весьма сурово. На счастье Папочки и Понтия советское время закончилось раньше, чем их делишки. По российскому смутному времени, торговля «не только фарцой» потянула на два года колонии для Понтия и условный срок для Папочки. Районный суд учел юный возраст, раскаяние и наличие матери, умирающей от рака.

Понтий отправилась в колонию, а Папочка распрощался со спортивной карьерой, которая до судимости еще брезжила перед ним, несмотря на затянувшуюся трясину делишек.

Про спорт Папочка тоже не любил вспоминать. Когда Ия находила где-

нибудь в глубине квартиры, на антресолях или дальних полках шкафов грамоты лучшей юной пловчихе города, отнимал их и прятал еще дальше. Вернее, *отнимала и прятала* — по-женски порывисто, горячо, с обидой. Как будто не грамоту вытащили на свет, а постыдный скелет из шкафа. Но у кого нет скелетов несбывшихся надежд?!

Из колонии Понтий вернулась досрочно. Там она запомнилась хорошим поведением, вкусными пирожками и младенцем, от которого отказалась при рождении. Правда, также ходили слухи, что ребенка она потеряла еще нерожденным. Скептики утверждали, что никакого ребенка вовсе не было, ибо, во-первых, неоткуда ему было и взятыся, во-вторых, все знали любовь Понтия к сочинительству и аферам.

Ия недолюбливала Понтия, но мирилась с ней, как мирилась с тараканами в своем прежнем доме.

Иногда они вместе приезжали в «Карниз», в котором ничего не менялось. Ия чувствовала себя в компании галантных кавалеров, держала Папочку под руку и с торжеством глядела по сторонам. Понтий брезгливо листала скудное меню о трех листах и, видимо, прикидывала, что есть заведения, откуда унести попросту нечего.

В «Карнизе» к ним подсаживалась Муха. Она витиевато кланчила у Понтия и Папочки деньги, но те не поддавались.

— Приходи ко мне, обедом накормлю, — говорила Понтий.

— И вообще, шла бы ты поработала, что ли, — говорил Папочка. — Совесть надо иметь.

В один из приездов Папочка много выпил. Был август. На столе стоял арбуз. Взяв у официанта нож, Папочка сам стал кромсать арбуз, а потом дико озираться и размахивать ножом. Что ему не понравилось, было неясно.

— Отберите у нее нож, — заверещали активы и фам в один голос, а старожилы попрятались за новичков, поскольку знали крутой норв Папочки.

Отнять нож было не так-то просто. Подойти близко боялись даже закаленные в боях за отстаивание своего мужского достоинства бабищи в спортивных костюмах. Низенькие фэйс-контролерши из охраны застыли в нерешительности. Побежали искать Ию.

Она пришла, оценила обстановку и поднесла к носу Папочки кулак. Незаметно для себя она научилась всему, что умеют преданные и любящие жены алкоголиков. Утихомиривать и прощать. Прощать и забывать, и снова утихомиривать.

Кулак помогал не всегда. Иногда ей приходилось брать в руки сковородку.

— Только не по голове! Она у меня самое больное место, — ныл Папочка и закрывал голову руками.

Бить первой Ия боялась. Только давала сдачи.

— Мы убьем друг друга когда-нибудь, ты это понимаешь? — обнимал ее в постели Папочка через десять минут.

Ия не понимала этого, ведь роднее у него никого не было. Не хотела понимать.

Отняв у Папочки нож и вернув его официанту, она почти снискала тогда аплодисменты.

Только Муха, сидевшая поодаль, поправила свой балахон и проворчала под нос:

— Бедная девочка.

Мирок был тесен. Иногда доходили новости от Нади. Она перебралась во Францию и посылала приветы им обоим. Иногда они сталкивались с юристом.

На лице ее все еще плескалось харчо, которое она вылила в унитаз, не дождавшись Папочку с работы три года назад. Да, прошло три года или четыре, Ия не считала. Они свыклись друг с другом и выстроили свой мирок, в котором не было места посторонним и мужчинам.

Свою жизнь с Папочкой Ия скрывала и не скрывала одновременно. Она окончила университет и обзавелась работой, став маркетологом — почти по специальности, вполне современно и достаточно по-женски. Все думали, что живет она не то с сестрой, не то с подругой, не то сестра ей как подруга, не то подруга как сестра. При этом «кто-то у нее есть». Даже далекая ее семья, жившая своей жизнью на Кубани, свыклась с существованием какой-то подруги, а в нечастых теперь посылках все было для двоих.

Поступок, торжественно именуемый в их среде «coming out» — выход из подполья — Ия совершила одной ногой.

Вокруг нее теперь все чаще взрывались снаряды: однокурсницы и сослуживцы выходили замуж и рожали детей. Они выпадали из ее круга общения или она выпадала из их. Вчерашних приятельниц будто рассаживали по космическим кораблям и разносили на разные планеты.

Будущее все казалось Ие далеким, отдельным от ее настоящего. Прекрасное далёко не должно было быть к ней жестоко. Ну а в настоящем было много цветов.

Зимой цветы покупались редко. Летом Папочка наверстывал бесцветное зимнее время. Цветы появлялись в доме каждый день, без повода. Точнее, поводом был сам новый день и Ия.

Как потеплеет, у метро выстраивались в ряд старушки: сначала с примулой, потом с первыми дачными нарциссами и тюльпанами, чуть позже — с россыпями полевых цветов. Это во Франции цветочницы наряжены в яркие платья и соломенные шляпки с лентами. В России цветочницы облачены в потертые пальтишки с облезшими воротниками, прохудившиеся сапожонки и иногда ордена на груди. Их наряд не меняется и летом, благо часто оно в наших широтах бывает прохладным.

Глядя на подружек, Ия старалась не думать о будущем. Глядя на старушек, она не могла не думать о нем.

Что будет с ней, с Папочкой, с ними? Тогда же Ия стала вспоминать слова Любаши, которые, оказывается, все это время дремали в ее голове: «Будет мужик — будут и дети». Но как они будут жить все вместе: она, Папочка, их будущие дети и мифический мужик? Это было не ясно и, более того, абсурдно. Разношерстную компанию еще можно было уместить в голове, но вот как разместятся они в жизни...

Безумный, упоительный танец Умы Турман продолжался. Воздушный замок прирастал новыми башнями. Стол по-прежнему был покрыт клетчатой скатертью. В центре стола стояла ваза. Менялись лишь букеты в ней.

На день рождения Папочка дарил ей букеты бордовых роз по числу исполнившихся лет. На Восьмое марта экзотические оранжевые цветы на толстом, похожем на дудку, стебле. Мясистый бутон цветка плотно раскрыт, на его дольках, напоминающих вывернутые наизнанку губы, застыла прозрачная, липкая, тягучая как патока слеза.

— Он такой же уродливый, как и я, — говорил ей Папочка. — Но посмотри, какой он красивый. Я не мужчина, но я очень тебя люблю.

Бывало, Папочке звонили бывшие пассии: поздравить и поболтать. Эти

звонки злили Ию как непрощенные гости, пожаловавшие в ее воздушный замок, который казался ей добротной избой.

Однажды Ия шла по улице мимо парикмахерской с окнами во всю стену. На подоконнике стояли фикусы. Ия заглянула внутрь через стекло.

Перед зеркалом сидел Папочка, до подбородка задрапированный синей простыней. Над его головой колдовал мастер, а рядом на стульчике примостилась загорелая девица.

«Ну и очередь, прямо подпирает», — удивилась было Ия, но тут же заметила, что девица, похоже, дает советы как лучше подстричь Папочке челку.

Не обращая внимания на прохожих, Ия пригнулась и стала наблюдать за происходящим сквозь широкие листья своего нежданного союзника — фикуса.

Когда стрижка была закончена, Папочка с девицей вышли на улицу. Ия отбежала за угол дома и продолжила наблюдение. На улице стужались осенние сумерки. Очередной куплет очередной осени, в который вплелась новая, тревожная нота.

Посоветовавшись, пара двинулась по проспекту в сторону, противоположную от их дома. Выждав минуту, Ия пошла за ними, то ускоряя, то замедляя шаг. Опустив головы, рядом быстро семенили прохожие. Когда пара замедляла шаг, Ия старалась слиться с жидким ручейком идущих рядом или останавливалась, отворачивалась и даже делала вид, что идет в обратном направлении, не обращая внимания на тычки в спину и гневное шипение тех, чьи траектории она нарушала.

Пара зашла в кафе и села за столик. Ия потопталась снаружи, снова заглядывая в окна. Надо было что-то делать. Заходить или уходить. Она потопталась еще чуть-чуть и открыла стеклянную дверь.

Взяла у бармена бокал вина, и молча, как ни в чем не бывало, под села к ним. Лицо Папочки вытянулось как маска в фильме «Крик», а девица замерла и округлила глаза.

Немая сцена «Не ждали» продолжалась несколько минут. Ия выпила вино, повертела в руках пустой бокал и встала из-за столика. Что делать дальше за эти пару минут — она так и не придумала. Можно было поддеть столик рукой и опрокинуть посуду и бутылку шампанского, но комедий Ия не любила, она предпочитала драмы и трагедии. На худой конец, комедийные боевики.

Она выскочила из кафе и, не обращая внимания на поток несущихся машин, побежала через проспект. Скорость машин и стремительно уменьшающееся расстояние между ней и ими не тревожили. Она хотела, чтобы ее сбила машина, прямо здесь, напротив этого чертова кафе и чтобы в окно было видно — как в кино.

— Дура! — заорал мужик, высунувшийся из машины, затормозившей первой, и протяжно библикнул, выражая гудком все несказанные слова.

Ия обернулась и показала ему средний палец руки. Мужик покрутил у виска и уехал.

Она плюнула ему вслед, но уже на тротуаре, глядя на мелькание фар, поняла, что благодарна этому мужику.

Медленно пошла в обратном направлении к переходу через проспект. На этот раз она дождалась зеленого сигнала и вместе с подхватившей ее толпой посеменила домой. Возле арки во двор был продуктовый магазин. В нем она купила бутылку водки, потому что без нее драма, а тем более трагедия была бы неполной.

Поначалу она надеялась, что Папочка прибежит следом. Медлила у парадного, медлила у дверей квартиры, медлила, наливая первую стопку.

Собака, словно чувствуя нелады, не подходила к ней. Только водила глазами и подрагивала кончиком уха, лежа в кресле.

— И ты, Норма? — крикнула Ия. — Давай-давай! Предавай!

Через час надежды на скорое раскаяние Папочки не осталось.

— Твое здоровье! — чокнулась Ия с влажным носом Нормы. Видимо, тост не понравился собаке, и она оскалила зубы.

— Ах, мы не хотим за здоровье, тогда — чтоб ты сдохла! — предложила новый тост Ия и пьяно засмеялась.

Бутылка приближалась к концу. Стрелки на часах — к двенадцати ночи.

— Ладно, надо что-то делать, — пробормотала Ия и пошла на кухню. Что делать, она по-прежнему не знала.

Достала нож. Попробовала кончиком пальца лезвие. Не так, чтобы острый, но и не тупой.

Правую или левую? На левой носишь часы, лучше левую. К тому же правой и резать удобнее.

Руку было жалко. Но ничего лучше в голову не приходило. Примерившись к запястью, Ия слегка надавила лезвием. Ничего. Тупой нож все-таки.

Она начала водить им как пилой: туда-сюда, осторожно, будто раскачивала малюсенькую качельку. Наконец, решилась, закрыла глаза и резанула. Не так, чтобы очень глубоко, но кровь выступила. Наконец-то!

Ия осмелела и сделала еще один надрез. Чуть поменьше и аккуратнее. Женский такой надрезик.

Смелый жест отчаяния надо было обмыть. Она допила водку, и тут ввалился Папочка.

Он тоже был пьян и тоже в отчаянии. Папочка нашел бинт и перевязал ей порез. Потом закатал свой рукав и показал жирные белые шрамы на левой руке гораздо выше запястья.

— Вот где резать надо, поняла?

— Почему? — икая, спросила Ия.

— Потому что жизнь такая, — ответил Папочка. — У меня своя жизнь, у тебя — своя. Нам расставаться с тобой надо, пока не поздно. Ничего хорошего уже не будет.

— Но ведь все хорошо. Я не могу без тебя.

— Вот это-то и плохо, что не можешь. Я тоже не могу, — сказал Папочка и достал со шкафа старый чемодан, лежавший там без дела несколько лет, со времен поездки в тараканью квартиру.

Когда дверь за ним закрылась, Ия рухнула на кровать и заснула. Утром на столе с клетчатой скатертью она нашла записку: «Живи пока у меня. Собаку корми. Я буду звонить. Бинт не снимай».

Прицопала Норма. Ия плюхнула ей в миску кашу и осела на табурете. Затем подняла с пола собачью миску и поставила ее на стол.

— Прыгай сюда, — показала она Норме на табурет напротив. — Теперь это твое место. Это стул — на нем сидят. Это стол — на нем едят.

Норма запрыгнула и оперлась передними лапами о столешницу.

— Вот видишь, у тебя уже получается!

Норма кивала головой, торопливо подбирая последние крошки со дна миски и, казалось, соглашалась с новой нормой поведения. Эту собаку удивить было сложно.

Только за обедом Ия обнаружила отсутствие ножей. Остался один, совсем уж тупой.

Днем она ездила на работу. Поздно вечером выходила из дома, становилась возле метро на то место, где впервые увидела Папочку, и ждала. Еще с утра у нее было загадано, что он вернется, приедет с поздней электричкой, выйдет, а тут она ждет. Так должно быть, потому что больше у нее никого нет. Так должно быть, потому что только так все и будет. Только так.

К полуночи людской поток истончался, а потом и вовсе пересыхал, женщины в синих жилетах с колченогой буквой «М» протирали влажной тряпкой и закрывали стеклянные двери. Удостоверившись, что теперь Папочке точно не выйти из вестибюля метро, Ия шла домой, валилась в постель, и прежний ее день заканчивался, а новый начинался вздохом собаки, свернувшейся клубком в ногах и утыкавшей влажный, словно вечно простуженный нос в подушечку под большим пальцем левой ноги.

Когда становилось совсем нелегко, она звала в гости Муху, жившую, как и Понтий, неподалеку. Петроградка объединяла всех участников ее мирка и сама давно стала маленькой замкнутой галактикой.

Папочка теперь жил с загорелой девицей в другой галактике: то ли на севере, то ли на юге города, а по некоторым слухам — на Обводном канале. Но канал длинный, домов на нем много — двести тридцать один, изучила она на карте. Если ждать возле каждого хоть один день, больше полугода получится.

Муха приносила новости из «Карниза». Там, не без Мухиной же помощи, давно прознали о новом увлечении Папочки. Ия оказалась в положении вдовы при живом муже. Ей сочувствовали, говорили, что она долго продержалась, и даже юрист, забыв бывшие обиды, позвонила и сказала, что Папочка — мерзавец.

Все чаще приходила Муха, навещалась Понтий, училась есть за столом Норма.

— Ты ее знаешь? — спрашивала Ия Муху про загорелую девицу.

— Да, — пожимала та плечами. — Она дзюдоистка. Давно с твоим Папочкой знакома была, ну а тут встретились, и закрутилось. Ты же знаешь, как это бывает, девочка...

Ия вспоминала коронный трюк с чтением Цветаевой, кошачий взгляд и подрагивающие ноздри Папочки, как у коня, готового кинуться вскачь.

— Ненавижу дзюдо, — цедила она сквозь зубы.

— При чем тут дзюдо, — махала рукой Муха и курила прямо в комнате, чего раньше никогда бы себе не позволила.

Однажды Ия поддалась на уговоры Мухи и пошла с ней в «Карниз». Там она сидела гордо и неприступно, не удостоивая вниманием сновавших мимо пацанок. Но взрослую, загорелую, коротко стриженую спортивного фасона женщину ростом в метр девяносто она не заметить не могла.

Та тоже не смотрела ни на пацанок, ни на фам, и вообще ни на кого не смотрела, но, увидев Муху, дружески помахала ей рукой.

— Ма-а-а-фия! — сладко пропела Муха и кинулась обниматься.

— Почему Мафия? — улучив минутку, спросила Ия.

— У нее муж — бандит настоящий, в Выборге. Она в Питер раз в месяц приезжает, оторваться, погулять. Жена бандитская, значит, Мафия.

Ия и Мафия сидели за одним столом и старательно не смотрели друг на друга, но поскольку и по сторонам не смотрели, а смотреть-то куда-то надо, взгляды их волей-неволей скрестились.

Когда Мафия протянула сигарету, Ия уже знала, что перед ней сидит ее

новая любовница. Не блудная жена, как Папочка, а та, которую заводят для остроты чувств, чтобы быть в тонусе. Очевидно, Мафия поняла про Ию то же самое.

Муха с довольным видом хлопотала рядом, предвкушая магарыч за сводничество, и соображала, какой бы тост произнести: про любовь с первого взгляда или что-нибудь более фривольное, подходящее случаю.

Ночью они, с трудом спровадив Муху, оказались в одной постели в гостиничном номере, который снимала Мафия на выданные мужем для отдыха деньги.

Ия с удовольствием разглядывала и трогала ее большое, крепкое, накачанное тело и удивлялась, что же за муж у нее такой, разве что Кинг-Конг. Кожа у Мафии была гладкой, холеной — женской. Казалось, этой снятой с идеальной женщины кожей обтянули железный станок.

Ну а когда Мафия принялась за дело, то напонила Рогатого в женском обличье. От той ночи у Ии осталось ощущение полета на американских горках с песней из советского мультфильма «Карусель, карусель» в ушах.

На следующий день домой Мафия не уехала, как должна была. Ию это обескуражило, она привыкла поздним вечером ждать Папочку до закрытия метро и верила, что когда-нибудь дождется. В ее вчерашние планы входил лишь скоротечный роман в отместку, но никак не долгоиграющая любовная связь. К тому же, как она выяснила, Мафия и Папочка были хорошо знакомы по общему спортивному прошлому.

Но Мафию это не смутило. Отключив телефон, по которому названивал грозный выборгский муж кавказской национальности, она потащила Ию в кафе, где они просидели до полуночи.

Ия оглядывалась на большие окна и ежилась. Ей все казалось, что мимо домой идет Папочка, но три бутылки шампанского сделали свое «игристое» дело — они вновь поехали в гостиницу, где «карусель» повторилась, но показалась Ие более утомительной, чем в первый раз.

Весь следующий месяц Мафия уезжала и тут же возвращалась. Дарила Ие пряно пахнущие белые лилии и белые коробки конфет «Рафаэлло», встречала после работы.

Цветы Ия аккуратно укладывала в мусорный бак во дворе, чтобы Папочка, когда он неожиданно вернется, не обнаружил дома следов измены. На кокосовую стружку и миндальные орехи у нее вскоре началась аллергия.

В одну из ночей, которая более всего напонила ей урок физкультуры, она увернулась от Мафии, как когда-то вынырнула из-под Рогатого, и накрылась простыней. В эту ночь она поняла, что разница между женщинами и мужчинами может быть очень мала, практически равна нулю. И эта разница — в тебе самой, в твоём отношении.

С любовницей ей удалось расстаться по-дружески, без обид, и только Муха долго доедала конфеты «Рафаэлло», которые Мафия передавала Ие.

Иногда навещала Ию и Понтий. Они с Мухой недолюбливали друг друга и даже интуитивно не приходили одновременно. Наверное, потому что слишком много у них было общего. Даже к женщинам Понтий обращалась так же — девочка, но добавляла при этом — моя.

— Косточки Норме, а тебе супчик сварю. Что ты кушала, девочка моя?

— Лапшу растворимую. На работе.

— Ох, — хваталась за сердце Понтий. — Приходи ко мне, накормлю.

— Некогда.

Ей и правда было некогда. Когда в личной жизни дела идут все хуже и хуже, на работе они становятся все лучше и лучше.

Компания, в которой она трудилась, была молодой и динамичной. При этом крупной и словно резиновой. Ию повышали, передвигали из угла в угол, переводили из кабинета в кабинет. Народу в кабинетах становилось все меньше. Наконец, она оказалась в кабинете одна и тогда поняла, что некоторым образом она — начальник.

У нее даже стали копиться деньги, потому что не было времени их тратить. Утром она завтракала с Нормой, почти в совершенстве овладевшей правилами этикета. Выводила ее во двор и здоровалась с жившим в соседнем парадном известным актером. Тот был очень мил и любезно не замечал, что Норма избирательно присаживается именно возле его машины. Потом бежала через двор к метро и возвращалась уже вечером, когда во всех окнах горели огни.

Их коммуналка по-прежнему пустовала, и длинный ряд темных окон квартиры-расчески тянулся как выстроившиеся в ряд черные квадраты шахматной доски. Как будто партия закончена. Время собирать лады и ферзи и уходить.

Папочка вернулся так же неожиданно, как ушел. Однажды поздним вечером открылась дверь, и в нее просунулся знакомый чемоданишко. За ним раздалось преувеличенно громкое топанье в прихожей, словно говорившее: войти-то можно?

— Вот и я, девочки мои, — сказал Папочка.

Норма сорвалась с места и, как маленький снаряд, устремилась в прихожую. Она пыталась лизнуть его в лицо, но так отъелась на харчах Понтия, что едва доставала до колен.

Ия ликовала, но не повела и бровью. Она была оскорбленной стороной, а на левом запястье остались два тонких белых шрамика.

— Посмотрите, что я вам принес, — все извинялся Папочка, доставая из сумки какие-то свертки. — Вот, смотрите, как вкусненько.

— Нас тут Понтий хорошо подкармливала, — с достоинством ответила Ия.

— Простишь меня, а? Можно пройти? — виновато говорил Папочка.

— Так ты же у себя дома. Проходи, не стесняйся! — великодушно разрешила Ия.

Папочка принялся вынимать из чемодана вещи. Ия искоса следила за ним. Наконец она не выдержала:

— А где коричневый шерстяной свитер, который я тебе на прошлый Новый год дарила?

— Она его ножницами изрезала, когда я вещи собирала, — виновато ответил Папочка.

— Жаль, — не теряя достоинства, заключила Ия.

— Жаль, — как эхо повторил Папочка.

— Ну и хрен с ним, — сжалась Ия. — Скоро новый Новый год. Буду знать, что подарить.

— И хрен с ним, — обрадовался Папочка. — А где мы его отмечать будем, дома?

Утром он занял свое место за столом с клетчатой скатертью. Норма не отходила от Папочки. Все попытки Ии показать, чему она обучила собаку, провалились. Норма отказалась садиться на табурет и есть за столом.

Новый год они встречали дома. Понтий принесла им удивительный ананас с африканского континента. Он был огромен, а его вкус, как говорило ее руководство, должен был напоминать вкус кокоса.

Понтий уже два месяца работала поваром в одном из самых дорогих

ресторанов города и даже не *несла*. Это доставляло ей нравственные страдания и рушило основы бытия, но ради хорошей зарплаты можно было претерпеть все муки.

Однако новогодний банкет для шишек из городской администрации сделал свое подлое дело. Против ананасов и черной икры она не устояла.

Принесенный ананас торжественно разрезали, понюхали, пытаясь обнаружить кокосовость гиганта, и поставили в центре стола. Его хотели съесть во время проводов старого года, но год был, откровенно сказать, плохим и заморского ананаса не заслуживал.

Потом было горячее, секвестированное с того же банкета. После они вышли во двор послушать канонаду и полюбоваться сиянием вылетающих с каждого двора фейерверков. Когда вернулись домой, в комнате их встретила рычащая Норма.

Она сидела в странной позе перед телевизором. Скорее даже полулежала на спине, выкатив неестественно раздутое брюхо. Казалось, это резиновая надувная собака, которую перекачали воздухом, или грелка с собачьей головой, которую до отказа заполнили водой так, что она сейчас лопнет.

На столе сиротливо лежали бутерброды с черной икрой, розовело вздернутое рыльце запеченного поросенка. Этой горизонтальной смольнинской гастронической перспективе отчетливо не хватало доминанты, которая торжествующе возвысилась бы над прочим изобилием.

— Ананас! — в один голос возопили Ия и Папочка.

Собака воззрилась на них осоловевшими глазами и обреченно икнула.

— Ворюга! — погрозил ей кулаком Папочка. — Ты сожрала сворованный ананас, который купили на наши налоги!

Норма приподняла голову и тут же опустила — кивнула, словно просила прощения за слуг народа, Понтю и за самое себя как главное звено греховой цепочки жадности и чревоугодия.

— Хорошо, что коньяк не выпила. Помнишь, она вылакала все из твоей рюмки.

Норма снова зарычала, а Папочка театральным жестом поднял со стола лежащий на боку пустой бокал шампанского.

Через несколько дней Понтю уволили из ресторана. Оказалось, что диковинные ананасы со вкусом кокоса поступили в город в количестве трех штук по линии сотрудничества с министерством сельского хозяйства одной из южных стран. Этот экспериментальный сорт вывели совсем недавно, он уже получил несколько премий на международных выставках, а потому ввиду малого распространения стоил баснословно дорого.

Ананасы должны были венчать столики руководителя профильного комитета и двух его замов. В поисках пропавшего гиганта руководство ресторана перевернуло все вверх дном.

Черную икру Понтю бы еще простили...

Начался новый год. Воздушный замок дал трещину, но устоял. Дзюдоистка вспоминалась как шутка в связи с мощной шеей и испорченным свитером.

* * *

Ссоры со временем вернулись, но Папочка и Ия стали совсем *ужродными*. Казалось, что ссоришься со своей рукой или ногой. Можно, конечно, обидеться на ногу, которая ноет к смене погоды, но ведь без нее во сто крат хуже.

Впрочем, бывали и эксцессы, которые зависели от суммы каких-то

внутренних Папочкиных амплитуд, неприятностей на работе, размолвок с Ией и общего недовольства жизнью. В нем словно сидела заноза, которая время от времени начинала гноиться и, если не спиртовать ранку, не заливать ее, не *запивать*, начнется абсцесс.

— Я не могу дать тебе семью, детей, будущее. И еще мне постоянно снится мать. Стоит в дверях и смотрит на меня.

Ия гладила Папочку по голове и отводила глаза. Она ненавидела фразу «не знаю, что и сказать», потому что всегда можно найти слова для человека, который в них нуждается. Но сказать ей было нечего.

Почти у каждого человека есть корневая система: мать, отец, бабушки, дедушки, братья, сестры... Если нет кого-то из основных ответвлений этого корня, хоть в усеченном виде, но он продолжает существовать. Иногда роль и функцию отсутствующего члена семьи берут на себя оставшиеся. Семьи могут быть разными по составу, но все-таки они — семьи.

Еще есть дяди и тети — родные, двоюродные, троюродные, которых вы, может, никогда и не видели. Но они где-то есть: улыбаются с черно-белых фото, шлют открытки раз в год из города, который с трудом можно найти на карте. Вы приглашаете друг друга в гости и знаете, что никогда не поедете, потому что не найдете, о чем говорить при встрече. Но они *есть*.

У Папочки не было корневой системы. А может и была где-то, хоть один маленький корешок, но он об этом не знал.

На фотокарточках, хранившихся в шкафу рядом с грамотами за давние спортивные достижения, Ия видела только двух женщин. Бабушку и мать. Об отце Папочка никогда не слышал, как и о возможной другой родне.

Говорил, что бабушка похожа на Вассу Железнову. Она рано умерла, не оставив в его памяти воспоминаний, а образ властной, сильной женщины, скорее всего, был взят из тех же фотокарточек.

Мать была полной противоположностью Вассе. Куколка Барби из шестидесятых годов. Складная фигурка, светлые волосы, уложенные в модную тогда прическу «бабетта», большие карие глаза. Она была красива и похожа на Бриджит Бардо, только вместо гордости и достоинства в глазах стояло униженное извинение.

— Мама Зина была женщиной, которая ищет любовь, — говорил про нее Папочка.

Заморские Бригиты ищут свою любовь на Лазурном берегу, среди пальм, белых яхт и красных ковровых дорожек. И находят — белозубую, галантную, романтическую. Мама Зина жила на правом Невском берегу, но тоже искала любовь среди пальм и красных ковровых дорожек. Только вместо белых яхт — белые скатерти.

Она работала официанткой в ресторане. Любовь находила транзитную, командировочную, бурную, но скоротечную, всегда как будто из-под полы.

Когда появилась дочка, мама Зина перебралась на островную Петроградку в двенадцатиметровую комнатку в коммуналке на Большой Пушкинской. Она выписала из деревни Вассу и продолжила поиски любви, которые еще казались ей временными. Когда ей стукнуло сорок, стало понятно, что поиски эти — единственное постоянство в ее жизни. Мама Зина запила.

Васса вскоре умерла. Единственной ее мечтой было вернуться на родину, в деревню под Псков. В городе она так и не прижилась и мирилась с каменными громадами домов ради внучки. Вернуться она не успела. Похоронили ее тоже в городе. На каком кладбище, Папочка не знал. Мама Зина туда не ходила.

Вместо Вассы появилась нянька. Мама Зина платила ей своими чаевыми и называла «гувернеркой». Нянька была доброй, заплетала по утрам косички и отводила в школу.

Косички Папочка запомнил на всю жизнь. Наверное, они были самым светлым воспоминанием о детстве.

Как-то Ия с Папочкой сидели в парке на скамье. Норма бегала рядом. К ним подседа женщина с дочкой. Пока девочка ковыряла лопаткой газон и играла с собакой, женщина приглядывалась к ним, а потом, разговорившись, обронила:

— Я своей дочке всегда платишки одеваю, косички заплетаю... Знаете, чтобы как бы чего не вышло.

— Мне тоже косички в детстве заплетали, — с гордостью сообщил Папочка. — Но, знаете, ничего не вышло.

— Не помогло, — поддакнула Ия, а сама подумала, что своей дочке тоже заплетала бы, и наряжала. Она бы не хотела, чтобы ее ребенок был исключением, хотя сама всегда стремилась этим исключением быть.

Период косичек продлился в Папочкиной жизни недолго. Мама Зина пила все сильнее, денег на «гувернерку» стало не хватать. Она утратила красоту Бриджит Бардо и стала походить на Вассу, но только внешне, твердости характера, конечно, не обрела. Это отсутствие стержня и было главной бедой мамы Зины. Не имея вектора внутри и потеряв обертку снаружи, она обрушилась разом, без сопротивления.

Пьяная мать по несколько дней не появлялась дома, а приходя, устраивала дебоши. Папочка распрощался с косичками и по полгода жил в спортивном интернате.

— У нее есть данные, — говорили тренеры по плаванию. Бассейн, сборы, соревнования стали единственным смыслом жизни.

Маму Зину хотели лишить родительских прав, а Папочку собиралась удочерить бездетная семья тренеров, но что-то не сложилось. Зина на время взялась за ум, но как только дочь ей оставили, опять принялась за старое.

Пришла пора превращаться из угловатого подростка в высокую спортивную девушку. Папочка превратился, но как-то наполовину. Девичья плавность, округлость движений не пришла. Она всегда была «своим парнем» и при этом «прикольной девчонкой».

В летнем пионерском лагере она подружилась с мальчиком-старшеклассником. Он тоже был высоким, спортивным, а еще очень вежливым. Они ходили, взявшись за руки, и разговаривали о спорте. Она боялась, что он будет спрашивать про ее семью, потому что, повзрослев, стала стесняться матери. Он не спрашивал и про свою семью ничего не говорил. Казалось, тоже избегает. Наверное, и у него не все гладко, решила она.

На прощание он признался ей в любви и в том, что его отец — известный всей стране актер и певец. Она хотела было оставить ему адрес спортивного интерната, но спохватилась и дала адрес матери.

Полгода, с сентября по март, на Большую Пушкарскую приходили письма из Москвы. Мама Зина гордилась и кричала в раскрытое окно на весь двор-колодец:

— Моей-то, сын того самого пишет! Скоро мы рванем в Москву, а вы сгниете здесь, сссуки!

Соседские окна захлопывались, а мама Зина хохотала и приплясывала. Она знала, что больна раком и медленно исходит, а потому пила уже без стеснения, без оглядки. Так же остервенело и упрямо, как искала любовь.

В любовь она больше не верила и ненавидела даже это слово как самый большой в жизни обман, но в редкие минуты просветления надеялась, что хоть дочери ее повезет. Ведь где-то же должна быть любовь и везение. Им бы чуточку, хоть с наперсток — они искупаются в нем как в море, на котором ни разу не были.

Весной «писарчук», как про себя прозвала его мама Зина — уже любя, уже почти считая своим зятем, — собрался приехать в город на Неве.

О госте знал весь двор и, конечно, не верил. Сгорая от стыда, ехал домой из спортивного интерната Папочка, обряженный во взятое напрокат у соседки по комнате голубое платье с воланами по подолу, прикрывающими острые коленки. Он... нет, тогда еще *она*... была напугана и несчастна.

Проклятое платье только усиливало страдания. Привыкшее к брюкам и казенным спортивным костюмам тело вело себя как неродное. Легкое изящное платье сковывало его как скафандр. Больше всего хотелось сбросить эту казавшуюся робой паутинку и очутиться на дорожке в бассейне, на своей территории, где никто не будет оглядываться, разглядывать, подмигивать и кивать.

Она шагала по тогда еще Кировскому проспекту на Большую Пушкарскую как астронавт в безвоздушном пространстве по поверхности Луны: медленно и плавно, высоко поднимая ноги в соседкиных туфлях на маленьком каблукке, не зная, куда девать длинные руки.

Встречные мужчины смотрели заинтересованно и кивали с одобрением, но их взгляды ей, не привыкшей к мужскому вниманию, казались брошенными с близкого расстояния кинжалами. Она готовилась к самому страшному — завернуть в свою арку, зайти в свой двор, который ощерится на нее десятками глаз.

Московский гость не опоздал и даже великодушно не обратил внимания на высунувшиеся в окна головы. Полярные суждения «Похож» — «Не похож» неслись со всех сторон через узкий двор и, как целлулоидный мячик в пинг-понге, отскакивали от стен. Сходство со знаменитым родителем было неочевидно, но то, что в их двор залетела птица важная, столичная, ясно с первого взгляда.

Мама Зина не пила три дня, гордилась собой и даже напекла пирогов, выложив их замысловатой горкой на блюде посреди стола, как когда-то в ресторане.

Гость вошел в квартиру и пошел по длинному коммунальному коридору с лыжами, тазами и детскими ванночками на стенах, стараясь не удивляться и сохранять вежливое выражение на лице. Он был хорошо воспитанным родителями мальчиком, просто никогда не видел таких огромных коммуналок. Когда растворилась нужная ему дверь, он не удержался и воскликнул стоящей на пороге девушке в голубом платье:

— Как же бедно вы живете!

Он даже не сразу узнал в ней свою подругу, ведь тоже привык видеть ее в спортивных костюмах. И уж, конечно, не хотел никого обидеть. Он просто открыл для себя новый мир и поделился своим знанием, как если бы долго шел среди бескрайних белых льдов и внезапно увидел землю Санникова.

Потом он сказал много хороших слов, ведь он был воспитанным мальчиком, подарил маме Зине коробку конфет и пригласил девушку в голубом платье в кафе-мороженое. Они шли, взявшись за руки, о чем-то говорили, но это уже не имело никакого значения.

Она знала, что живет бедно, но впервые ей сказали об этом в лоб, без обиняков, как само собой разумеющееся. Она водила ложкой по розетке с

мороженым и мечтала только об одном: скорее вернуться в интернат, снять каблуки и ненавистное платье, вбежать в спортзал, пройтись по нему на руках, а потом с головой окунуться в пахнущую хлоркой воду, которая нужна ей больше, чем воздух.

Было еще несколько писем, на которые она не ответила. А может, он не ответил. Или не было вовсе этих писем.

Ия скептически относилась к истории про неудавшуюся Золушку, считая ее еще одной байкой Петроградской стороны. Папочка с Понтием рассказывали ей много баек.

Много позже, листая журнал с программой телепередач, она наткнулась на фотографию сына певца и актера. Он снял фильм о давно умершем отце и теперь давал интервью. На вопрос о первой любви ответил, что случилась она еще в школьные годы. Жила его любовь в Петербурге и он до сих пор помнит название улицы: Большая Пушкарская.

Ия побежала показывать журнал Папочке: смотри-ка, а ведь и правда! Но откровения и фото в журнале не вызвали у него никаких эмоций.

— Раскабанел, — сказал Папочка, мельком бросив взгляд на страницу с фото.

В один из дней «каникул», вернувшись с соревнований на побывку домой, Папочка встретил Понтия. Та нашептала на ухо, что заработать можно так и этак. Можно было «варить» джинсы и продавать втридорога, можно было играть по крупному и продавать наркоту. Так в Папочкиной жизни на время появились деньги, и навсегда исчез спорт.

Мама Зина умерла зимой. Ей повезло. Наверное, единственный раз в жизни. В городе появился первый хоспис. Как тяжелобольную, ее положили туда одной из первых, и до последних минут заботились так, как сама она никогда ни о ком не заботилась.

В эти дни она обнимала дочь и путано говорила ей, что поняла: любовь к мужчине — лишь малая толика большой Любви к жизни. Можно быть счастливой и без мужчин, и без водки. А вот без жизни никак нельзя быть счастливой. Возможно, она просто бредила.

Хоронить ее оказалось не на что. Все, что было заработано с Понтием, ушло так же, как и пришло. Соседи собрали нужную сумму, устроили поминки и помогли с кремацией.

После смерти матери жизнь завертелась, понеслась, но куда-то не в ту сторону. Впрочем, где правильная сторона, Папочка не знал. Он понесся по жизни как перекасти-поле. Но носило его не на большие расстояния, а туда-сюда. Болтало, скорее, а не носило. Всплывали в этой болтанке разные люди и события, но Бог всегда миловал: в районный суд Папочка больше не залетал.

Так же, как и мама Зина, он все искал любовь. Умел влюбляться, и делал это красиво, но не умел любить. И если Зине, пожалуй, просто не везло с мужчинами, то в ее дочери глубоко сидела заноза недополученной в детстве любви. Если ребенком не научишься кататься на велосипеде, то, став взрослым, легко можно упасть с мотоцикла, не имея навыка держать равновесие.

Как и маме Зине, любовь не приносила ничего хорошего и давала успокоение лишь на время. Будто в огромной печи крематория сгорали мимолетные увлечения, не успев и потянуть на любовь, а створки все открывались и открывались. Он не мог выносить любовь, как не могут выносить ребенка. Он бросал свои чувства на полдороге, *недолюбливал*, потому что и сам был недолюблен.

С Ией было не так. Они совпали как пазлы и, повторяя изгибы-изъяны

друг друга, образовали одно целое. Казалось, Папочкина детская ранка зажила, затянулась и больше не кровоточит. Так оно и было, но под ней, затянувшейся, осталась давняя полость с перегнившими остатками бывших обид — гумусом для всходов обид будущих. Полость надо было вскрывать, но никто об этом не знал.

* * *

С работы Ия приходила по-прежнему поздно. Иногда, еще открывая входную дверь, она слышала несущийся с кухни гомон. Вся компания в сборе: Папочка, Понтий, а теперь еще и Люсьен — вернувшийся в пустовавшую коммуналку жилец дальней комнаты.

Почему его зовут Люсьен, и является ли это игривое имя настоящим, они не знали. Люсьен был моряком дальнего плавания, девять месяцев проводил в море, три — на суше, у женщин, с которыми знакомился, как только сходил с судна, в ближайшем к порту питейном заведении.

Но в последнюю побывку Люсьен не попал в питейное заведение. Он был простужен, а его корабельного товарища, с которым они всегда обмывали первые шаги по суше, на этот раз встречала жена. Эти два обстоятельства привели к тому, что Люсьен позволил усадить себя на заднее сиденье машины и довезти до дома.

Поначалу он даже не знал, какой адрес ему называть, так неожиданно сломалась его жизненная программа. Обычно это каждый раз был новый адрес новой дамы, по которому он пребывал до самого отъезда. Но тут припомнилось, что родной его дом, как у заправского морского волка, находится на самом настоящем острове — Петроградке. Эту комнату ему оставила в наследство бабка, умершая в дурдоме, но, по счастью, успевшая вспомнить, что у нее есть не виденный десять лет внук.

Он отбросил сомнения, высадился у памятника «Стережущему» на Каменноостровском, перебежал трамвайные рельсы на Кронверкском. Зачем-то обошел по кругу постамент с памятником Горькому и даже немного постоял возле, задрал голову и сочувственно дивясь, как же буревестника революции обделали птицы.

Затем купил в магазине возле арки ящик пива для знакомства с соседями и предстал перед Ией и Папочкой.

— Люсьен! Покоритель морей и прочих водных просторов. Благодарю, что открыли. Ключей у меня нет. Вы мне сделаете, а?

— Будешь хорошо себя вести, сделаем, — отозвался Папочка и смерил покорителя взглядом с головы до ног.

— Я — тихий, — признался Люсьен. — Главное, чтобы евреев у вас не было. Очень уж я их не люблю.

— Нет, — обнадежила Ия, для верности еще раз оглядев Папочку и Норму, она впервые сталкивалась с такой странной фобией. — Кроме нас тут вообще никого нет.

Люсьен тоже придирчиво оглядел их, как будто мысленно примерил на троих кипы, удовлетворенно кивнул и впахнул одной ногой в прихожую ящик пива:

— Принимайте!

Он и впрямь оказался тихим. Совершенно негромким алкоголиком.

Алкоголизм Люсьена был пивным. Хотя официальной наукой он не признан, но широко встречается в той массе населения, которой на науку плевать.

С утра Люсьен затаривался пластиковыми баллонами с пенным напитком на целый день. Однако к обеду они неожиданно заканчивались, вынуждая его отправляться в новый рейд до магазина, иногда не последний.

За три месяца на суше он накачивал себя пивом на девять месяцев вперед. Ни одно судно не смогло бы принять на свой борт столько пивных баллонов, сколько способен был выпить Люсьен за время плавания, а потому в море он не пил.

В своей комнате Люсьен обжился, неожиданно для себя самого, и даже не пытался найти даму, так хорошо оказалось дома. Он всегда бросал якорь один раз.

В эту побывку якорь упал на Петроградке, и забрасывать его снова Люсьен не собирался, хотя Папочка с Ией не оставляли надежды на то, что, повинувшись мощному мужскому инстинкту, он все же уйдет на поиски наяды и сменит место дислокации.

Впрочем, Люсьен вписался в квартиру-расческу так, словно всегда тут жил, и быстро стал своим. Они привыкли делить даже ванну и кухню. Точнее, ванну на кухне.

— Это Люсьен! — стучался он в закрытую дверь, когда Ия стояла в ванне за задернутой шторкой. — Мне картошку поджарить! Ты мойся, я смотреть не буду.

— Долго ты там копошиться будешь? — стучала в ту же дверь Ия утром. — Открывай, я позавтракать не успею! Ты мойся, я смотреть не буду.

Потом они и вовсе перестали закрывать дверь на крюк: прыгать из ванны в мыле неудобно. Надо — заходи, только не мешай соседям мыться. Пока Люсьен шуровал в своем холодильнике, укладывая в ряд стратегический запас пивных бутылей, Ия скидывала платье и шмыгала за занавеску, окутывающую ванну.

— Уже там? — кричал Люсьен, не поворачивая головы. — Сейчас выйду!

— Да ладно, форточку только не открывай! — кричала Ия.

Пару раз она краем глаза невольно скользнула по торсу и крепкой мужской пятой точке и подумала, что имя Люсьен такой фактуре не идет. Это был высокий мужчина с гривой седеющих кудряшек, которому очень пошла бы — Ия не раз ловила себя на этой крамольной мысли — маленькая круглая шапочка-кипа. Впрочем, она видела в нем не мужчину, а почти мифологическое существо — Одиссея, приставшего к их берегам по пути за золотым руном.

Иногда к Люсьену приходили гости — такие же моряки, маявшие на побывке так, словно не отгуливали положенный отпуск, а мотали срок. Казалось, никто из них не знал, какое применение найти себе на суше. Оставалось пить.

Длинный коридор квартиры-расчески превращался в палубу корабля, по которой, раскачиваясь, ходили матросы, а их тени в тусклом свете висящей под самым потолком лампы скользили по стенам как призраки команды «Летучего голландца».

Матросы-призраки быстро побратались с Папочкой и галантно не замечали, что *он* — женщина. Ну, то есть, конечно, *она*, но не будем рушить принятые правила игры, тем паче, что даже матросы их не нарушали.

Поначалу Ия ловила на себе заинтересованные взгляды, но поскольку и они для нее были не мужчинами, а расклонированными Одиссеями, скоро она перестала их замечать.

Это *незамечание* — было главным в ее отношении к мужчинам. Она не боялась их, не думала плохо, просто они словно не существовали для нее в мужской ипостаси. Рядом ходили люди противоположного пола, и этот пол был стерилен. Настолько стерилен, что она и спала, по давней своей привычке,

совершенно нагая, не закрывая дверь комнаты на ключ, даже если ночевала одна, а в квартире были гости.

Как-то утром она открыла глаза и увидела одного из Одиссеев. Сидя на краю кровати, он упер свой взгляд куда-то ниже ее подбородка. Ложбинке между грудей было мокро.

Ия последовала за его взглядом и обнаружила на своей груди гроздь черного винограда. Стекающие с нее капли воды струились двумя ручейками на скрытый одеялом живот.

Она зажмурилась, не спеша потянулась и сняла с груди виноградную гроздь. Села на кровати, не прикрывая груди, и тоже уставилась на незваного гостя. Точно так же она смотрела бы на гиббона, неожиданно оказавшегося у ее ног, или дельфина, или попугая-ара... С любопытством, начисто лишенным догадок о сексуальной составляющей этой встречи. Но это был не гиббон, не дельфин и не тропический попугай, удивление сменилось равнодушием. В конце концов, незнакомец, наверное, просто решил угостить ее виноградом, пока все не слопали. Тогда его стоило поблагодарить.

Ия оторвала крупную виноградину, покатила ее на языке, пососала, вытянув губы трубочкой, и сказала:

— Спасибо.

— Ммм, — потянулся к ней Одиссей и, не удержав равновесия, ткнулся носом в ее живот.

Только тут она поняла, что Одиссей был мертвецки пьян. Он мычал, стаскивал одеяло с живота и не замечал, что она пинает его коленями, отталкивая от себя.

— Ну давай же... Хочешь, я буду как она... — бормотал он, обдавая перегаром и оставляя белые следы от пальцев на бедрах. — Ты же настоящего мужика не знаешь. Я покажу... Тебе понравится, девочка.

Намерения его стали очевидны, пол обозначился, проступив сквозь застилавшую глаза пелену стерильности. Ия вздохнула, примерилась и, когда он шарил языком по ее лобку, пытаясь спуститься ниже, ткнула коленом в кадык.

Одиссей с хрипом завалился на бок, а она выскользнула из-под него, встала с кровати и, продолжая оставаться голой, не спеша принялась рыться в шкафу, выискивая, что одеть.

Мимолетный испуг сменился равнодушием. Как только Одиссей обмяк, она поняла, что может справиться с ним, пьяным уж точно. А то, с чем ты можешь справиться, менее важно, чем выбор платья на день.

Но Одиссей все же ненадолго вернул ее в мир мужчин, хоть и не смог осуществить задуманное и теперь раскатисто храпел, уткнувшись носом в подушку, на которой возлежала Норма, не обратившая на возню ни малейшего внимания. Возней в постели эту собаку было не удивить.

Ия подняла упавший на пол виноград и отошла к окну. Она не спеша отрывала виноградины, перед тем как проглотить катала их на языке и задумчиво смотрела в стену дома напротив. За окном медленно падал снег, до Нового года оставалось несколько дней.

Слова о настоящем мужике вернули ей то, что было давным-давно, в другой жизни и, может быть, даже на другой планете. На первом еще курсе была у нее подруга. Кажется, Ира ее звали или Катя. Впрочем, может, Света. Подруга так любила мужчин, что не могла не коллекционировать их. Ия не хотела отставать, а еще больше хотела доказать себе, что тоже любит, а значит *нормальная*.

— Надо записывать их в тетрадку, столбиком, — говорила не то Ира, не то Света. — Потом мы станем старыми и выйдем замуж, будет, что вспомнить.

Время было веселое, разбитное, список все удлинялся, тянулся вниз. Если имена были длинными, их следовало сокращать, чтобы не портить стройный ряд вытянувшихся по вертикали букв.

Как-то раз Ия подглядела в подружкином блокноте: ничего себе, уже семьдесят! А у нее только сорок. Наверное, та мухлюет, а может, добавляет невинный оральный секс. Подлежит ли он учету, спросить было неудобно. Ия была за чистоту эксперимента, постановила считать два минета за один половой акт и тут же, покопавшись в памяти, накинула в свой столбец еще двадцаточку. Счет почти сравнялся.

То, что происходило с ее телом, странным образом не касалось души. Она допускала до него короткие имена из списка, но не допускала до себя. Тело как бы существовало отдельно. Ее подружка все же пыталась найти любовь, выбрав экстенсивный метод поисков. Ия, несмотря на растущий список, пыталась интенсивно достучаться до себя, но как раз это и не удавалось.

Подружка искренне верила, что очередная строчка станет последней и превратится в любовь. Ия множила их как шелуху от семечек, не приглядываясь к каждой отдельно взятой, и думала, что однажды сметет их со стола одним ловким движением руки, когда накопится горка. Ведь все это происходит как бы не по-настоящему, не с ней настоящей.

Потом подружка и впрямь встретила свою любовь. Ия же, устав от перебирания шелухи, опустилась на дно «Карниза». Их пути разошлись.

С недавних пор она все чаще ловила себя на том, что приглядывается к пузатым женщинам, любит их утиной походкой, а на работе надолго замирает над статьями про беременность. Она стыдилась самой себя, встряхивала головой и быстрее щелкала клавишами, зовя на экран монитора деловые новости. Но снова и снова возвращалась мыслями к возникшему в голове проекту под названием «Ребенок».

Несомненно, ей нужен ребенок. Да и куда дальше тянуть.

Проект был озвучен Папочке, подсчитано, что ребенка они должны потянуть материально, дело стало за малым. Ну, или за большим. Мужским достоинством, в общем. Кроме того, проекту под названием «Ребенок» неплохо было бы знать своего отца. Значит, помимо дарованного ему природой достоинства, гипотетический папаша должен был обладать набором достоинств общечеловеческих. Хотя бы минимальным, что уж взять с мужчины.

— Хоть бы была девочка, — мечтала Ия. — Мальчика тоже, конечно, можно, но, мне кажется, любить я его буду меньше. Ничего, мальчика в военное училище можно отдать, как подрастет.

Сослуживцы и неожиданно появившийся в квартире Люсьен в расчет не брались. Большое, как известно, видится на расстоянии. Или мнится.

Казалось, что кандидат для воплощения в жизнь проекта «Ребенок» водится в других водах. Знать бы, в каких. Они даже встречались с состоятельной парочкой геев, которая тоже была не против «завести» ребенка. Встреча оставила у нее недоумение: они представили свои тезисы, выпили три бутылки вина и разошлись, вполне довольные друг другом и совпадением взглядов на жизнь. Однако, что делать дальше, так и не поняли.

Ия доела виноград и достала из шкафа черное платье с вышитыми по краю рукавов маленькими красными маками. Зимой ей всегда хотелось быть летней. Кинула платье на кровать и присела рядом с храпящим Одиссеем. Он лежал на

боку и со свистом выталкивал из себя воздух, как будто внутри у него работал целый моторный отсек.

Она перевернула его на спину и вгляделась в лицо. Пожалуй, Одиссей был даже красив. Той скупой красотой, которая отличает мужчину от обезьяны. Массивный упрямый подбородок с черными пеньками щетины, смещенный вправо, перебитый нос, и россыпь коротких, глубоких морщин по краям глаз, как у человека, часто щурящегося на солнце. И еще — это был самец. В отличие от изнеженных, вежливых мужчин с тонкими запястьями.

С таким не о чем говорить, но не для говорильни он и создан. Вряд ли он оценит богатство твоего внутреннего мира и разделит душевные терзания, которых сам лишен начисто. Такие самцы созданы для того, чтобы плавать и воевать, жать и ковать, и штамповать, штамповать, штамповать проекты под названием «Ребенок». Ну, по крайней мере, пытаться — вздохнула Ия, глядя на бессильно обмякшее тело.

Она сидела, подперев щеки руками и забыв, что опаздывает на работу, и все смотрела на развалившегося поперек их кровати Одиссея. Пыталась вписать вектор «Самец» в плоскость своей жизни. Но математик из нее был плохой. Вектор этот никак не укладывался, становился на дыбы так, словно и плоскость, и он сам были не воображаемыми величинами, а самыми что ни на есть настоящими. Как будто хотела она вогнать деревянную сваю в бетонную стену.

«Не может быть отцом вот такой, случайный», — поняла Ия.

«Не могу, не могу, не могу», — повторяла она про себя, натягивая платье и расправляя рукава с красными маками.

«Что делать?» — снова присела она на край кровати и уперлась взглядом в храпящего Одиссея. Вопрос она задавала себе, а ответа как будто ждала от него, горе-насильника.

Распахнулась дверь и в комнату вошел Папочка.

— Что он тут делает? — уставился он на Одиссея, к счастью, не успевшего стянуть одежду.

— Совсем обнаглели, — пожаловалась Ия. — Прихожу с кухни, а тут этот валяется. Дверь, наверное, перепутал. Не могу добудиться, не волоком же тащить.

— Люсьен! — заорал Папочка в коридор. — Забирай этого мудака! Еще раз устроишь тут бордель, участкового вызовем!

Прибежал Люсьен и попытался стащить Одиссея с кровати. Тот почмокал губами, перевернулся на другой бок и, кротко сложив руки под щекой, выдал трель в другой тональности.

— Вот сучара, — не выдержал Папочка. — Раз-два, взяли!

Люсьен подхватил спящего под мышки, Папочка взялся за ноги. На прощанье Одиссей махнул Ие ногой в протертом на пятке полосатом носке.

Ия провожала их долгим, отсутствующим взглядом и чувствовала: что-то обрушилось. Треснул фундамент, покосилась бетонная стена, возведенная вокруг ее жизни. Может быть, выпала воображаемая свая, лежавшая в основании воздушного замка, придуманного мирка. Может, она сама ее туда положила и забыла, а вот теперь вытащила.

Отсутствовала она и в метро, и на работе, и даже когда у нее завис компьютер, а начальник срочно требовал завершить отчет о достижениях отдела, она не вынырнула из своего отсутствия, только набрала по внутреннему номеру компьютерный отдел.

— Срочно, — произнесла она одно слово и повесила трубку.

Этого было достаточно: высветившийся номер укажет, в какой кабинет идти, а слово «срочно» придаст должное ускорение. Ее немного побаивались, а может и недолюбливали, но она не давала себе труда думать об этом. Конечно, она не доросла до бизнес-вумен, но коллеги ее были совсем молоды, и в свои двадцать шесть лет для многих она была как бабушка.

Это было время, когда нефть только начала дорожать, трудовые единицы стали стремительно размножаться в мутных водах Офисного океана и еще не знали, что в недалеком будущем будут унижены званием «офисного планктона». Каждому тогда казалось, что он — будущая акула.

Компания, в одном из кабинетов которой сидела Ия, не была исключением. Да и сама Ия исключением тоже не была. Исключений ей хватало и дома.

Она много работала, к ней прислушивалось начальство. Привычка таиться, недоговаривать, не афишировать сыграла на руку. Ия умела лавировать и мягко нападать, отстаивая интересы своего отдела, соглашаться и уходить от ответа, балансировать на грани «да» и «нет», быть лояльной, когда хочется плюнуть в лицо и хлопнуть дверью. Как хамелеон, она могла окраситься в нужный цвет и, если потребуется, в интересах дела даже покрыться пупырышками. Она была комильфо, ее повышали и ставили в пример.

Отношения с мужчинами на работе были ровными, приятельскими. Бывало, кто-то из них начинал ее раздражать. Тогда она мягко, но настойчиво брала источник раздражения на крючок и плавно, не спеша вела к увольнению. Разумеется, если выполняемые им функции были в ее компетенции.

Так что слово «срочно» можно было не говорить, достаточно просто, например, хмыкнуть в трубку. Она оттолкнулась ногами от пола и откатилась в сторону от компьютера. Лучше было бы написать заявку на новый, но сейчас ей было не до работы.

Компьютерщик не шел, она достала из сумки бутерброд и потянулась за кружкой с остывшим кофе. Перекус на рабочем месте не приветствовался, но она была одна, и по утрам Папочка настойчиво клал ей в сумку бутерброды.

Наконец появился компьютерщик, похожий на щенка сенбернара: очень большой и неуклюжий.

— Были дела поважнее? — поинтересовалась Ия. — Арнольд Александрович ждет отчет, а вы не можете обеспечить нормальную работу техники!

— Я первый день работаю, еще не выучил, кто где сидит, — ответил он дружелюбно из-под стола, под которым с трудом разместился. — Скоро всех запомню. Меня за вашим отделом закрепить хотят.

«Ну, это мы еще посмотрим», — подумала Ия, жуя бутерброд и запивая холодным кофе. Кажется, у нее появилась новая жертва, страдающая нерасторопностью. Гигантский патлатый увалень.

Рабочий день брал свое. Она потихоньку выныривала из мыслей для того, чтобы с головой окунуться в офисные дела, которые часто для того и существуют, чтобы заменить то, что для нас важно.

— Кого вы мне прислали? На помойке вы компьютерщиков, что ли, находите? — бросила она пробный шар в кадровичку на общем собрании после обеда.

Такой ход был дозволен, они находились в одном весе, а проявить принципиальность в кадровом вопросе никогда не лишне.

— Хороший парень! — парировала та. — Вежливый, старательный. Он один у мамы, на двух работах пашет. По ночам в компьютерном клубе смены берет.

— Оно и видно, — фыркнула Ия. — Зато по утрам еле шевелится. Вы же понимаете, что это ненормально? Он так долго не протянет.

— Не выдержит встречного ветра в лицо, как говорит Арнольд Александрович, — хихикнула начальница отдела рекламы, та еще стерва.

Ия заговорщицки поддела союзницу ногой под столом. Ее отдел маркетинга работал в одной связке с отделом рекламистки, которая нравилась Ие именно своей стервозностью, хотя с ней надо было держать ухо востро, что в офисных реалиях значит — дружить.

Почувствовав себя в меньшинстве, кадровичка подняла белый флаг:

— Девочки, не трогайте его хоть на испытательном сроке. Месяц посмотрим, а там решим, подходит он нам или нет.

— Да я что, я — ничего, — сделала невинные глазки Ия, принимая капитуляцию соперницы. — По мне так пусть работает. Только донесите до него в доступной для восприятия форме, что в нашей фирме реагировать на возникающие проблемы принято быстро, вне зависимости от того, чем ты занимаешься ночью.

Дальше день пошел как обычно, и задержалась она на работе тоже как обычно. Придя домой, она услышала шум на кухне — как обычно. Папочка отработал сутки, выпался днем и теперь о чем-то оживленно спорил с Люсьеном и Понтием.

Одиссеев в квартире не наблюдалось. Ия передернула плечами и двинулась на кухню. Компания, Папочка и даже их темная квартира-расческа превратились в одно целое. Она не знала, как вытащить его и себя из этих дебрей.

— Я устала, — коротко сказала она, присаживаясь на пододвинутый Люсьеном стул.

— Устала она, — пьяно протянул Папочка и вскинул голову. Его взгляд, затянутый мутной пеленой, говорил о том, что пьют они, пожалуй, с обеда.

— Жареной картошечки, — подсутилась Понтий. — Кушай, девочка моя, раз устала.

Норма терлась у ее ног. В ванне «заквакали» лягушки. Как в первое утро здесь. С тех пор ничего не изменилось, разве что ванна просела еще глубже, сильнее стало капать в арку, и ушло куда-то веселье.

Отлично выносимая «легкость бытия» стала невыносимой, какой ей и следовало быть по определению писателя, которым все тогда увлекались. Наверное, он был прав: если задумываться о своих поступках постоянно, жизнь станет невыносимой. А чтобы выносить ее, надо жить здесь и сейчас, и никаких долгоиграющих проектов. Но так жить невыносимо.

— Нет, а что ты не говоришь ничего нам? Мы что, второй сорт, а ты у нас королевшна? — тянул свою песню Папочка.

Ему хотелось ссоры, но Ия решила не поддаваться и отвернулась.

— Нет, а что ты отворачиваешься? Ты мне скажи: дерьмо, видеть тебя не хочу. Скажи, не стесняйся, все, что думаешь!

— Иди спать!

— Не командуй! — покачивался на стуле Папочка. — Хочу — пью, хочу — сплю.

— Ну, пей, — встала Ия из-за стола.

— Сиди, — дернул обратно Папочка.

— Сажу.

— Скажи мне, что я — дерьмо.

— Ты — дерьмо, — от всей души сказала Ия.

— Ах, я — дерьмо? Нет, что ты сказала? Так я, значит, дерьмо? Получай! —

ладонь Папочки проехала по ее щеке. — Ты думаешь, я ничего не знаю? А кто изменял мне с Мáfией, ну-ка, припомни? Мне сегодня Муха все рассказала. Обмануть меня думала? Я тебя, сука, урою! Ты — моя, моя... Тьфу!

Он наотмашь влепил ей пощечину. Ия вскочила. Отвечать было бесполезно. Папочка ничего не понимал и дико озирался по сторонам. То, что зрело в нем с детства, нарывало, томилось, разбуженное алкоголем, изливалось наружу.

Клетчатая скатерть устилала стол, заставленный стаканами, заваленный объедками. Игра достигла своего абсолюта. На Ию смотрела не женщина, а обезумевший пьяный мужик.

— Давай, давай, скажи, что я — дерьмо! — выл он.

— Не говори, не говори! — дергали ее Понтий и Люсьен, пытаясь усадить.

— Я тебе покажу, ты меня на всю жизнь запомнишь!

Никто не заметил, как в руке Папочки оказался кухонный нож. Самый длинный.

Ия села, и в следующий миг Папочка размахнулся. Она поняла, что это — нож, и это — размах, и даже успела смириться, что на лице ее теперь будет красоваться шрам, как будто рассекли его надвое саблей. Ия не сомневалась, что ударит он именно ее, и увернуться не пыталась — не успела бы, сидели они рядом, колено в колено, а спину подпирал холодильник.

Лезвие мелькнуло перед ее носом. Понтий закричала. Люсьен вскочил и метнулся к окну, как будто хотел выпрыгнуть. Папочка согнулся и хлопнул.

Из его живота торчала рукоять ножа.

— Вот, видишь, что мы с тобой наделали, — сказал он по-детски жалобно, и даже как будто протрезвев. — Я люблю тебя, ты это знаешь?

Они бегали и кричали. Ия плохо помнила эти минуты, но бегали они организованно и кричали по делу. Нож вынул Люсьен. Понтий зажимала сочащуюся кровью рану.

Вызвали «Скорую», но первой приехала милиция. Кавказская овчарка важно, будто с осуждением, прошла по коридору.

— Ага, — кивнул оперуполномоченный, оглядев стол.

Милиционеров зашло несколько. Они о чем-то спрашивали Ию, один долго писал, попросил расписаться. Он положил лист бумаги себе на колено и она, не глядя, подмахнула его.

Приехала «Скорая».

— Ага, — сказал врач, оглядев рану. — Коридор узкий, тут с носилками пока развернемся.

Папочку положили в простыню и понесли вниз по лестнице. Ия побежала следом. Кровавые следы тянулись с кухни по всей квартире.

— Кто вы ей? — спросили в «Скорой».

— Подруга.

— Подругам нельзя.

— У нее никого нет.

Наверное, она говорила еще что-то. Ее пустили внутрь. Следом попыталась пролезть Понтий, но была высажена.

— Куда? — крикнула она вслед машине, уже включившей мигалки.

— В Валериановскую! — крикнули ей в окно. — Дальше не довезем!

Они неслись по ночному городу. Шел снег. Папочка просил пить, говорил слабо и обещал умереть.

Ию подташнивало, когда они тормозили на светофорах и срывались с места вновь.

Врач сидел рядом с носилками, на которые Папочку уложили уже в машине. Он был невозмутим и немногословен, но все же поинтересовался:

— Харакири-то вы зачем себе сделали, позвольте узнать? Да еще накануне Нового года!

— Это из-за нее, — пожаловался Папочка, показывая пальцем на Ию. — Я, знаете, как ее люблю.

Врач кивнул, показывая, что удовлетворен ответом. Как будто каждый день отвозил в больницу женщин, сделавших себе харакири из-за других женщин.

Ия плакала, отвернувшись к окну, и пыталась унять правую ногу, которая, независимо от ее воли, тряслась как от разрядов тока, будто хотела пойти в пляс.

Приемный покой встретил их безлюдьем, хотя люди все-таки имелись. Это были сидевшие на полу бомжи. Они сосредоточенно копошились в своих одеяниях, не обращая внимания на входящих. Между каталок ходили два облезлых серых кота и терлись о металлические ножки. Дежурного врача на месте не было, и вообще врачей там не оказалось. Словом, приемный покой встретил их безврачебьем.

— Мы не можем ждать, бумаги на столе оставим, — сказал врач «Скорой». — Уже передали на отделение. Оттуда хирург придет. Ждите!

Ия металась от каталки к выходу и обратно. Папочку было не оставить, он стонал и звал Ию прощаться. Через десять минут к ним подбежала Понтий, приехавшая следом на такси.

Папочка, почти протрезвевший от страха, лежал на каталке, сложив руки на груди, и таращил глаза. Ия оставила его с Понтием и побежала за помощью.

Опрос бомжей результатов не дал. Где искать врача, они не знали. Несколько лежащих на каталках старушек безжизненно шелестели губами. Ия ничего не разобрала, но догадалась, что и они не прочь получить медицинскую помощь.

Она выбежала на улицу и наткнулась на двух молодых санитаров, куривших у входа.

— Где врач? — крикнула она.

— Спросите что полегче, — ответили они. — Ждите, придет.

— Нам в хирургию надо, — разревелась она и протянула по бумажке.

В следующую минуту санитары уже разворачивали каталку к выходу.

— Направление со стола возьмите, — крикнул один на бегу.

Ия бежала рядом и придерживала Папочку. Позади, шумно вздыхая, топала Понтий с нарядом на госпитализацию подмышкой.

Каталка подпрыгивала и дребезжала. Было морозно, но холод не чувствовался.

— Оставьте меня! — ныл Папочка. — Положите на землю как Распутина!

Санитары послушно остановились.

— Вы кого слушаете! — закричала Ия. — Она пьяная, не видите, что ли! Быстрее!

У входа в корпус санитары сказали, что лифтеру тоже надо дать. Дали лифтеру и оказались в затхлом гробу больничного лифта. Папочка и тут просил его оставить, потому что место, вроде, самое подходящее, лучше уж тут, чем в операционной. От него отмахнулись и вбежали в какой-то коридор на каком-то этаже, который и оказался Хирургией.

Там пили чай, радовались предновогоднему затишью и о поступившей больной не слышали. Ия путано объяснялась. Ее усадили, накапали в чашку чего-то успокоительного, взяли у Понтия документы.

Папочка плакал и прощался с Ией, говорил:

— Ну, вот и все.

Она комкала его руку. Каталку подхватили уже другие санитары и увезли.

Вскоре медсестра вынесла им одежду, поставила на пол тяжелые ботинки с квадратными носами. Посмотрела на них, на ботинки, покачала головой и ушла. Они с Понтием привалились друг к другу, застыли и сидели так долго, часа, наверное, два. Рядом с наряженной новогодней елкой в холодном прокуренном коридоре.

Когда стало казаться, что пытка ожидания никогда не закончится, из операционной вышли два врача: пожилой, толстый, и молодой, тонкий. Ия подскочила и закружила на месте, боясь пойти следом.

— Сиди, я сама все узнаю, — вызвалась Понтий и пошла за ними. На пороге ординаторской она замешкалась. — Деньги у тебя есть? Мало ли что...

— Мелочь я санитарам раздала, а есть — вот! — Ия протянула ей конверт с тринадцатой зарплатой, которую им платили на работе.

Понтий запихала конверт в карман брюк и решительно постучала в дверь, за которой скрылись врачи. Ия переминалась у входа на ватных ногах. Несмотря на успокоительное, все это время ее трясло.

Понтий вернулась мрачная, скомандовала:

— Пошли. Утром надо приходить. Сейчас тут сидеть бесполезно. Ее в реанимацию увезли.

— Что, так все плохо? — глухо спросила Ия.

— Плохо. Врач сказал, печень задета. Удалили ее, и желудок тоже, на четверть.

— Ох, — привалилась к перилам Ия.

— Теперь деньги потребуются на лечение. Надо собирать. Завтра начну. Твой конверт я врачам отдала. Они говорят, там у них бабушка под анестезией уже лежала. А твоего Папочку они первым взяли. Надо отблагодарить было.

Дома ее встретила Норма, лужи крови и серый всклокоченный Люсьен, бесшумно выдвинувшийся из своей комнаты.

— Как? — скорбно спросил он.

— Плохо, — ответила Ия.

Она разделась, посмотрела на часы — 05:15, и провалилась в черную яму. Снов в этой яме не было.

Через три часа она встала и перед выходом позвонила на работу в отдел кадров.

— Алло, — как можно бодрей сказала она в трубку.

— Кто это? — спросила кадровичка, выбросившая вчера перед ней белый флаг.

— Вы меня не узнаете? — попыталась держать марку Ия.

— Проспись, алкоголичка, а потом звони! — звонким лаем послала ее трубка.

Ия покашляла и попыталась заговорить с Нормой. Выходило только шепотом. Когда она напрягала голосовые связки, получался тот же шепот, но чуть более громкий, надрывный, с хрипотцой. У нее пропал голос.

В больницу она поехала к девяти утра без Понтия, хотя накануне та просила взять ее с собой.

Она прошла знакомой уже дорогой в Хирургию и робко просунула голову в дверь ординаторской. Толстый и тонкий еще не ушли. Ия прошептала Папочкину фамилию.

— С утра пораньше! — весело отозвался старший. — Но хорошо, что вы

пришли. Я сейчас напишу, какое лекарство надо купить, сходите в аптеку тут на Литейном за углом, а я отдам в реанимацию.

— Очень она плохо? — пролепетала Ия.

— Она очень слабая. Потеря крови. Полостная операция. Полежит матушка в реанимации, полежит. Там свои врачи у них. Мы ведем тех, кто на отделении лежит, операции делаем. Вот Иннокентию спасибо скажите, — он кивнул головой на тонкого. — Мой молодой коллега, хирург, он в основном все делал.

— Вы печень всю удалили или немного оставили? — повернулась к нему Ия. — А желудок? Да, а бабушку вы после нее прооперировали?

Оба уставились на нее. Иннокентий трагически изогнул бровь, поправил очки на переносице и важно произнес:

— От бабушек нас минувшей ночью Бог миловал. Далее, по сути поступивших вопросов. Печень у нее, конечно, увеличена, но не настолько, чтоб уж совсем окончательно того, как вы говорите. Жить можно. Особенно, если не пить.

— Желудок не задет. У нее сквозное ранение правой доли печени, — объяснил старший. — Это серьезная рана. Но все прошло хорошо. Теперь надо смотреть, как пойдет восстановление.

Ия побежала в ближайшую аптеку на Литейном и принесла купленное лекарство.

— Что вы купили! — воскликнул старший. — Зачем в таблетках? Она же без сознания! В ампулах надо.

Ия снова сбегала.

— Наконец-то, — старший уже стоял в дверях. — Пойдемте, реанимация на первом этаже.

По дороге Ия старалась идти в ногу с ним и шепотом упрасивала:

— Попросите, чтобы меня пустили. Пожалуйста, вы же добрый. Я вижу, что вы добрый. Вы скажите, что я на минуточку. Только посмотрю и уйду!

— Послушайте, — остановился он и раздраженно уставился из-под набрякших век. — Я вам не Господь Бог.

Ия быстро заморгала глазами, собираясь заплакать. Она читала, что слезы безотказно действуют на мужчин. Да они и так стояли сейчас близко.

Теория оказалась тут же подтверждена практикой.

— Хорошо! — замахал старший руками, разгадав намерение, едва она превентивно хлопнула носом. — Я познакомлю с дежурным врачом и попрошу за вас, а вы уж там потом сами договаривайтесь. Сейчас обход будет, не пустят точно. Но вот, может, вечером...

Перед дверью реанимации Ия молитвенно складывала руки, а вечером стояла возле Папочки. Он был безжизненного серого цвета как укрывавшая его застиранная больничная простыня.

— Что же ты наделала? — спрашивала Ия. Ей казалось, что находится она в мутном кошмаре, в каком вязнешь под утро, промаявшись без сна всю ночь. Этот серый сон, сплетенный из уродливых теней дневных событий, длится какие-то минуты, но во сне-то, внутри себя, он длится бесконечно.

Ия пыталась вырваться из этого сна, проснуться волевым усилием. Но ведь и волевое усилие во сне — не более чем тот же сон. Надо ждать, когда ткань его истончится, и ты вынырнешь в реальность, бодрствование, бытие.

Отвечал ей только подключенный к Папочке аппарат — ровным, мерным пиканьем. Он протягивал длинной натянутой нитью свое бесконечное число «пи» в кошмарный сон и, взявшись за эту нить, Ия шла в реальность навстречу еще большему кошмару. Ведь нет ничего страшнее осознания, что страшный сон происходит наяву.

* * *

Она как-то замерла в эти дни. Приспособилась к своему шепоту. Горло у нее не болело, но голос куда-то ушел. Раньше она сама сострила бы: отправился прогуляться по Невскому проспекту, как нос коллежского асессора Ковалева. Но шутки закончились в то мгновение, когда перед ее собственным носом сверкнул нож, угодивший в Папочку. Хотя, может быть, кончились они еще раньше, а она и не заметила.

На работе Ия взяла отпуск. Его охотно дали, мало кто желал отдыхать в январе. Тем более, она собиралась не отдыхать, а ухаживать за больной сестрой.

Пару дней до Нового года она приходила в реанимацию по вечерам. Пускали ее ненадолго, она стояла столбиком, как печальный понурый сурикат, возле кровати, окруженной проводами.

Лекарств хватало, состояние было стабильное, однако нахождение в реанимации грозило затянуться. Впереди — новогодние праздники, а перед переводом на отделение с Папочкой должен был поговорить по душам психиатр. Документально подтвержденная попытка суицида красовалась на первой странице истории болезни.

Понтий больше не приходила и не звонила. Ия уже поняла, что та надула ее с деньгами, а ей так хотелось отблагодарить врачей.

Она попыталась отрепетировать свой разговор с Понтием, но сразу поняла, что после того, как они сидели в коридоре, обнявшись, и ждали окончания операции, она просто не сможет посмотреть ей в глаза и обвинить в краже.

Пусть останется этот коридор и их единство, а конверта пусть не будет. Она не хочет его помнить. В конце концов, с диагнозами обошлось, да и Папочка всегда предупреждал, что финансовых дел с Понтием лучше не иметь, все равно останешься в дураках. Удивительно, что эта ее черта не насторожила Люсьена, национализм которого увеличивался по мере выпитого.

Тридцать первого декабря Ия возвращалась из больницы в переполненном вагоне одной из последних электричек метро. Спешащие домой пассажиры жались друг к другу, шелестели пакетами. И даже пахло по-особенному празднично, как на детском утреннике: мандаринами и елкой.

Хорошо, ехать близко: одну остановку с Маяковской до Гостинки. Потом бегом в переход, пока не закрыли, и там еще одну — до Горьковской.

Ию приплюснули к самым дверям, она не сопротивлялась и даже нос свой тоже прижала к стеклу, превратив во вздернутое поросячье рыльце. В детстве у нее была пахнущая краской картонная маска поросенка. Тогда она хотела поскорее стать взрослой и не играть в глупые игры, еще не зная, что самые нелепые игры на свете — взрослые.

Стать бы маленькой девочкой, вернуться в исходную точку и прожить жизнь по-другому. Быть бы вот той теткой с толстыми, мясистыми коленками, на которых стоит необъятных размеров сумка, а из нее выглядывает оранжевая кабина пластмассового трактора. Тетка пытается запихать его обратно, чтобы не вывалился и, задумавшись, гладит, улыбается. Запихивала она трактор, а гладит голову того, кто получит его в подарок. И не важно, что мясистые у нее коленки, и еле втиснула она свое пышное тело в освободившийся зазор на сиденье. Главное, что она улыбается, и улыбка такая хорошая. Для счастья не нужна стройная фигура и красивые коленки. Иногда они даже вредят счастью.

Вагон резко затормозил в перегоне. Пассажиры недовольно ухнули, но, поскольку стояли кучно, просто уперлись друг в друга локтями. И только

стоящий рядом с Ией мужик, которому кто-то наступил на ногу, недовольно огрызнулся:

— Осторожно!

— С наступающим! — донеслось из толпы нарочито невинно.

Кругом засмеялись. Мужик с отдавленной ногой тоже не смог скрыть улыбку. Засмеялась и она — как могла, тихо и хрипло.

Квартира-расческа смотрела на нее черными окнами. Даже в комнате Люсьена не горел свет. Он сник после случившегося. Не водил компаний, старался не выходить из комнаты, а то и вовсе не приходил домой. Как будто налетевший ураган выдернул брошенный им якорь, и парусник сорвало с места.

Когда она включила телевизор, Надя Шевелева уже давно узнала, что и в Ленинграде существует 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12 и спела про состав, отправляющийся на Тихорецкую. Звезды нового века исполнили Старые песни о главном. Теперь старую песню выводил президент.

Под бой курантов Ия вспоминала, что год назад стоял у них на столе диковинный ананас, и они были друг у друга. Они и сейчас были, но только будущего перед ними не было. Что она будет делать первого января, Ия даже не представляла, но заботы нашлись, и подкинула их Понтий.

В первый день наступившего года ей принялись звонить знакомые и малознакомые люди. Как сговорившись, они спрашивали, как наша больная, и отчитывались, что сдали деньги Понтию для повторной операции на желудке.

Ия, разыскав Папочкину телефонную книжку, тоже кинулась звонить всем буквам, начиная с А, и говорила одну фразу:

— Здравствуйте! С Новым годом, если позвонит Татьяна Пантелеева, ни в коем случае...

Папочка в новогодние праздники приобрел телесный оттенок и уже не сливался с больничной ветошью, как и полагается тому, кто собирается выехать из реанимации с простыней, натянутой на ноги, а не на лицо. Он энергично вращал глазами, приподнятой бровью отмечал короткие халатики реанимационных медсестер и мучительно соображал, как быть дальше.

Теперь его больше всего беспокоил визит психиатра, ведь на кону стояло разрешение на ношение оружия, которого у него, само собой, отродясь не было, но для работы бумага требовалась. В отличие от истории про харакири.

В выходные, когда начальство не появлялось в больнице, Ию пускали и днем. Тогда она приезжала два раза: в обед и поздно вечером. Было решено преподнести всю историю как несчастный случай: выпила, споткнулась и упала на нож, который взяла в руки, чтобы намазать бутерброд маслом.

Первым слушателем оказался участковый, посетивший Папочку в реанимации. Чтобы проверить впечатление от услышанного и закрепить результат, Ия разыскала его в отделении милиции в тот же вечер.

— Упала на нож, и так десять раз, — хохотнул вихрастый здоровяк с лицом, усыпанным веснушками, и раскрыл папку.

«Уже и папку завели, плохо дело», — охнула про себя Ия.

— Вы мне не верите?

— А вы сами себе верите?

— Верю, потому что иначе она не сможет работать.

— Но вы уже дали другие показания. Вот, посмотрите! — он подвинул к ней подписанную на колене милиционера бумагу, на которой красовался росчерк в половину листа. — Судя по автографу, вы тоже были не очень трезвы.

— Именно, — сказала Ия. — Я вообще ничего не помню и от слов своих отказываюсь.

Она придвинулась ближе к столу и села так, чтобы лучше была видна грудь в глубоком вырезе платья, которое она специально надела. Еще со времен списка с мужскими именами Ия помнила, что чаще всего достаивалась комплиментов именно эта часть ее тела. Декольте, как она считала, было аргументом номер один. Аргументом номер два была бутылка коньяка, вынутая из сумочки.

— Я хочу дать новые показания, — перешла она к цели визита.

— Вы уверены? — спросил он. — Не пожалеете?

— Она больше так не сделает. Но если ее выгонят с работы, все может повториться.

Участковый протянул ей чистый лист бумаги.

— Пишите.

— Что именно?

— То, что вы видели.

Когда показания были обновлены и аккуратно подписанный лист оказался в папке, Ия протянула руку за старым.

— Отдайте, мне так будет спокойнее.

— Вы мне не доверяете? — усмехнулся участковый.

— Я никому не доверяю.

— Правильно делаете, — сказал он. — Но вы же в милиции, а милиции доверять можно.

Взяв со стола лист с прежними показаниями, он тщательно разорвал его, выкинул в мусорную корзину и убрал в ящик стола бутылку коньяка.

— Спасибо, — сказала она. — Надеюсь, мы больше не увидимся.

— Я тоже, — сказал он, старательно глядя мимо декольте. — Если она снова возьмет в руки нож, постарайтесь не упасть на него. У милиции и без вас дел хватает.

Когда закончились дни, отведенные на празднование Нового года, Папочку перевели из реанимации в Хирургию. Это было то время, когда первые январские дни, в подражание европейским традициям, получили статус каникул и были продлены. Но каникулы, как и все заимствования, тут же окрасились национальным колоритом. Те, кто не смог выехать на горнолыжные курорты Швейцарских Альп, их не праздновали, а *отмечали*, сиречь ставили отметки на память. В Хирургии было людно, но не празднично.

Отделение оказалось битком набито прооперированными пациентами, поступившими в дни «каникул». Колото-резанные раны соседствовали с обострившимися язвами желудка и пришедшими в движение камнями, а у кого и настоящим камнепадом в почках.

Уже знакомые Ие врачи бегали из палаты в палату. В коридоре вдоль стен лежали бомжи. Больные все поступали, их пытались на время пристроить в Травматологию и соседнюю Нейрохирургию. Но безуспешно: там с избытком хватало переломов и черепно-мозговых травм.

Тихая перед праздником, больница наводнилась забинтованными и загипсованными людьми, будто город перешел на осадное положение, а линия фронта проходила где-то совсем рядом.

И все же Папочке нашлось место, и даже у окна. То ли помогли смешливый хирург Иннокентий и его старший, боящийся женских слез товарищ, за которыми Ия ходила по пятам с заготовленным списком вопросов «про печень». То ли коньяк и конфеты, которые она оставляла всем попавшим в поле ее

видимости и носившим белые халаты. То ли декольте, которое она опять на всякий случай напялила в день перевода.

Декольте предназначалось для психиатра, который должен был прийти с утра в реанимацию. Ия ожидала увидеть Зигмунда Фрейда с бородой и в пенсне. Психиатр представлялся ей существом таинственным и по-старчески капризным. Боясь оскорбить его коньяком, она положилась на декольте.

На пожилую низенькую женщину, вышедшую из дверей реанимации, Ия не обратила никакого внимания.

— Психиатр у вас еще? — дернула она дежурного врача, выглянувшего через пару минут из дверей.

— Так она только прошла. Иоланта Генриховна, тут к вам! — закричал он.

— Вы понимаете, у нее работа... Это случайно вышло... Она так больше не будет, — выпалила Ия, догнав женщину. Вблизи та оказалась еще меньше и стояла теперь на уровне декольте, которое Ия безуспешно пыталась хоть как-то стянуть на груди.

— У кого работа? — ровно спросила женщина у груди.

— Ну, суицид у которой был, а теперь работа! Мы и сами не поняли, как это вышло. Стояла с ножом и вдруг — раз! Уже лежит!

— Пойдите, там их четыре человека с суицидом. И все случайно, никто ничего не помнит.

— Ну, так праздники, — развела руками Ия. — Каникулы... Вы в заключении что ей напишете?

— Так ваша — женщина? Кем вы ей приходитесь?

— Подруга. У нее больше нет никого.

— Понятно, — она пристально посмотрела на Ию снизу вверх. — Ничего, что может помешать ее работе, я не напишу. Но вы подумайте.

— О чем? — не поняла Ия.

— О том, что в другой раз это может закончиться хуже. Она не кошка и у нее не девять жизней. И у вас тоже. Всего доброго.

Папочка вскоре начал вставать с кровати и ходить, а потом и разгуливать. На утренних обходах хирург Иннокентий осматривал повязку и качал головой:

— Так-так, дела у нас идут неплохо. Но пить вам теперь категорически нельзя, даже пива! Этого правила вы должны придерживаться всю жизнь. Никакого спиртного ваша печень больше не выдержит.

— Да я и не захочу больше. Спасибо вам, доктор! — кротко отвечал Папочка и преданно смотрел из-под длинных ресниц.

Иннокентий важно, степенно кивал, ему недавно доверили самому оперировать больных, и он только примеривал на себя роль «настоящего врача».

В кармане его халата лежала записочка с выведенными женским почерком словами: «Пить вам теперь категорически нельзя! Этого правила...» Иногда он отходил от текста и импровизировал, в зависимости от настроения живописуя страдания печени, побывавшей под ножом хирурга, или рассказывая поучительные анекдоты с летальным исходом в конце.

— Главное, больше убедительности, и не пропускать ни одного дня! — просила Ия окрепшим, почти вернувшимся на свое место из долгой прогулки голосом. До выписки оставалось совсем немного времени, а читаемые хирургом Иннокентием мантры, по ее замыслу, должны были иметь накопительное действие.

В конце января они вышли из больницы. Папочка принялся к морозному воздуху, как гончая, готовая взять след.

— На землю не хочешь, как Распутин? — осведомилась Ия, когда проходили мимо приемного покоя.

— Не напоминай, и так стыдно, — попросил Папочка.

Они возвращались домой вдвоем и чувствовали себя как сиамские близнецы Маша и Даша с одной на двоих кровеносной системой.

Уже на Литейном проспекте их обогнал Иннокентий. В короткой курточке, с рюкзаком на спине, его было не узнать. Только круглые очки поблескивали на носу так же солидно, как на утреннем обходе.

— Берегите печень! — весело сказал он им, обернувшись, и побежал к остановке вслед за подъезжающим автобусом, перепрыгивая на бегу через лужи, промахиваясь и пачкая и без того мохрившиеся уже штанины потертых джинсов, размахивая руками, как школьник, несущийся на перемену.

Автобус его дождался, он еще раз кивнул им головой уже в окне задней площадки и нарисовал на чуть запотевшем стекле что-то продолговатое, похожее на облачко, а рядом восклицательный знак.

Он не знал, что всех произнесенных им мантр хватит ровно на полгода. Жарким августовским днем Папочка позволил себе полбокала пива. Печень это пережила и даже как будто обрадовалась, как встрече с давним знакомым. Целый бокал пива через день тоже ее не смутил — не кольнула укором, не заныла назидательно.

Папочка принялся потчевать печень более крепкими напитками и прислушиваться к ней и себе. Ничего не происходило, и от этого произошло возвращение на круги своя.

Осенью Ия поехала в Мариинскую больницу спросить Иннокентия «про печень» и вообще, как ей быть. Как будто он был в ответе за всех вытащенных с того света, но не прирученных или не вразумленных.

Но там ее ждало разочарование: в ординаторской сидели другие врачи. Ия встретила знакомую медсестру, и та по секрету сообщила, что «Кеша в июне еще свалил в Израиль, так как получил нагоняй от начмеда за то, что с каждым больным возился как с родственником, в ущерб больнице. Правильно сделал, там его семья давно ждет, а он тут все геройствовал».

Она снова заглянула в ординаторскую и спросила, где второй врач «воо-о-т такой, с добрыми глазами». На нее странно посмотрели и уставились в столы.

«Воо-о-т такой», — повторила она, развела обе руки и даже, слегка прищурившись, обвела ординаторскую добрыми-добрыми глазами, чтобы совсем уж стало ясно, кто ей нужен.

— В больнице он, — коротко сказал кто-то.

— Вот и хорошо, — обрадовалась Ия. — Подождать можно, скоро он придет?

— Он не придет, он в Песочном в онкобольнице. С третьей стадией.

* * *

Приехали еще одни жильцы — мать с дочкой, купившие шесть квадратных метров, бывших «сушилкой для белья», но потом неожиданно превратившихся в жилую комнату с легкой руки востроглазого начальника ЖЭКа. Эти квадратные метры были для них перевалочным пунктом. Продав жилье, мать с дочкой ждали документы на ПМЖ в Германию, а бывшую сушилку собирались оставить бывшему главе семейства, потому что нужно же было хоть что-то оставить этой сволочи после размена его квартиры.

В квартире-расческе стало шумно, а в кухне-пенале так и вовсе тесно. Необъятных размеров мать все время что-то жарила, запекала и носила через весь коридор из холодильника и обратно в холодильник, непонятно как поместившийся в те же шесть метров. Ставить его на кухню они побоялись.

Пухленькая, румяная, словно испеченная матерью сдоба, дочка ходила по коридору и разговаривала по телефону. Ей было шестнадцать лет, и на родине она оставляла первую любовь. Обсуждения этого трагического факта ее биографии с подругами начинались утром и заканчивались поздно вечером. Когда в коридор выходил Люсьен и, уперев руки в боки, шатался и сверлил ее взглядом, дочка уходила в туалет, но не прерывала свои консультации, которые вполне можно было бы считать душераздирающими, не будь они столь длительны.

Люсьен задержался на суше. Его друзья-Одиссеи давно уплыли в дальние страны на заработки, а он все ждал выгодного контракта или говорил, что ждет.

Новые жильцы оказались из тех людей, которые, где бы они ни появились, занимают собой все пространство, и рада им была только Норма — постаревшая, потолстевшая и, видимо, поглупевшая такса.

— Предательница-проститутка, — отворачивался от нее Папочка, а собака мигала, будто извинялась, но терлась толстым боком о ноги выкидывающих жирные обрезки переселенков.

Мать с дочкой громко обсуждали, что в Германии «нельзя себе позволить того, что в гребаной России» и «жить им придется экономно». Сейчас же оставались деньги, вырученные от продажи квартиры, «все благодаря тому, что удалось купить самую маленькую комнатуху для этого идиота», и надо «кушать как можно лучше, потому что кто знает, когда еще удастся».

Шматы красной рыбы и свежего мяса перерабатывались на кухне с утра до вечера так, что казалось: мать с дочкой готовятся к последнему в своей жизни пиру. Как они помещались в шести метрах вдвоем, вернее, втроем с холодильником, было непонятно.

Кроме заботы о желудке, была у них еще одна ежедневная забота — проверка содержимого почтового ящика. Дни шли, а приглашение в Германию все не приходило. Мать с дочкой нервничали и это, казалось, еще больше распаляет их аппетит.

Люсьен, еще не зная жизненных обстоятельств новых соседок, все понял. Его не ввела в заблуждение даже белокурая голубоглазая дочка. На чело оставшегося Одиссея, который, впрочем, уже вряд ли мог называться этим гордым именем даже с большой натяжкой и художественным преувеличением, легла тень.

Доступ на кухню, а стало быть, и в ванну теперь был ограничен. Чтобы помыться, приходилось ловить момент, когда мать в очередной раз отправится к третьему члену семьи — холодильнику, а потом кричать из-за закрытой на крюк двери:

— Я — минуточку!

— Ой, быстрее, — причитала она. — У меня мяско на плите стоит!

Вечером в свои права вступала дочка. Находившись за день по коридору с прижатой к уху трубкой, она усаживалась на кухне и продолжала разговор или часами плескалась в ванной, от чего та грозила рухнуть в арку на этот раз окончательно и бесповоротно.

С каждым днем мать с дочкой все больше утверждали себя в квартире, а Люсьен играл желваками и темнел лицом. Медленно, но верно надвигалась гроза.

Однажды сквозь утренний сон Ия услышала отдаленные крики, которые ей как будто снились. Когда Папочка был на сутках, ей всегда снились тревожные сны, а когда он пил дома — кошмары.

— Убью, жидовка! — кричал Люсьен. Крики его оставались без ответа, однако за каждым следовал громкий удар.

Ия высунулась в коридор. Перед закрытой в кухню-ванну дверью стоял растрепанный Люсьен с топором в руках.

— Бей жидов, спасай квартиру! — крикнул он в очередной раз и всадил топор в дверь.

Дверь трещала, но не поддавалась, потому что, как и дом, была 1905 года выпуска, в отличие от притащенного кем-то из Одиссеев хлипкого топора.

Плеск воды за дверью прекратился, и раздалось поскуливание. В ответ зарычала, поджав хвост, Норма.

— Ты чего, Люсьен? — шепотом спросила Ия.

— Жиды! До квартиры нашей добрались! — вскричал Люсьен и обернулся к Ие.

Халат на нем, как и водится, был накинут на голое тело, а сейчас еще и не подвязан. Долговязое бледное тело украшал длинный вялый отросток.

— Иди лучше спать, — попросила Ия, но выходить из комнаты не стала.

Люсьена она не боялась. В отличие от топора. Как поведет себя топор в руках пьяного Люсьена, предсказать было сложно.

«Что же мать-то ее не выйдет», — подумала Ия, но тут же услышала плывущий по коридору богатырский храп со свистящими переливами.

Следующие пять минут она уговаривала Люсьена сложить оружие расовой борьбы, а он колошматил топором в дверь кухни, но уже с меньшим запалом, бессистемно.

Когда он прокричал последнее ругательство, поставил топор в угол и ушел в комнату, наступила тишина. Ия тоже закрыла дверь и легла в постель. Дверь кухни распахнулась и с криком: «Он хотел меня изнасиловать!» по коридору пронеслась дочка. Храп тут же прекратился, и началась кутерьма.

Пришедший с работы Папочка слушал историю про славянский бунт Люсьена и возбужденно хлопал себя по бокам:

— Эх, меня не было! А ты что не заступилась? И та дура, и этот дурак.

Днем на кухне, против обыкновения, было пусто. Мать с дочкой куда-то ушли. Вечером в квартиру пришел участковый. Тот самый, веснушчатый.

— Здравствуйте, граждане проживающие! — приветствовал он высунувшихся в коридор Ию и Папочку. — Как здоровьице?

— Не жалуемся, — проворчал Папочка.

— Молодцы, так держать! Но сегодня я к вам по другому поводу. Леонид Леопольдович Лютиков у вас проживает?

— Нет у нас никакого Леонида, — удивились они.

— А вот ваши соседи пишут, что есть...

— Это Люсьен, что ли? — догадался Папочка.

В квартире стало совсем тихо.

— Он, он, Ирод! — рассек тишину голос матери из-за закрытых дверей шести метров.

Под дверью в комнате Люсьена раздался приглушенный вздох.

— Потерпевших я уже выслушал, — похлопал участковый по толстой папке под мышкой. — Теперь вас хочу опросить как свидетелей, по одному.

Папочка отправился на опустевшую кухню, Ия с Нормой как главные свидетели прошли в комнату.

— Вы опять ничего не видели? — лукаво поинтересовался участковый.

— Честно говоря, не много, — призналась Ия. — Да и видеть-то особо нечего было. Люсьен выпил, ну и начал свою старую песню. Уж не знаю, чем ему так евреи насолили, но у него это пунктик.

— А вы к ним как относитесь, к евреям?

— Мне до них дела никакого нет. Лишь бы мыться не мешали, — призналась Ия.

— Попытка изнасилования имела место?

— Имела место попытка прорваться на кухню. Люсьен с утра всегда голодный, с бодуна особенно, а дочка на час заперлась, вот он и не выдержал. Да он смиренный вообще-то, и трусливый. Это по глупости.

Участковый уткнулся носом в исписанный мелким убористым почерком лист бумаги и стал читать.

— «Бегал за девочкой по квартире в голом виде с эрегированным членом, выкрикивая националистические лозунги. После чего, угрожая физической расправой в виде прижатого к горлу топора, совершал действия сексуального характера и принуждал вступить с ним в половую связь».

Ия вспомнила распахнутый халат, увядший лютик Люсьена и вступилась за его честь.

— Он, конечно, виноват, но не настолько. Люсьен и мухи не обидит, и вообще он импотент.

— Вы-то откуда знаете? — удивился участковый.

— Как же не знать? — удивилась его удивлению Ия. — Я ведь соседка!

— Нет, ну вы мне скажите, что у вас за квартира такая, а? Вас тут всех привлечь надо! И этих тоже, — кивнул он на лист в папке. — За дачу ложных показаний. Мне они сразу не понравились, обе.

— Нормальная квартира, — обиделась за всех Ия. — Вы на четвертый этаж лучше поднимитесь! Там у нас наркоманский притон, шприцы по всей лестнице валяются! В прошлом месяце парень прямо в парадном, на ступеньках, от передоза умер.

Опрос Папочки выявил самые блистательные характеристики «облико морале» Люсьена и никак не вязался со статьями за разжигание межнациональной розни, экстремизм, хулиганство, покушение на убийство и совершение сексуальных действий насильственного характера.

Осмотрев оружие преступления и оставленные им зарубки на двери, участковый просунул голову в комнату, где в ожидании возмездия таился понурый Люсьен.

— Ну, как? — спросил участковый.

— Раскаиваюсь, — отвечал Люсьен и свесил кудрявую голову.

Разговаривали они не меньше часа, какие доводы приводил в свое оправдание Люсьен, осталось неизвестным.

— А я ведь тоже не очень-то их люблю, — сказал Ие тихо участковый на прощание. — Вот я обычный парень, служу, тружусь, живу, как и вы, в коммуналке, и в Германии меня никто не ждет.

Закрыв за ним дверь, она еще постояла, послушала слушающую ее тишину в квартире и в который раз подумала, что чего-то она не понимает. Что же такого наделали предки матери и дочери, что до сих пор возбуждает ненависть тихого Люсьена, которая оказывается понятной участковому. И если уедут, исчезнут, переселятся все *не такие*, то не перекинется ли эта ненависть на них с Папочкой.

Кто станет новыми полешками для топки раздора между людьми, огонь в которой то тлеет, то разгорается, но никогда не затухает полностью.

На следующий день мать спустилась к почтовому ящику и вбежала в квартиру с конвертом в руке.

— Всё! — кричала она вроде бы дочке, но на самом деле всей квартире и ее обитателям. — Всё! Вы-сё!

Грузно топая мимо дверей Люсьена, она плюнула на них и заявила боящейся шелохнуться тишине:

— Ты не думай! Дело уже завели. Я из Германии вернусь на суд и добыю, чтобы тебя посадили!

Но никто не вернулся. Дело то ли закрыли, то ли потеряли. И только дочка иногда звонила в их квартиру из Германии, жеманно звала к телефону Папочку, с которым у нее посреди бедлама и между телефонными разговорами успел случиться краткосрочный роман, и рассказывала, что устроились они в маленьком городке, в поселении, похожем на гетто. У нее появился бойфренд — африканец, и жизнь идет вполне западная, как в кино. Только когда она выходит из своего мирка в единственный городской маркет, настоящие немки поджимают губы и шипят вслед:

— Русская проститутка, — но зато по-немецки, и можно сделать вид, что не поняла.

Про роман Ия догадывалась по томным взглядам дочки накануне отъезда и упорно не замечавшему их, но смущенно чесавшему нос Папочке. Как он заверил позже, отношения их были только платоническими и начались с того, что будущая эмигрантка как-то вечером сама вызвалась сходить «за веселительным» и поставила на стол бутылку «Мартини».

— А я где была? — удивилась Ия.

— На работе, конечно, — заморгал Папочка. — Это же я, пролетарий, сменами работаю. А ты у нас работник умственного труда, до позднего вечера в офисе пропадаешь. Может быть, у тебя появился кто?

Пришел черед смутиться Ие, а потому развивать тему платонических отношений с уехавшей навсегда белокурой Жази она не стала.

Вместо переселенок в шесть метров въехал худенький, сморщенный как печеное яблоко мужичок с вечно слезящимися глазами. Это и был отец семейства, бывший военный Михаил. Вместе с ним въехала большая черная собака, повсюду ходившая за хозяином на полшага позади, и не издавшая за год жизни в квартире-расческе ни звука.

Михаил варил ей куриные головы в большой кастрюле — единственном осколке домашнего уюта, оставленного от щедрот своих уехавшей за лучшей долей женой. Насколько громки были мать с дочкой, настолько тих Михаил. В длинном полутемном коридоре его тень сливалась с тенью большой собаки и, казалось, по квартире шествует медленный, молчаливый, съездившийся от старости, доживающий свой век кентавр.

Дочка никогда не просила позвать его к трубке и проявила интерес лишь тогда, когда Ия речитативом сообщила ей, что Михаил умер полгода назад, в шести метрах нашли несколько сотен флаконов от аптечной настойки боярышника, собака исчезла незаметно, ушла на улицу в открытую дверь, будто ее тут никогда и не было.

Оглашая печальные известия настороженному шороху в телефонной трубке, Ия вложила в голос все сочувствие, на которое была способна. Ей и впрямь было жаль безобидного старика, и собаку они с Папочкой собирались пристро-

ить к знакомой бабке в частный дом за городом, кто же знал, что собака этого не знает. Да и дочка, наверное, была не такой уж плохой девкой, а то, что крутила шуры-муры с Папочкой — так кто ж их не крутил.

— Мама, — закричала дочка в недра далекой немецкой квартиры, дослушав до конца известия с родины, — папаня помер!

— Так я и знала! — громыхнул знакомый голос совсем близко, будто из унаследованных шести метров. — Говорила я, что не нужна ему комната! Продавай ее теперь. В Рашке долларами рассчитываются, а нам евро нужны, на обмене комиссию еще потеряем! Тьфу, Ирод, это он специально!

В шесть метров вселился следующий тихий, молчаливый, неопределенного возраста мужичок, вскоре получивший прозвище Дятел за то, что без устали постукивал молоточком с утра до вечера. Что он там мастерил, оставалось загадкой, потому что первой он укрепил дверь в комнату, не оставив в ней и щели. Из своих шести метров он почти не выходил, а когда все же *бывал* в квартире, то все бочком, *пролетом* из кухни или уборной в свое шестиметровое дупло.

Но однажды утром он вышел в коридор, гордо расправив плечи, и настезь открыл дверь. Ия, Папочка и Люсьен ахнули, не узнав былые шесть метров с двумя подстилками на полу — для старика и собаки, и пустыми бутылками по углам. Теперь от пола до потолка бывшая бельевая сушиллка была обита маленькими деревянными дощечками.

Ие она напонила крепости из спичек, которые умельцы мастерили в ее детстве, в советское еще время. Папочке, видимо, пришла на ум баня или сауна:

— Полок еще приделать, и наш камин за стенкой растопить, так и париться можно.

Что представилось Люсьену — неизвестно, но, возможно, корабельная кают-компания, на которую комната теперь тоже немного смахивала. Люсьен вздохнул, поскуцнел, а днем вновь принялся обзванивать рекрутинговые конторы, набирающие на суда моряков.

Старания Дятла оценили и доверили ему святая святых квартиры-расчески — кухню с ванной. Теперь постукивания неслись с другого конца коридора. Папочка в шутку стал говорить Ие, что надо бы к Дятлу приглядеться: мал золотник да дорог, а между комнатами можно сделать арку.

Но Ия все это уже не разбирала, слушала вполуха и вообще уже несколько месяцев присутствовала в квартире хоть и ежедневно, но формально. Не за горами очередной Новый год. Ей казалось, что она, как в детстве, разворачивает и разворачивает яркую упаковку подарка, слой за слоем, а внутри что-то удивительно прекрасное. Такое, чего у нее еще никогда не было. Хотя, может, и было, но новое — всегда немного *иное*. Она влюбилась. В мужчину.

* * *

С недавних пор их стали отправлять в командировки на открытие филиалов. В августе по плану стоял Ульяновск. Туда и обратно ехали через Москву: так было то ли короче, то ли дешевле.

В поезде набились в одно купе. Смеялись, пили вино, играли в «крокодила». Дошумелись до начальника поезда, который обещал ссадить самых веселых пассажиров на первом же полустанке. Ия живо представила себя на ковре у учредителя, отчитывающейся о том, почему группа не доехала до места назначения и провалила торжественное открытие офиса в городе на Волге, и сразу протрезвела. Угомонила остальных и легла спать.

Но заснуть не могла. В ногах ее сидел молодой компьютерщик. Тот самый, который успешно проскочил испытательный срок, пока она ухаживала за Папочкой в больнице.

Теперь он ее особенно не волновал. К тому же на него можно было положиться в сложных технических вопросах. Ехали они в одном купе и по дороге даже как будто немного дружили.

— Если вас высадят, я дальше не поеду, тоже с вами выйду, — твердо говорил он в темноте.

«Какая корпоративная солидарность», — думала про себя Ия, а вслух говорила:

— Полезай спать, никто никого не высадит. Не свались только сверху, а то всех передавишь.

Ростом он был под два метра, сложения самого крепкого и с трудом помещался на верхней полке.

В поезде до Москвы он первым делом подъял собранные Папочкой в дорогу запасы. Ия искоса смотрела, как исчезают со стола бутерброды и рулеты жареных баклажанов, и старалась быть великодушной. Жадность в командировках не приветствовалась.

— Сложно, должно быть, прокормить такое тело! — не выдержала начальница отдела рекламы, видимо, тоже имевшая виды на баклажаны.

— Угу, — мычал и энергично работал челюстями компьютерщик, сидевший на полке рядом с Ией, плечом к плечу.

В поезде до Ульяновска он подъял запасы, купленные в Москве, но их почему-то уже не было жалко. Ие казалось, что она кормит большую ласковую собаку, подрастающего щенка сенбернара, она испытывала к нему почти материнские чувства.

Вечером они стояли у приоткрытого окна в коридоре вагона, смотрели на мелькающие поля, деревни, реки, заходящее солнце и молчали. Говорить не хотелось. Теплый ветер трепал волосы, пахло гарью проносящихся мимо поездов, печным дымком из деревенских домов, тянуло тонкой травяной дымкой с полей. Ие хотелось, чтобы машинист свернул на другой путь, запасной, пронесся мимо Ульяновска и мчался среди полей. Долго, может, всю жизнь. Должен ли стоять рядом компьютерщик, Ия не думала. Она не отделяла его от ветра, дымка, полей и командировки.

Приехали они вовремя и поселились в огромной пустой гостинице на берегу Волги, напротив Ленинского мемориала. Башня в двадцать три этажа возвышалась над окрестными деревянными домиками.

«Ульяновск — город контрастов» — первое, что приходило в голову у подножия каменного монстра. Когда-то здесь кипела жизнь, приезжали делегации из социалистических стран и союзных республик, проводились съезды, слеты, сборы и все, что могло проводиться на родине вождя мирового пролетариата.

На смену былому многолюдью, многоголосью пришла тишина, запустение, сонный администратор в холле. В коридорах гуляли сквозняки, двери скрипели и хлопали. Поселили их почему-то на двадцатом этаже, который насквозь продувался волжским ветром. К вечеру почти вся группа оказалась простужена.

Ия тоже чувствовала себя больной, разбитой, несчастной и оттого *маленькой*. Хотелось капризничать, лежать в постели, натянув одеяло до подбородка, хныкать, хандрить и пить чай с малиновым вареньем. Она давала слабинку ночами, воображая, что нежится в постели весь день, а утром мчалась по присутственным местам. Со времен Ильича здесь мало что изменилось: жизнь

текла медленно и всячески сопротивлялась навязанному ей быстрому ритму. Стало казаться, что не уложатся они в отведенную на командировку неделю.

Но звонки учредителей и шипение в трубке бодрили сильнее, чем шипучие таблетки аспирина. До конца недели Ия доползла по-пластунски. По крайней мере, так ей самой казалось.

Отгремел арендованный духовой оркестр, улетели в высокое голубое небо над Волгой воздушные шары, открылся офис в Ульяновске. Последний день, по традиции, был отведен знакомству с городом и разному.

В автобусе Ия смотрела в одну точку — стекло за спиной водителя. Во время речной прогулки ее укачало, и теперь она глубоко дышала и не отвлекалась на мелькание по сторонам.

Впереди сидел компьютерщик и тоже смотрел в стекло. Она остановила взгляд на его глазах и думала о том, что, пожалуй, зря села в автобус. И немного о том, что глаза у него красивые, черные, и волосы черные, и немного он похож на Жерара Депардье своим массивным, неотесанным корпусом, и совсем он маленький — двадцать лет, а она — старая двадцатилетняя тетка. Они ехали по мосту, сцепившись взглядами в отражении, словно взявшись за руки, и опять стало хорошо, как в поезде, и хотелось, чтобы берег, как горизонт, все убежал вдаль, а мост разворачивался и разворачивался вслед за ним.

Вечером в самом модном магазине Ульяновска она купила короткую атласную розовую сорочку с кружевом на груди. В номере надела ее и долго стояла возле окна, вглядываясь в темноту и угадывая шум реки далеко внизу.

На обратном пути между поездами у них был почти целый день в Москве. Ия переживала, что простужена, нос ее распух от насморка, саднит и похож на розовый поросячий пятак.

Шагали к фуникулеру, который должен был вознести их на смотровую площадку Воробьевых гор, один из семи холмов Москвы. Компьютерщик поравнялся с ней и сказал:

— Все уже по двое разбились, кто с кем поедет. Можно я с вами?

— Можно, — пожала плечами Ия, еще раз удивившись его наглости. Все-таки они уже возвращаются, а в офисе субординация, нарушенная спонтанной «дружбой на выезде», всегда восстанавливалась.

Их «люлька» качалась и скрипела, медленно поднимаясь все выше. И вот тут, болтая ногами в воздухе над верхушками деревьев, между небом и землей Ия вдруг поняла, что влюбилась.

Она озабоченно оглядывалась назад на Москву-реку, проверяя, на месте ли она, будто та могла исчезнуть, да ведь и правда могла, коли такое творится. Пристально *для вида* изучала спины едущих в передней «люлке» и тоже болтающих ногами, будто это были какие-то особенные спины и ноги.

Впрочем, все стало особенным и по-особому значимым. Как космонавт в капсуле, Ия словно летела над другой, незнакомой планетой, с тремя розами в руке. Шипы кололи ладонь, она стискивала цветы, не замечая боли, и замирала от случайного прикосновения его руки.

Впереди хохотали, сзади снимали на камеру покачивающийся конвейер, несущий людей как детали. Кричали, чтобы они с компьютерщиком обернулись. Они оборачивались и делали смешные рожи, а Ия уже ревновала, что у кого-то он будет: в камере, на снимке, в мыслях.

На смотровой площадке стоял вагон с хот-догами. Он ел длинную сосиску меж двух булок, затейливо украшенную горчицей, и маленькая, худая начальница отдела рекламы опять не выдержала:

— Поди прокорми такое тело! Вот муж кому-то достанется...

Не зная, похвалу она сказала или осуждение, и с чего эту стерву беспокоит, что компьютерщик кому-то достанется, Ия враждебно покосилась на нее, но ничего не ответила. Благо ответа от нее и не требовалось.

Оставался последний переезд с вокзала имени несуществующего города как рывок из прошлого в настоящее, а если смотреть глубже, из недавнего прошлого в прошлое стародавнее.

Прошлое и будущее перемешаны и встречаются лишь в точке настоящего. Для Ии они тоже смешались, стерлись, растворились, существовала лишь грань «здесь и сейчас», по которой она скользила как вагон по монорельсовой дороге — конструкции вроде хрупкой, но вполне устойчивой.

Ночью в вагоне они опять смотрели в окно. Он рассказывал ей про маму, которая работает в магазине, и про отца, который повесился еще в начале девяностых, потому что задолжал рэкетирам крупную сумму, а отдать не смог.

С той августовской поездки работа обрела для нее другой смысл. Она *горела* и даже *полыхала* на работе, потому что весь день был одним сплошным свиданием.

В первую же неделю по возвращении своим *прозревшим* взглядом она обнаружила, что не одна млеет, когда под столом, едва уместя массивное тело, прилаживает отошедший от компьютера проводок именно он. Девчонки помоложе водят с ним дружбу, распивают чаи и подкармливают бубликами с маком и ром-бабами. А он, высокий, широкий, добродушный, всем улыбается, всем рад. Только что хвостом не виляет. Ну, точно ласковый щен, и как же похож на Депардье.

Сразу вслед за этим открытием некоторым сотрудницам отдела была явлена неслыханная милость руководства — подписаны заявления на отпуска, которые в их прогрессивной компании надо было выбивать, вытряхивать, выколачивать. Ия сама ходила к учредителям и разливалась соловьем о высоких нагрузках и необходимости полноценного отпуска для самых лучших работников, а потом, собрав тунеядок, чаще всех засиживающихся за столом с компьютерщиком, напутствовала их:

— Вам очень повезло, девочки, сейчас разгар бархатного сезона. Берите месяц, пока дают, и летите, девочки, летите отдыхать!

Ее благодарили за помощь и заботу, обещали привезти сувенирчики с морей, но ей был интересен только один сувенир — тот, что сидел в наушниках, уткнувшись в компьютер, или сосредоточенно в нем же ковырялся.

* * *

И вот грянул День здоровья. Модное словечко «тимбилдинг» тогда еще не вошло в обиход, да и могут ли болтание на веревке, сплав по порожистой реке и прочие забеги на короткую дистанцию сравниться с Днем здоровья!

День здоровья ждут целый год. Ко Дню здоровья покупают красивые наряды. День здоровья проводится за городом. Место для него выбирают два месяца, а алкоголь закупают на двух машинах.

День здоровья объединяет коллектив и всегда показывает, кто есть кто, обнажает истинную сущность сослуживцев. День здоровья надо выстоять, пережить и не оказаться уволенным. Тех, кто здоровьем слаб, после первой бутылки тянет на откровения, правдивые разговоры и прочие не командные излишества. Самый распространенный недуг — сказать начальству все, что о нем

думаешь — в День здоровья почему-то обостряется, а потому не все проходят испытание Днем здоровья.

На этот раз День здоровья проводился в Токсово. Золотой осенью выезд на природу особенно дорог сердцу, а если сердце еще и влюблено... Ия загодя постановила не пить, и не прогадала.

Не отправленные в отпуск прелестницы из ее отдела оказались сражены крепленным вином даже раньше, чем она ожидала. Женский состав других отделов не отставал и вскоре, плавно раскачиваясь, отправился кормить зубро-бизонов, живущих в питомнике-загоне неподалеку от их корпоративного привала.

Пока офисные амазонки на нетвердых ногах с гиканьем преодолевали отделяющий их от бизонов пригорок, Ия и компьютерщик, не стовариваясь, словно невзначай, двигались в противоположном направлении. Пересеченная местность была им на руку.

Сначала они просто шли рядом, делая вид, что гуляют. Может быть, тоже хотят покормить заплутавшего бизона...

Когда листва за их спинами надежно сомкнулась, Ия углядела здоровенную сосну. Она оказалась шире спины компьютерщика, что через минуту подтвердилось, когда он прижался спиной к стволу и положил руки ей на плечи, мягко, но настойчиво опуская вниз.

Ослабляя ремень и расстегивая молнию на джинсах, она не спешила, с удивлением обнаруживая, что, оказывается, отлично помнит, как со всем этим и тем, что там, внутри, управляться. Все-таки соревновательный список из мужских имен не прошел даром.

Раздавался топот зубро-бизонов. «Неужели наши выпустили их? — проносилось у нее в голове. — И теперь бизоны их догоняют. Конец отделу». Но она понимала, что не бизоны это бегут, а пульсирует его сердце в паховой вене. Колотится, как будто бьет копытом.

Наконец он весь вытянулся, замер, потом задержался, сжимая руками ее голову, и обмяк. Она поднялась с колен и, стоя напротив него, глядя в глаза, медленно сглотнула, одновременно ловко укладывая, натягивая и застегивая внизу. Он еще раз шумно вздохнул и спросил:

— Можно я буду называть вас на ты, когда никого рядом нет?

— Можно, — кивнула она. — Пойдем. Нас уже, наверное, хватились.

Когда они вышли из перелеска, возле красных пластиковых столов еще было пусто. Одни толпились вокруг мангалов и пытались дожарить последнюю партию шашлыков. Другие толкались возле ограды загона и пытались подманить зубро-бизонов. Животные пугались громких криков и лежали в центре своего ограждения, кося печальными коровьими глазами из-под грязных, лохматых челок, сваявшихся в один большой, украшенный опилками колтун.

Только начальница рекламного отдела заседала на пластиковом стульчике и попивала коньячок, независимо оттопырив в сторону мизинец.

— Прогулялись? — тонко улыбнулась она Ие, соображающей, отряхнула ли она хвою с колен. — Погодка хорошая! А что там, за пригорками, лесок?

— Такие же пригорки, — глядя ей в глаза, ответила Ия и опустила на стул рядом.

Компьютерщик принялся наливать им коньяк.

— Вон, напилась, — показала рекламистка глазами на стайку вчерашних студентов, весело спорящих с кадровичкой.

— Минус три, — сказала Ия, чувствуя большую ладонь стоящего позади компьютерщика под свитером на своей спине.

— Что минус три? — покачала рекламистка пластиковой стопочкой.

— Человека минус три. Она вчера на ковре у начальства была, — кивнула Ия на кадровичку. — Ей сказали троих уволить. Народу много развелось, говорят. Она сейчас выбирает, а в понедельник к собранию список подаст. Одного из твоего отдела уволит и двоих у меня. Вот дурачки, еще хорохорятся перед ней. Я же их предупреждала!

— Так со всеми? — удивился компьютерщик. — А меня не хотели уволить?

— Ну что ты, как тебя можно уволить, — повела плечами Ия. Рекламистка солидарно хрюкнула, повела тонкими ноздрями и скосила глаза к рюмке.

Выехали с пикника поздно, долго собирали расползшийся по лесу и горлающий песни офисный молодняк, впервые отмечавший День здоровья и не знавший, что в кармане у кадровички лежит список, в котором отмечено присутствие и поведение каждого. Когда два автобуса отъехали с места стоянки, в лесу уже смеркалось, а в печальных, влажных, будто не видящих глазах зубробизонов отразились звезды, взошедшие на темном осеннем небе.

По дороге Ия размышляла, учтена ли в списке кадровички *прослойка* давних сотрудников, таких как она, и пришла к выводу, что учтена — среди верного окружения врагов ищут, а не найдя придумывают тщательнее всего. Правда, вряд ли кому придет в голову, что она способна на *такое*. Интересно, какой знак поставили бы напротив ее фамилии, увидь сцену под сосной.

На подъезде к городу шедший впереди автобус неожиданно задымился. Все ехавшие в нем перебрались в их, второй. Стало тесно, дружно и крамольно.

Компьютерщик сидел позади и, протиснув большую ладонь в узкую щель между окном и спинкой сиденья, гладил ее локоть, незаметно для посторонних глаз. Она ловила его прикосновения и передавала ток от них всему телу, но при этом оживленно болтала с кадровичкой, отвлекая ее внимание на себя.

Сидящую наискосок от них девчонку — сотрудницу ее отдела, нещадно тошнило красным крепленным вином, закупаемым на День здоровья из года в год. Это было проверенное временем средство, дешево и сердито развязывающее языки и проверяющее лояльность компании. Каждый год, оценивая действие вина, а потом подсчитывая кадровые потери отдела, Ия не уставала удивляться, как же ей удалось проскочить эту *проверку* на прочность, прежде чем она поняла, что такое День здоровья.

Девчонка вина перебрала, но вела себя прилично, и вот только в автобусе расклеилась. Как только кадровичка начинала вертеть головой, улавливая сквозь общий гомон интересный ей шум, Ия тут же увлекала ее новым секретным сообщением о грядущих перестановках персонала, якобы подслушанным в кабинете начальства. Меньше всего она хотела увидеть девчонку в списке на увольнение, потому что считала своей правой рукой. В отличие от других декоративных сотрудниц, на нее можно было положиться.

Когда автобус привез всклокоченный коллектив к дверям офиса, самая стойкая часть оздоровившихся сплотилась для похода в кафе. Настоящего Дня здоровья без продолжения не бывает — это знает каждый опытный сотрудник офиса. Знала и Ия, а потому еще с утра сказала Папочке, чтобы домой не ждал, заночует «у девчонок», хотя ни у каких девчонок никогда не ночевала.

Странное дело, продолжение Дня здоровья никогда не имело кадровых последствий, каким бы бурным ни было. Выполнив свою производственную функцию, сложив ее у офисных дверей, и кадровичка, и другие добровольные

соглядатаи позволяли себе все то, за что ставили минусы и знаки вопросов напротив фамилий новичков в списке днем, доказывая самим себе, что тоже люди.

День здоровья закончился глубокой ночью. Все были пьяны вдрызг, обнимались, братались, клялись в вечной преданности, обещали «открыть свое дело, показать *этим* гадам» и грозили кулаками в сторону офиса. Это была традиционная концовка Дня здоровья и, в отличие от загородных гуляний, состав участников вечерних посиделок, как и слова проклятий и обещаний, из года в год не менялись.

Мать компьютерщика оказалась на ночной смене в магазине, а потому Ия очутилась совсем не у девочек, как и планировала. До утра компьютерщик показывал ей, что не умеет делать двадцатилетний мальчик, а она, мысленно спускаясь по именам в давнем списке как по буквам в азбуке, показывала ему, на что способна девушка под тридцать, и удивлялась сама себе. Как она могла не любить и не ценить *это* раньше? Почему она сама отказалась от *этого*? Ведь, оказывается, достаточно было влюбиться, чтобы все встало на свои места.

Утром она ехала в метро, безвольно, тряпично откинувшись на сиденье и бессмысленно, блаженно улыбаясь, а потом шла к дому на полусогнутых ногах и инстинктивно одергивала короткий подол юбки, хотя одета была в джинсы.

— Нажрались? — дружелюбно приветствовал Папочка.

— А то, — не стала вдаваться в подробности Ия.

— Ссуки, — беззлобно пожурил Папочка.

— Не то слово, — согласилась Ия.

Она легла в постель и проспала весь воскресный день, сквозь сон все еще чувствуя в себе горячие пульсирующие толчки и комкая ладонью во сне край простыни.

Работа стала упоительно прекрасной. В ее отделе постоянно ломалась оргтехника, сбивались компьютерные программы. Все это немедленно требовало ремонта, настройки, замены. На ее ноутбук компьютерщик установил приватный чат, и, когда не мелькал перед глазами, слал розочки, поцелуйчики и ангелочков. Их одних хватило бы для счастья. И не надо вопросов о том, хорошо ли она владеет иголкой. Чем-чем? Иголкой! Ведь у него скоро порвется ширинка, а еще только три часа дня.

Даже вернувшиеся из отпуска и одарившие ее обещанными сувенирами загорелые тунеядки не могли испортить настроения. Хотя, на всякий случай, Ия уже обсудила с кадровичкой план перевода своих особо ценных, отдохнувших сотрудниц в другие отделы. В рамках шефской помощи и отрывая от сердца в интересах дела, разумеется.

На работе Ия больше не задерживалась, а быстрее шла в кафе в двух кварталах от офиса. Через пятнадцать минут другим путем подходил он, и до позднего вечера они сидели в укромном уголке стенной ниши, где всегда царил полумрак.

Когда посетителей, и без того немногочисленных по будням, не оставалось, Ия шла в соединенный с подсобкой туалет. Следом шел он.

Толстая апатичная барменша за стойкой, всегда одна и та же, то ли дремала, то ли просто не обращала на них внимания.

Когда они выходили, барменша все так же сидела за стойкой, подперев щеку одной рукой, без выражения смотрела в громко работающий телевизор, лишь вторая рука машинально двигалась туда-сюда, беря с блюда целую семечку, а возвращая шелуху.

Если мать работала, они перемещались в декорации его квартиры и там делали то же самое, с той лишь разницей, что дольше и удобнее.

Командировки следовали одна за другой, и каждая была упоительнее предыдущей. Ей казалось, что в Казани она падала как красавица Сююмбике с высокой башни Кремля, но зависала в полете и, как пикирующий самолет, делала петлю за петлей — в своем собственном животе. В Уфе взмывала вверх, к небу, как памятник Салавату Юлаеву над Белой рекой.

— Ты как бешеный огурец, — смеялась она, отряхивая пушистый снег с колен и смущенно оглядываясь на баснописца Крылова. Тот смотрел немного в сторону, заложив за спину руки, и вид имел самый суровый. Полы его сюртука, как и пальто компьютерщика, были растянуты. Больше в скверике с памятником баснописцу в центре Твери поздним зимним вечером никого не было. — Это сорт такой. Он, когда созреет, отскакивает от ветки и в отверстие на кончике выбрасывает свои семена. Прямо выстреливает ими, как бешеный, на шесть метров отлетают. Размножение у него такое.

Компьютерщик стоял, прислонившись спиной к железной стеле с сюжетом басни «Свинья под дубом», и расслабленно чесал ухо горельефной хавроньи.

Потом они долго целовались у высеченного на стеле векового дуба. Ветер был так, что казалось, сквозь этот вой кто-то читал им слова из басни, переделывая на свой лад:

— Неблагодарные, когда бы вверх поднять могли вы рыло, то вам бы видно было...

Следующая командировка была в Калининград. Против обыкновения, компьютерщик оказался поселен в номер один. Точнее, не один, а с реквизитом.

Рациям, ноутбукам, гигантским ростовым куклам, сдутым и уложенным в чемоданы, и массе других полезных вещей тоже ведь нужна компания и пригляд. До этой счастливой мысли Ия додумалась за две недели до поездки и сумела убедить в ее правильности начальство.

Сама она жила на том же этаже в номере с толковой девчонкой, которую не только не потеряла после Дня здоровья, но и сумела вывести в свои замы. Девчонка одна знала про ее отношения с компьютерщиком. Скрывать ночное отсутствие было бессмысленно.

Поздно вечером Ия на цыпочках пролетала по гостиничному коридору и быстро ныряла в незапертую дверь «реквизитной». Всем желающим обсудить рабочие дела, на ночь глядя, ее заместитель строго сообщала из-за дверей их номера:

— Мы уже спим!

— Ты ее любишь? — спросил компьютерщик про Папочку, лежа на спине и глядя в свинцово-серый квадрат раззавешенного окна.

Ия выскользнула из-под него, свела уже *привыкшие* быть раздвинутыми бедра, подошла к окну и посмотрела на реку Преголь. За ней виднелся тонкий шпиль готического Кафедрального собора, в стене которого похоронен Кант. Похож на их, липайский собор Святого Язепа...

Солнце лениво взбиралось на низкое ноябрьское небо, грозившее сегодня разразиться снегом.

В последнее время она постоянно думала над впервые заданным ей вслух вопросом и пыталась подвести свою жизнь под «категорический императив», всеобщий разумный и справедливый закон, который надо только понять и следовать ему, и все сложится, разрешится, и никому не будет плохо.

Она уже не могла сказать «да», но и «нет» еще не могла сказать. И вообще,

зачем он спрашивает о том, что она и сама разобрать не может. Ее отношение к Папочке давно уже было за гранью того, что называется любовью. Со времен ножа и больницы, или со времен дзюдоистки, или еще раньше, или позже... Она уж запуталась.

— Я тебя люблю, а с ней я живу, — ответила она тогда и, кажется, он удовлетворился ответом.

Да и некогда было думать. Лишь когда взвились воздушные шары и грянул салют, возвестивший успех их компании в движении «на запад», Ия поняла, как не хочет уезжать.

В последнюю калининградскую ночь компьютерщик спал как убитый. Она смотрела на него, приподнявшись на локте, и вспоминала реакцию тех немногих *обычных* знакомых, которые у нее еще оставались, и кому она *осмелилась* его показать.

— Аполлон! — воскликнула мать ее давней подруги, едва открыв дверь. — Доча, иди, глянь! К нам Аполлон пришел.

Ия исследовала подушечками пальцев каждый миллиметр его тела и думала, что со временем он потолстеет и из мальчика Аполлона превратится в мужика с широкими плечами и брюшком, все предпосылки для этого в его большом теле есть, но все равно останется красивым.

Домой один раз его привела, осмелилась, бросила пробный камень. Под единственно возможным предлогом — компьютер посмотреть.

— Гиббон! — оценил его Папочка. — Глаза красивые, но маленький он еще, хоть и роста большого. Да у тебя, мать, оказывается, страсть к гигантизму!

Она и сама знала, что маленький. Ей почти сорок будет, ему почти тридцать — как ей сейчас. Конечно, он ее бросит, дуру старую. В сорок не бросит, так бросит в пятьдесят. Да и вообще, может, завтра. Она ему надоела, это же очевидно. Вон как крепко спит.

На следующий день они бестолково кружили по салону самолета до тех пор, пока не расселись остальные, и как-то *случайно* оказались рядом. Сидевшая на двух креслах заместитель вдруг решила пересест поближе к иллюминатору и освободила место начальнице. Ему пришлось сесть рядом, не лететь же стоя.

Ию укачивало, но она старалась растянуть это время, запомнить себя в нем. Растянутое время истончалось. На подлете к Петербургу Ия поймала себя на мысли, что хочет, чтобы самолет упал. Накренится бы и грохнулся. Падать они будут вместе, а потом уже все равно. Он никогда ее не бросит, и она останется с ним, и Папочку не предаст. Вернее, он не узнает, что уже предала.

«Упади, упади», — тянула она вниз рассекающую воздух железную машину на тресе отчаянной мысли.

— Тебя не тошнит? Не тошнит? — спрашивал компьютерщик и незаметно гладил ее ладонь.

Ее подташнивало, ныло внутри, а когда сели в разные машины в аэропорту, ей казалось, что кусочек ее кожи зацепился за колесо его такси, как шарф Айседоры Дункан, и вслед за отъезжающими огоньками размоталась вся ее кожа и поволоклась по земле, заматавая след шипованных шин.

Дома все было как обычно. Только Люсьен, наконец, нашел работу и, скрепя сердце, собирался в плавание.

— Понимаешь, он долго отказывался, не хотел, но других вариантов сейчас нет, и денег у него уже нет, так что согласился, — шепотом сообщил Папочка.

— Почему отказывался, — не поняла Ия. — Совсем в домохозяина превратился. Еще бы прок от него хозяйству был.

— В Израиль плывет, — пояснил Папочка. — Не расспрашивай его, а то расстроишь. Очень не хочет.

— Какая разница, куда плыть, особенно когда денег нет, — раздраженно бросила Ия и пошла на кухню, где постукивал молотком Дятел, неспешно завершая ремонт.

— Ты чего, мы же с Нормой ждали тебя, соскучились, — поплелся за ней Папочка. — Мы тебя любим.

Виляя хвостом и тяжело покачивая боками, такса неуклюже шла за Папочкой по коридору. Совсем она стала неповоротливая, и морда поседела.

«Может, сказать ей, и все, и не мучиться, — думала Ия. — А что сказать? Его люблю, вас не люблю... Но это неправда. Я их люблю, они мне родные. Да у меня и нет кроме них никого. Его остро, вас мягко? Вы подождите, я им переболею... Сказать-то нечего. Надо подождать, подумать. Не наломать дров».

Думать времени не было. В конце года, накануне выплаты тринадцатой зарплаты, у учредителей случилось традиционное обострение подозрительности, и началась Великая кадровая чистка, а за ней Великий исход персонала.

Декабрь проходил под девизом «Усиди на стуле», а для нее еще и — «Сохрани отдел». Рабочий день тонул в собраниях, подведениях итогов, вычерчивании графиков, обсуждении бюджетов, перекладывании друг на друга вины за неудачи и преувеличении заслуг в достижениях.

Ия вынырнула из декабря лишь тогда, когда компьютерщик сообщил ей, что нашел другую работу.

— Я хочу заниматься программированием, тут у меня нет перспектив.

Она согласилась, потому что перспектив и правда не было. В их компании запрограммировать можно было только свое увольнение или движение по накатанной колее с небольшим уклоном вверх, оставаясь при этом шестеренкой в общем отлаженном механизме. Сумеешь зацепиться зубчиками за другую такую же шестеренку и уловить общий ритм — крутись вместе со всеми.

Они продолжали встречаться. Реже, но оттого еще более остервенело.

Под Рождество Ию отправили в кардиологический санаторий на Карельском перешейке. Нет, сердце ее никогда не беспокоило. Пошаливало оно у одного из учредителей.

Больные — народ капризный и на выдумки гораздый. Вот и он придумал убить трех зайцев разом: поправить здоровье, пообщаться с подчиненными и появиться в санатории со свитой.

То, что общение это придется на законные выходные, его не смущало. Ведь и он предлагал не вагоны грузить, а отдых за свой счет, и собственноручно составил список облагодетельствованных.

— Отказ равен увольнению, — лаконично сообщила кадровичка. — Девочки, молчать! Спорить бесполезно. И еще, советую вам размяться! Он любит кататься на лыжах. Тулупы и инвентарь нам выдадут на месте.

— Так морозы до минус тридцати обещают, — жалобно протянула начальница отдела рекламы.

— Рождество — семейный праздник! — пропела завхозиха.

— Утепляйтесь, девочки! Если вас не устраивают две недели в санатории, то с семьей вы проведете много свободного времени! Две недели показались Ие ссылкой. За две недели он мог найти другую! Чтобы отвлечь себя от дурных мыслей, она старательно соблюдала санаторно-курортную программу и следовала всем предписаниям. Ходила в бассейн и сауну, на массаж воротниковой зоны и душ Шарко, принимала грязевые ванны, лежала в солярии и еще какой-то

капсуле. По вечерам их группа счастливицов, состоящая из одних женщин, собиралась в баре санатория и отмечала окончание очередного дня оздоровления неразбавленным абсентом.

Через неделю Ия пообвыклась и к ежедневным процедурам добавила электросон. Импульсный электрический ток низкой частоты рассасывал мысли о нем. Словно чувствуя, что его пытаются изжить током, компьютерщик стал звонить несколько раз в день, присылать сообщения почти каждый час и даже успел утомить Ию, чего раньше нельзя было представить.

— Я чувствую, тебе нужно от меня только тело, — обиженно выговаривал он ей в трубку. — Ты почти не разговариваешь со мной, когда мы встречаемся. Сделал дело, гуляй смело, так?

— Не так, я люблю тебя, — говорила она спокойно. Душ Шарко, массаж и ванны, а главное возможность сделать передышку и подумать давали ей душевное равновесие и некоторую твердость.

«Он маленький. Мы больше не будем встречаться», — твердила она себе и тут же вспоминала, как уже говорила ему это на работе, позвав к себе в кабинет. Он тогда закусил губу, сложил большие руки на столе и спросил:

— Ты правда этого хочешь?

— Нет, — замялась она, и вопрос был исчерпан.

Но это тогда, а теперь она скажет «нет» окончательно.

— Не звони мне, нам не надо больше встречаться, — заявила она поздно вечером, выпив чистоганом «ноль пять» абсента на двоих с кадровичкой. Сказала и тут же отключила телефон, и вынула из него батарею, и закинула ее в другой конец номера. На всякий случай, выстраивая препятствие, если ночью передумает и захочет позвонить ему.

На следующий день у них стоял в планах лыжный поход — единственная оздоровительная процедура, которую они были обязаны делить со своим благодетелем.

За минувшую неделю походов было три, но все рядом с санаторием. Впереди в шубе почти до пят, как Мороз, обходящий с дозором не свои владения, шел учредитель. Высокий, грузный, молодой еще мужчина, страдающий одышкой, немного похожий на Шаляпина. За ним гуськом двигалась процессия в разношерстном одеянии.

Каждый утеплился как мог, в силу своих представлений о спортивной одежде. Сразу за учредителем легко скользила, чуть ли не забегая вперед, чтобы преданно взглянуть в глаза, начальница рекламного отдела в финской синтепоновой курточке. В середине колонны быстро перебирала лыжными палками старенькая и тихая начальница отдела ассортимента, повязавшая для тепла поверх клетчатого пальтишка пуховый платок крест-накрест. Ия тоже шла посерединке, наряженная в Папочкину дубленку и замотанная шарфом. Замыкала шествие завхоз в кожаной, подбитой черной кудрявой бараньей шерстью.

Теперь предстоял дальний поход, по случаю которого Ия, кадровичка и рекламистка припасли с вечера непочатую бутылку абсента и перелили ее в флягу. Морозы стояли крещенские, учредителя накануне пытались отговорить, и даже главврач санатория, но он был непреклонен: оздоравливаться так оздоравливаться, зря, что ли, приехали!

После вчерашнего встали тяжело, вышли рано.

— С Богом, — перекрестилась завхозиха и пошарила рукой в кармане. Может, хотела напоследок раскинуть картишки: вернутся ли?

Шли медленно, снег подбадривал, хрустел, скрипел под ногами в такт

сердцам, но ему не верили, вздыхали. Кто-то с тоской вспоминал свой уютный офисный кабинет, кто-то пытался думать о приятном, компенсирующим выпавшие на их долю страдания, о тринадцатой, например. Говорят, мало где сейчас ее дают...

Ия шла, глотая слезы и думая лишь об одном: она забыла в номере мобильный телефон. Он так и остался лежать с откинутой в сторону батареей. Если что, и сигнал SOS из бескрайних снежных просторов не подать, но главное — он не знает, как она раскаивается. Что она вчера натворила...

Учредитель бодро скользил впереди, и казалось, что слухи о его больном сердце сильно преувеличены.

«Не человек, а Хемуль какой-то, — неприязненно думала Ия. — Ну да, Хемуль, а мы — зверушки в Муми-доле. Не везде же так... Работу менять надо... Хотя, может, так везде».

Через полчаса кадровичка и рекламистка сошли с лыжни под предлогом «поправить ботинок» и присвистнули Ие. Достали флягу, закусили крекером, вернулись в строй. Выдохнули горькую полынь в морозно-еловый воздух зимнего леса.

Уже некоторое время они шли вдоль больших валунов. Камни были уложены в несколько рядов с небольшими промежутками и покрыты снежными шапками.

— Чтой-то? — спросила завхоз.

— Инопланетяне сделали, не иначе, — рассудила ассортиментщица и потуже подвязала пуховый платок. — Стоун... как его... хендж.

Они шли, каменная гряда не кончалась. Поднималась на пригорки, спускалась с пригорков. Один раз даже прервалась на железную дорогу. Они форсировали рельсы, поддерживая друг друга, и обнаружили, что камни тянутся дальше и уходят вглубь леса.

— Мы должны исследовать это явление и дойти до конца! Ведь где-то же они заканчиваются?! — провозгласил учредитель и махнул рукой, углубляясь в чащу.

Ия подумала, что где-то эти камни она уже видела. На картинке, что ли.

— Что это, как думаешь? — шепнула она снова пытавшейся отстать кадровичке.

— Так и ты дура необразованная? — шепнула та в ответ. — А еще красный диплом. Чему вас только учили! Это Линия Маннергейма. С советско-финской войны осталась.

— С чего ты взяла?

— С исторического факультета.

— Это та самая, против танков, которая от Финского залива к Ладожскому озеру идет?

— Она, родимая. Через весь Карельский перешеек. Финны, они же такие, старательные. Еще доты есть, как бы не провалиться.

Свистнули рекламистку.

— Какая же длина у нее? — раскрыла глаза та.

— Около ста тридцать пяти километров. Сущая ерунда, — просветила их кадровичка и уже другим тоном добавила, — это вам ничего, а у меня двое детей, между прочим.

— Надо ему сказать, что камни до Ладоги тянутся. Другого выхода нет, — неуверенно сказала Ия.

— И показать, что мы умнее его, ну уж дудки! — протянула рекламистка.

— Так мы что, сто с гаком кэмэ топать будем?

— Скажи ты, — предложила кадровичка Ие. — Тебя начальство любит, а я не могу, мне детей надо кормить.

Ия стянула рукавицу, набрала горсть снега, отправила ее в рот — чтобы полынью не благоухало, и заскользила вперед, обгоняя группу.

— Арнольд Александрович, постойте! У нас там Иванцовой плохо. С сердцем, наверное. Она никому не говорит, и вам не скажет, но еле идет!

— Это из отдела ассортимента? — уточнил учредитель.

— Да, она. Как вы всех помните, Арнольд Александрович!

Он остановился, обернулся и скользнул взглядом по ведомой им процессии лыжников, выискивая клетчатое пальтишко ассортиментищицы. Затем наклонил голову, подумал и важно произнес:

— Ассортимент беречь надо.

— Иванцова — хороший сотрудник, — поддакнула Ия.

— Ладно, пойдемте обратно. Я и сам что-то устал. А вам я поручаю выяснить происхождение этих камней! Доложите мне на общем собрании через две недели. Вам этого времени хватит?

По дороге обратно Ия, кадровичка и рекламистка осушили флягу — за финский Стоунхендж и Карла Густава Эмиля Маннергейма лично. За здоровье Иванцовой из отдела ассортимента закусили остатками крекера.

Кадровичка обещала Ие подготовить историческую справку о строительстве оборонительной линии в первой четверти двадцатого века как открытие наших дней, а рекламистка — обработать эти данные так, чтобы выходило, что учредитель если и не участвовал в ее возведении, то уж точно первым ее обнаружил.

Выйдя из леса, уже возле санатория их группа рассредоточилась. Одни поспешили на процедуры, другие, войдя во вкус лыжного моциона, решили завершить поход пробежкой по берегу залива.

Ия шла одна вдоль шоссе. На автобусной остановке с бетонным козырьком и граффити по стенам, оставшейся еще с советских времен, а теперь всегда пустой — в такую глухомань на рейсовых автобусах мало кто ездит, сидел нахохлившийся человек.

Она на всякий случай перешла на другую сторону дороги и энергичнее заработала лыжными палками. Уже миновала остановку, когда услышала за спиной шаги и шумное дыхание. На обочине снега не было, одна наледь. Надо бы наклониться и отстегнуть лыжи, но человек догонял.

Обернувшись, она увидела, что он совсем близко. В куртке по колено, ботинках-говнодавах и меховой ушанке. Зэк или местный житель, хотя тут, кроме санатория, и жилья-то нет.

Такой беспомощной она чувствовала себя только в детстве, когда гуляла с подругой в перелеске недалеко от дома в Лиенае. Им туда ходить запрещалось, и они, разумеется, только туда и шастали.

За местечком этим шла дурная слава, но они не верили. До тех пор пока не повстречали двух взрослых накачанных парней, которые, ни слова не говоря, помчались за ними. Молча и сосредоточенно — так, что сразу стало понятно, это не в шутку. Они припустили меж кустов как зайцы. Под ногами мелькала земля. Она вся превратилась в бег и слышала, как кровь стучит в висках. Когда бегут и кричат, не так страшно. Страшно, когда бегут и молчат.

Через перелесок шла железная дорога. Они выбежали к насыпи, возле которой стояла будка смотрителя, и погоня прекратилась. Парни побоялись

открытой местности. Покружив на опушке, как волки, они скрылись за деревьями.

Она вспомнила давний бег и налегла на палки, но бесполезно: лыжи разъезжались и не давали двигаться быстрее. В следующую минуту он схватил ее и приподнял вместе с лыжами.

— Не надо, ну, не надо, хватит, мне больно, — просила она его, но он лишь шумно дышал ей в затылок, и дыхание это все ускорялось, как будто продолжался бег.

Еще несколько минут она чувствовала себя деталью на станке из плоти, а потом превратилась в пришпиленную бабочку, когда он вцепился в ее плечи, с силой притянул к себе и дернулся. Все это он проделал молча, и молча отпустил ее плечи, продолжая держать на себе как плененную бабочку. Ей казалось, что ее разорвали надвое и, как только плечи оказались свободными, упала на подушку своей кровати в номере.

— Долго, — пожаловалась она.

— Долго, — извинился он и выскользнул из нее как сплавляемое по водам Белой реки размякшее бревнышко. Потом хмыкнул и вплыл обратно.

— Как ты нашел меня?

— У тебя же теперь есть толковый заместитель. И вообще рабочие дни уже идут, это вы тут на лыжах бегаете. Сел на автобус и приехал. В корпусе сказали, что вы ушли утром. Где тут еще ждать, вот и сидел.

— Что не окликнул? Напугал, дурак...

— Так тебя в таком наряде не узнаешь. Ты ж как партизан из леса выкатилась. Да и чего кричать-то на морозе.

— А одежду где такую раздобыл?

— От отца еще осталась. В чулане нашел. Тебе не нравится? Зато тепло. Это куртка канадских лесорубов. Из гуманитарной помощи. Без нее совсем бы окошел. Дай еще погреться, — нырнул он в нее снова.

Она отстранилась, и бревнышко снова выплыло.

— Хорошо, тогда если меня спросят, кто это вышел из моего номера, я так и скажу: канадский лесоруб, страдающий редким сердечным заболеванием. Думаю, все оценят.

В номер они проскользнули удачно, когда одна часть группы уже разошлась по процедурам, а другая — еще не вернулась с залива. Появление в санатории их сотрудника, пусть и бывшего, произвело бы фурор почище обнаруженной линии Маннергейма.

— Сколько у тебя времени? — спросила она.

— Два дня.

— Оставайся. Будешь сидеть в номере. Гулять под открытой форточкой, а еду я тебе принесу со столовой. Тут хорошо кормят, наши все еще на вечер с собой таскают. В номер никто не зайдет. Я попрошу, чтобы не убирали.

Следующие два дня Ия пропускала процедуры, а положительный эффект электросна и вовсе сошел на нет.

— Что-то вид у тебя усталый, голубушка, — заметила ей завхоз за обедом, теребя колоду. — Заболела, что ли?

Она и впрямь чувствовала себя странно и, наверное, так же выглядела. Ее покачивало, будто *его* движения не прекращались и за пределами кровати и даже номера. На встрече с учредителем ляпнула, что кроме бренд-бука их прогрессивной компании жизненно необходим тренд-бук, не подумав о том, что это станет именно ее головной болью.

— Ты что, сбрендил с бренд-буком? — отчитывала ее рекламистка. — У меня и так забот по горло. Они полгода новый логотип утвердить не могут. Тебя же вместе со мной голову ломать заставят, и люлей получим, если ничего не придумаем. Сиди, помалкивай, соглашайся, и будет тебе тринадцатая и премия в квартал — вот тренд нашей компании. Забыла, что ли!

— Забыла, — виновато отвечала Ия и представляла, как веером разлетаются его черные волосы, когда он откидывает голову на белую подушку. — Да не переживай ты так. Придумаем что-нибудь. У нас же ветер перемен каждый день в разные стороны дует. Завтра он забудет об этом, увлечется новым. Пойду я. Нехорошо себя чувствую.

Только когда он тайком выбрался из санатория и уехал, она спохватилась, что так и не поговорили про ее намерение расстаться.

Каждый день она разговаривала с Папочкой. Это были звонки в другую жизнь и из другой жизни. Самое главное, Папочка уже давно был не *он*, но и *она* не был. Ия перестала понимать, кто они друг другу. Не сестры, не подруги, не соседки, не любовницы. Сожительницы, части тела друг друга, Машенька и Дашенька Кривошляповы, добровольные ишиопаги.

Из кардиологического санатория Ия вернулась с разбитым сердцем.

Через неделю после возвращения из санатория в их квартире раздался звонок, и незнакомый мужской голос, старательно выговаривая слова, на ломаном русском языке представился:

— Это врач госпиталя Бней-Цион в Хайфе. Родственников господина Лютикова я могу услышать? Он поступил в нашу больницу.

— Нет тут его родных. Я соседка. А что случилось? — спросила Ия, пытаясь представить, что, по странному стечению обстоятельств, это звонит хирург Иннокентий. Но это был, конечно, не он.

Мужской голос помолчал, видимо, соображая, как соседка могла взять телефонную трубку в квартире господина Лютикова в отсутствие его родственников и когда сам он лежит в госпитале в Хайфе.

— Совсем никого нет? — замялся он. — Видите ли, у меня только ваш телефон.

— Нет, не было и не будет, — заверила его Ия. — Так что случилось?

— Он в коме. Перелом основания черепа. Открытая черепно-мозговая травма. К нам поступил прямо с судна. Говорят, упал головой вниз с верхней палубы. Он не доживет и до утра. Я должен спросить согласие на изъятие органов.

Люсьен умер утром в израильском госпитале, как им позже сообщили найденные родственники. Оказалось, что у него были жена и взрослая приемная дочь, которые и не подозревали о существовании комнаты в квартире-расческе, думая, что сумасшедшая бабка отписала ее кому-то другому, и уж тем более не догадывались они о сухопутной жизни в ней Люсьена. Для них он не приходил из плавания, и его смерть лишь придала вечной разлуке легитимный статус.

Дятел закончил ремонт на кухне. Не тронул, по просьбе Папочки, лишь дверь, на которой остались красоваться зарубки топора — следы, оставленные наделавшим шума тихим Люсьеном.

Тело Люсьена из-за маловразумительных формальностей ехало на родину два месяца, а когда прибыло, то хоронили его в закрытом гробу. Падение с палубы обсуждать не стали, хотя отдельные Одиссеи и пытались на поминках сообщить, что в злополучный день Люсьен был отпущен с судна, гулял допоздна на берегу и запросто мог выступить со своими заявлениями в портовом кабаке. Уж что-что, а ходить по палубе он мог в любом состоянии, хоть с закрытыми

глазами в сомнамбулическом сне. Но их дружно зашикали: ни денег, ни желания разбираться в этой истории у родственников не было.

Жена сказала, что отличный он был человек, верный и преданный муж, и черт его понес в этот Израиль.

Папочка сказал, что отличный он был сосед, и что-то про фатализм, но старательно обошел при этом национальную тему.

Даже Дятел хотел что-то сказать и привстал, но на него не обратили внимания. В отличие от всех собравшихся на поминки он не пил, а значит и ничего дельного, достойного памяти Люсьена сказать не мог.

Он сидел рядом с Ией, а она, тоже не пригубившая в тот день спиртного по одной ей известной причине, от нечего делать тихонько показывала ему под столом, на коленях, свое фирменное «гоп-ца-ца» тюремной музыки.

Дятел внимательно смотрел на это новое для него постукивание, будто хотел заучить. Краснел, проводил рукой по вискам, словно собирался откинуть длинные волосы, которых у него не было, и, смущаясь, торопился рассказать Ие, что родом из Сибири, отец его был плотником, он тоже работает в строительстве и копит. Эта маленькая комната — только начало. Ия слушала вполуха, думала о своем, но на слове «копит» подняла бровь и посмотрела на Дятла: вот дурачок, зачем он рассказывает об этом ей, посторонней, его счастье, что Понтия нет рядом.

За столом Ия тоже ничего не сказала, кивала, показывая, что согласна со всеми выступавшими, а про себя думала, что если и изъяли у Люсьена органы в далекой израильской больнице, то новому хозяину от них не будет проку. Почка Люсьена непременно взбунтуется в чуждом ей по крови теле.

Еще подумала, что ни разу ей не пришлось в голову спросить, какой национальности компьютерщик. А ведь это было важно. В женской консультации ей задавали вопросы о возрасте, группе крови и перенесенных заболеваниях отца будущего ребенка.

Тут она поняла, что кроме возраста, ничего сообщить и не может. Выводя в карточке напротив возраста цифру двадцать, пожилая сердитая врачиха подняла на нее глаза из-под очков и окинула изучающим взглядом.

— Гкхм, — сказала врачиха.

— Двадцать один, скоро будет, — попыталась реабилитироваться Ия, но вышло не очень убедительно. — Я к следующему приему все узнаю.

К следующему приему она действительно могла сообщить о первой группе крови против ее третьей, болезни Пертеса в детском возрасте и о том, что ей надо подумывать, в какую стопку класть ее карточку: на аборт или на продолжение.

В глазах врачихи впервые мелькнуло сочувствие.

— В таком возрасте рожать надо, — сказала она. — Ты уже не девочка. Думай, но не тяни. Может, у тебя все хорошо с ним будет.

Она все сидела на стуле, не уходила. Ей казалось, что вот сейчас врачиха скажет еще что-то важное, то, что непременно ей поможет. В коридоре недовольно шумела очередь.

— Может быть, — ответила Ия, перебирая руками на коленях.

— Следующий! — крикнула врачиха.

Сейчас хорошо не было и даже больше того — было совсем нехорошо, а попросту — ужасно.

Папочка, узнав новости, ушел в крутой вираж запоя. Не сдержали даже работа, печень и прочие условности. Такой поворот был предсказуем.

В квартире появилась Понтий, которую не пускали на порог со времен

сбора денег в пользу золотой операции по «спасению» Папочкиного желудка. Она вновь обосновалась за кухонным столом, по-прежнему покрытым уже истертой клетчатой скатертью, и старательно помогала Папочке заливать горе.

Вместе они нашли записную книжку Ии, а в ней домашний телефон компьютерщика. В тот же день Ие позвонила женщина и спросила:

— Скажите, это правда, что вы живете с женщиной и хотите родить ребенка, чтобы отобрать у нас квартиру?

Так состоялось ее знакомство с матерью компьютерщика, за несколько дней до намеченного им самим. А она еще приглядела для этого знакомства в витрине магазина платье с красными маками, как будто в нем она скинет пяток лет, как будто платьем что-то можно изменить.

— Что ты натворила? — трясла Ия обезумевшего от беспробудного обмывания трагедии измены Папочку.

— А ты, что ты натворила? — икал он в ответ и в бессильной злобе бил кулаком в дверь.

На кухне гремела сковородками Понтий, выказывая полное свое осуждение Ие. Дятел прятался в шести метрах, боясь даже выглянуть в разбушевавшееся бабье царство.

Ей все время хотелось спать. Спала долго, сны не снились, но когда просыпалась, не чувствовала себя выспавшейся.

Она засыпала даже в метро, и в навалившейся темноте белый свет вагона превращался под веками во всполохи красных маков. На работе спасалась только рвением уже не раз выручавшей заместительницы, сразу уловившей в бодрствующей *дреме* начальницы неладное и раскинувшей над ней ширму кипучей деятельности без лишних вопросов.

Единственным, от чего ей не удалось отвертеться, стал доклад об удивительном открытии учредителем оборонительной линии Маннергейма в лесах Карельского перешейка. Это знаменательное событие, убедительно свидетельствующее о прозорливости и стратегическом уме руководства, даже отметили небольшим корпоративным банкетом.

С компьютерщиком встречались урывками на скамейке в парке. Он был угрюм, мать и ему устроила скандал, а потом перестала разговаривать. Сидели и молчали, а на прощанье Ия утыкалась в его широкую грудь, потому что выше не доставала.

Встречи их становились все реже. Наверное, из-за новой работы времени у него не оставалось. А может быть, он чувствовал, что, как и от врачихи в консультации, она ждала от него важных слов. Не мог же он сказать: «Следующая!»

— Я не убью твоего ребенка, потому что слишком сильно тебя люблю, — сказала она ему. — Это все равно, что убить тебя.

— Пойми, я не против него, — сказал он. — Я знаю, как ты его хочешь, и поэтому не знаю, что делать. Сейчас я не могу быть ему отцом. Вот я стану на ноги...

Эти слова означали «нет» в вежливой форме, но для нее, опытного строителя воздушных замков, они прозвучали золотой серединой между «нет» и «да». Оставалось собраться с силами, быстро подыскать недорогое жилье и уйти из квартиры-расчески. Собственно, сделать это надо было раньше, как и многое другое в ее жизни. Деньги у нее отложены, и на первое время, а если не шиковать, то и на год-два, их должно хватить. Ну а дальше вернется на работу,

и будет у нее мальчик с черными, разлетающимися веером волосами, его глазами, и все как-то образуется.

Когда в третий визит врача положила ее карточку в стопку с пометкой «беременные», выдала кучку направлений на анализы и прописала «спокойный образ жизни, особенно ночью», Ия облегченно вздохнула. До этого слово «аборт», хоть и пунктиром, но все же присутствовало в ее голове как возможный вариант, теперь с ним оказалось покончено.

«Прорвемся, ты только не бойся, все будет хорошо, — говорила она внутрь себя. — Вот и в блокаду детей вынашивали. Куда уж хуже. Так что мы с тобой выстоим. Ты мне нужен, я без тебя никуда. Мальчик мой, мальчик, маленький мальчик».

Днем она позвонила компьютерщику и спросила, может ли он помочь с поисками квартиры. Он не мог разговаривать и сказал, что перезвонит. Возвращаться домой она боялась, да там никто уже и не ждал. Накануне Папочка пытался ее придушить, схватив обеими руками за горло, а она закрывала живот, боясь, что пнет. Потом плакал и гладил ей ступни, а она чувствовала, как тянет низ живота.

Вспомнила про живущую неподалеку Муху и пошла к ней. Оказалось, что Мухе ничего не надо объяснять.

— Все уже знают, — трагическим голосом сообщила Муха и широко повела рукой, будто под окнами ее дома стояла целая толпа.

— Кто — все, что знают? — спросила Ия, устало опускаясь на кресло под портретом Джоди Фостер.

— Все знакомые, — Муха плеснула в стакан джин-тоник из банки и подвинула Ие. — И незнакомые. Она ж звонит всем подряд и рассказывает, что ты — шлюха, связалась с малолеткой, да еще и бедным, залетела от него, а он тебя бросил.

Ия сглотнула и неуверенно кивнула головой. Ей не приходило в голову, что вот так кратко, в двух словах можно описать все происшедшее с ней, и главное — это будет правдой.

— Раньше надо было думать, — Муха пододвинула к себе стакан с джин-тоником, залпом выпила и вытерла губы. — Сама виновата, девочка.

Ия опять кивнула головой, и с этим было не поспорить, да и не спорить она пришла.

Огляделась по сторонам. Ничего не изменилось с тех пор, как сидели они с «итальянкой» Надей на этих же креслах и ее затягивало в водоворот *иных* отношений. Вот разве что Джоди Фостер на стене появилась. Она сама подняла руки и сама пошла ко дну, но налетела буря и выбросила ее на берег как щепку.

— И что говорят? — спросила Ия.

— Кто?

— Все.

— Разное говорят. Все ее жалеют. Тебя выгнать советуют, вышвырнуть на улицу, удивляются, что она еще этого не сделала. А ты душой будешь, говорят, если аборт не сделаешь. Если уж рожать от мужика, так чтоб деньги были. Еще кто-то сказал, что настоящая лесбиянка, когда видит ребенка, хочет ему ботинком на голову наступить, а ты примазалась.

— Ботинком... на голову, — Ия провела рукой по животу: *«Не бойся, болтают чушь всякую»*. — Можно я у тебя переночую?

— Оставайся! — легко согласилась Муха. — Я все равно сегодня уйду на ночь.

Следующую ночь Ия провела на скамейке в Александровском парке.

Папочка звонил на мобильный и спрашивал, почему она не вернулась с работы. Не помнил, что вечером внял советам «настоящих лесбиянок» и сам выгнал ее из дома. Ночь в парке оказалась спокойной, почти как советовала врач. Только хотелось прилечь, и было холодно.

Квартира нашлась на другой день, оставалось перевезти вещи. Ия собирала их, Папочка раскидывал, отталкивал ее и махал перед лицом кулаками, боясь ударить по-настоящему. Живот у нее снова тянуло. Она то и дело приседала на край кровати, чтобы передохнуть.

На кухне что-то с грохотом упало, раздалась брань, затем хохот. — Выгони ее без вещей, суку, — крикнула Понтий.

Папочка снова затопал по коридору и остановился на пороге комнаты. В руке у него был кухонный нож.

При виде ножа внутри Ии что-то перекатилось и как будто лопнуло. И хотя Папочка положил его на верхнюю полку шкафа и уселся на край дивана, закрыв лицо руками, то, что перекатилось, не встало на место.

Резко свело живот, потом еще, и еще, и еще. Ия растерянно стояла и боялась пошевелиться. Тонкой струйкой из нее засочилось то обычное, что совсем нельзя было ожидать в ее положении.

— Кровотечение, и похоже на самопроизвольный выкидыш... Да погоди ты реветь, возьми с собой деньги, там в больнице они, может, лапароскопию сделают. Может, сможешь еще сохранить, — сочувственно пробасила врач.

«Скорая» проталкивалась в пробке по узкому проспекту, через который Ия когда-то перебегала, уличив Папочку во лжи. Со всех сторон сигналили. Водитель ругался и даже вылил на не пропускавшую машину слева остатки недопитого молока из пластиковой бутылки. Сидящая впереди врач вздыхала и жаловалась ему на своего сына, двоечника и оболтуса.

Ия пыталась отдалиться от своего тела, притвориться, что оно не ее, и считала светофоры. Они загорались красным и не пускали их, но она закрывала глаза, обращала огни светофоров в дружелюбные красные маки и рассказывала внутрь себя: «Ты не торопись, погоди, послушай. Давным-давно люди считали красные маки символом сна и смерти, а мне кажется — это символ жизни.

Маковые поля текут широкой красной рекой посреди сочной зелени полей, среди белых, желтых, фиолетовых полевых цветов. Маки похожи на солдат — стоят ровно, плечо к плечу, и гордо тянут круглые красные каски к Солнцу. Маковые отряды и полки приготовились к бою, и этой рати нет числа. Я куплю тебе красных солдатиков, и ты поведешь их в бой по зеленой траве. Мой мальчик, мой мальчик, мой мальчик...»

Наконец крикнули: «Приехали!» Согнувшись и приседая от накатывающих волнами спазмов, Ия вылезла из машины.

«А потом мы будем бежать с тобой по маковому полю, раскинув руки и смеясь. Мама и сын. Только ты и я. Я видела, именно так на картинках бегут счастливые люди, смеются и смотрят в небо. Ты будешь подпрыгивать и мять красные маки, а я смотреть тебе под ноги, чтобы ты не упал».

Врач в смотровой кинула железный расширитель в лоток с грязными инструментами и сказала:

— Мне очень жаль, но сохранять уже нечего. Выкидыш.

Ей было так странно происходившее, что казалась выдуманной выкручивающая, накатывающая волнами боль, и настоящими воображаемые красные маки.

«Знаешь, вот психологи говорят, когда больно, надо представлять любимый

цветок и дышать медленно и глубоко — животом, мысленно раскрываясь как цветок, и боль пройдет. Она уже проходит. Ты ведь не оставишь меня, правда?»

Она лежала на кровати с продавленной пружиной и говорила, что уже лучше, живот не болит, надо подождать, а врачи качали головами и отвечали, что у них мало времени, сейчас как раз всех к чисткам готовят, с восьми вечера начнут подряд оперировать, целая очередь уже скопилась.

— Давайте еще подождем, — просила она в операционной.

— А чего ждать-то, — отвечали ей. — Хотите, мы покажем вам стенки плодного яйца?

«Но ведь это неправда. Ты же еще со мной? Ты еще не оставил меня? Мы должны быть с тобой вдвоем, ты и я, и больше никого не надо. Я буду защищать тебя, а потом ты меня. Я должна защитить тебя», — думала она, пока ей надевали на лицо прозрачную маску, и все еще надеялась, что вот сейчас ошибка обнаружится и хоть одно из четырех укутанных в белые халаты привидений скажет: «Постойте, постойте, да ведь можно же еще сделать...»

Но вместо этого потолок стал похож на белый густой кисель, и тяжелое забытие навалилось на нее как бесформенная зыбкая туша. Лязгало что-то металлическое, а затем она оказалась в странном коридоре. Он был похож на коридор больницы, только стены плюшевые. Все крутилось, вертелось, а стены были совсем мягкие, с ворсом и какие-то мерцающие, фиолетовые. Она пыталась потрогать их руками, ведь не каждый день увидишь плюшевые стены, и догадывалась, что куда-то едет. То ли ее быстро везли, то ли стены разьежались, но потрогать их так и не удалось.

* * *

Очнулась она в палате и увидела медсестер, увозящих пустую каталку. Тогда она поняла, что все прошло, закончилось, цепляться больше не за что. Ей не верилось, что все это взаправду и с ней, но где-то внизу, доказывая обратное, пульсировали остатки боли: тупой, глухой, безнадежной. Интересно, знают ли психологи, что когда тебе наплевать на боль, не помогают любимые цветы.

Она смотрела на тоненькую девушку, сидевшую на краю ее кровати. Девушка говорила, и говорила, и говорила с ней. В конце концов, она показалась Ие знакомой, вот только имени не припомнить.

Ей хотелось ответить, но язык еле ворочался и производил невнятное мычание, которое удивляло ее саму.

Когда язык все-таки назвал имя и сообщил, что хочется воды, девушка воскликнула:

— Так это ты! А я все думаю, что похожа.

— Ира, нет, Света? — разлепила Ия сухие губы.

— Света! — обрадовалась девушка. — Узнала?

«Света — длинный список», — вспомнила Ия и попыталась приподняться. На животе лежало что-то холодное и мокрое.

— Не снимай, это так надо, — засуетилась Света. — Вот видишь, не зря я с тобой говорю! Так после наркоза быстрее в себя приходят. Я уж сколько абортот делала, знаю. Надо же, где встретились!

Света рассказала, что привезли ее только что, срок два с половиной месяца, третий муж обожает, а свекровь так ждет внука, что уже успела навязать две дюжины пинеток розового и голубого цвета, не дожидаясь выяснения обстоятельств. Долго у них не получалось, муж уже переживать начал, и вот наконец-то, наконец!

И зря она всех переполошила, тошнота и головокружение уже прошли, а живот вроде и не болит, тянет только, но куда ж ночью теперь поедешь. Завтра выпишут.

Про себя Ие рассказывать не хотелось. Она лежала и слушала про пинетки, фитнес для беременных и выбор детской коляски. Света всегда была на шаг впереди нее, даже в списке с мужскими именами, чему уж тут удивляться.

Утром Свету перевели в другую палату и даже в другой коридор. Согласно больничной сортировке, тех, кто *сохранялся*, старались отделить от почищенных и ждущих выписки.

— Радоваться надо, — утешали Ию медсестры в курилке. — Если тело выкидывает плод, значит, он больной. Природа знает, что делает. Лучше выкидыш в три месяца, чем родившийся урод на всю жизнь.

Она не знала, что ответить, и хотела спросить внутрь себя: «*Почему они так говорят, почему называют тебя уродом?*» Но спрашивать было не у кого. Тот, кто был внутри, отвернулся от нее, не поверил, что она сможет сделать его счастливым, не захотел быть с ней. Он ушел и оставил ее одну.

Позвонила компьютерщику.

— Я даже не знаю, что сказать, — ответил он ей.

— Ты приедешь ко мне в больницу?

— Вряд ли я успею с работы, но может быть...

— До восьми пускают, а если позже, я спущусь. Я буду ждать тебя. Слышишь? Буду ждать, очень буду ждать, — говорила Ия.

Она ждала его до позднего вечера в прокуренном коридоре на девятом этаже больницы, оттуда хорошо были видны все тропинки, ведущие к главному входу. Живот прихватывал и ныл, иногда она сгибалась и сидела на корточках, но потом, боясь пропустить его, снова распрямлялась. Каждая черная точка, идущая от остановки, была похожа на него. И *он* как будто каждый раз обманывал ее, снова и снова превращаясь в другого мужчину, идущего к другой женщине. Хотя ведь не обещал прийти, и вообще ничего не обещал, так что, стало быть, и обмануть не мог.

На тропинке появился только Папочка. Он опоздал к восьми, а она не спустилась.

Ия глядела в окно как *Машенька* или *Дашенька* шла, не поднимая головы, по больничной дорожке. «Стильная», — как сказала бы Муха. Только это силиконовое слово и вертелось у нее в голове, и больше ничего. Хотя, нет, было еще кое-что...

Ия не отдавала себе отчета в том, что по походке Папочки пыталась определить степень его опьянения. «В мясо», — подумала она и злобно расхохоталась внутри. Она отвернулась от окна и побрела к себе в палату, а Папочка брел к остановке.

Пьян он не был, качало его от одной фразы, которая, как колесо, ездил по его нутру со вчерашнего дня: «У меня, кроме тебя, никого нет». С ней он шел в комнату по длинному коридору квартиры-расчески, раскачиваясь, забыв про нож в руке. С ней уселся на край дивана и закрыл лицо руками.

Ему казалось, что он выкрикивает ее, но она только перекатывалась туда-сюда внутри, оставляя глубокие, кровавые борозды, а теперь отдавала словно эхо: «Никого нет. Никого нет. Никого нет».

Перед сном Ия навестила в новой палате Свету. Лица лежащих там женщин казались таинственными и торжественными. Они были *иными*.

Света сидела на кровати и рассказывала уже знакомую Ие историю про

вязанные пинетки: голубые и розовые. Показывая размер пинеток «таку-у-усенькие», она светила, смеялась и тут же спохватывалась, глядя на Ию.

Она видела, что женщинам неудобно болтать при ней о своих, *беременных* делах, и хотела уйти сразу. Но не ушла, а все сидела, слушая, как завороченная, про масло от растяжек, какие-то слинги и совсем уж загадочную абдоминальную декомпрессию.

Когда она вернулась в свою палату *вычищенных*, ей казалось, что она — гадкий утенок, побывавший в стае прекрасных белых лебедей. Они улетят на юг к своим коляскам и пинеткам, а она останется барахтаться в луже. Навсегда.

Она накрылась с головой простыней и попросила Бога, если он есть, чтобы завтра никогда не наступило.

Но завтра, как и самолет из Калининграда, ее не послушалось. В этом завтра Ия ждала выписки, стоя у окна. С такой ерундой, как выкидыш, долго не держат.

Загорелый врач с толстой золотой цепочкой на шее сказал, что дела у нее отлично, лучше некуда, а выкидыш на излете первого триместра — удел каждой третьей, так что ничего страшного не произошло.

— Вы прекрасно себя чувствуете! За результатами гистологии приедете через две недели, — ласково подтолкнул он ее в спину к выходу и, заметив дрожащие губы, добавил. — Да что вы, в самом деле! Думайте о том, что организм умнее и избавил вас от того, что вам не нужно.

В конце коридора она увидела Свету и, с трудом улыбаясь, стала ждать, пока та приблизится, чтобы попрощаться. Света шла медленно. Ия даже успела подумать, что все беременные, независимо от срока, замедляют свой ход.

Но чем ближе была Света, тем неувереннее — улыбка Ии. Света поравнялась с ней и, *не видя*, прошла мимо. Ия окликнула ее и заглянула в остановившееся лицо идущего человека — лицо-маску, лицо-точку. Усиливая сходство с маской, подчеркивая бледность, лихорадочным красным рдели щеки, похожие на красные маки.

— Замершая беременность, только что УЗИ показало, мертвый плод вот уже недели две, сегодня почистят, — бесцветно, ровно сказала она и, не дожидаясь ответных слов, пошла дальше, как-то вмиг превратившись из довольной собой, холеной девахи в маленькую сухонькую растерянную старушку.

Их счета сравнялись. Победителей в соревновании не оказалось.

Ия ехала домой с балагуром-водителем. Собственно, ехать ей было больше некуда. Светило солнце, в приоткрытое окно врвался теплый ветер. Казалось, что сутки в больнице — дурной сон, но низ живота все портил, не соглашался, ныл.

Она попросила заехать на свою работу и написала заявление об увольнении по собственному желанию.

— Как же я буду работать одна? — спросила заместительница.

— Так ты и так уже давно работаешь одна, — успокоила ее Ия.

Может быть, ее и стали бы уговаривать, как случалось со всеми старыми сотрудниками, не выдержавшими «встречного ветра в лицо». Но сейчас было не до нее. Все обсуждали страшную аферу: начальник компьютерного отдела закрутил роман с ответственной по закупкам. Они создали подставную фирму, существующую только на бумагах, через которую поставляли все, от компьютера до мусорного ведра, по втрое завышенной цене.

На фоне этого любовного корпоративно-криминального дуэта ее собственная влюбленность казалась еще более пошлой и бездарной.

Дома ее приветствовала Норма. Собака лежала на кровати, прижав голову

к передним лапам и била хвостом, сообщая о своей радости. Она уже почти не вставала, хотя, вроде, была не такой уж старой. В квартире оказалось прибрано. Понтия в очередной раз и след простыл.

Вечером пришел Папочка. Ия лежала в кровати, до подбородка укрывшись одеялом. Она выпила обезболивающее, но живот все равно ныл, будто тлела там головешка. Боялась пошевелиться, а потому делала вид, что спит. В ногах под одеялом вздыхала Норма. О чем-то своем, собачьем, чего не могла сообщить людям.

Папочка тоже сел в ноги. Сидел и молчал. Молчала и Ия. Молчание это было скулящим.

Ия осталась в квартире-расческе, вернее сказать, *задержалась*. Они почти не разговаривали. Единственной общей темой для разговора осталась Норма, которая теперь, как и безработная Ия, дни напролет лежала на диване, свернувшись калачиком.

Ия смотрела в стену, Норма — в окно. Временами они вздыхали, и со стороны могло показаться, что женщина и собака думают о чем-то одном.

Квелости собаки нашлось, в конце концов, объяснение — у Нормы обнаружили рак с метастазами. Ия даже завидовала ей и хотела, чтобы и у нее что-нибудь нашли. Например, редкую болезнь или женскую патологию, которая все расставила бы по своим местам и объяснила, почему *ее мальчик* не смог удержаться в ней. И тогда виноватой бы стала болезнь, а не компьютерщик, или Папочка, или Понтий, или науськивавшие настоящие лесбиянки, а главное — не она сама, так распорядившаяся своей жизнью, допустившая все это.

Она исправно сдавала анализы до тех пор, пока врач в консультации, собрав в кучу ворох бумажек, не сказала ей:

— Я не вижу ни одной причины, по которой вы не могли бы иметь детей.

Эти слова прозвучали для нее не надеждой, а вердиктом: ребенок не родился по какой-то общей совокупной вине. И если представить эту вину в виде диаграммы, то ярко-красные восемьдесят процентов в этом круте ада были ее личной виной.

Иногда им звонили «настоящие лесбиянки» и, как ни в чем не бывало, спрашивали как дела, звали в клуб, приглашали на выставку *лесбийского* искусства, рассказывали, кто с кем *сошелся*. Ия отвечала односложно и представляла высокий телеграфный столб, под которым в ряд стояли мужские ботинки, которыми можно *хотеть* наступить на голову ребенку.

Папочка продолжал пить, но уже в одиночку, умеренно, молча, а потом плакал пьяными слезами, называя себя уродом, не способным спасти даже собаку. Ия молчала, потому что была полностью согласна.

Один из однообразных дней был отмечен принесенным Папочкой известием: Понтий умерла. Она давно рассказывала всем о циррозе печени, но никто ей уже не верил, а потому и в больницу не пришел.

Норме сделали операцию, после которой ее парализовало. У Ии появилось хоть какое-то дело: она носила собаку на уколы, а та вырывалась при виде белых халатов как ребенок, пугающийся врачей. По утрам Норма выползала в коридор, подтягивая заднюю часть тела, и провожала Папочку на работу, но вскоре и этого уже не могла.

В один из темных, декабрьских предновогодних дней собака не проснулась. Тогда Ия собрала вещи и исчезла, оставив ключи от квартиры-расчески на потертой клетчатой скатерти кухонного стола. Когда она захлопывала дверь, в

ванной раздалось бульканье, это «квакали лягушки», которых она привыкла не замечать за десять лет.

Вслед за Ией исчез и Дятел, тихо и незаметно, словно слетел с ветки. И только Папочка ходил по длинному темному коридору, боясь поднять голову к железному крюку возле входных дверей и прислушиваясь к шорохам в тишине опустевшего дома.

* * *

Лекарь из времени все же вышел, но лечил он долго и самым традиционным для медицины способом — ничегонедельем. После расставания с Папочкой Ия сняла квартиру — без лягушек и без тараканов, маленькую, похожую на зубец расчески.

Несколько лет ее мучил образ высокого черноволосого мужчины, пока однажды, совсем неожиданно, не избавилась от него раз и навсегда. Она шла по улице и привычно смотрела себе под ноги.

— Здравствуй! — сказал ей незнакомый прохожий.

Она вскинула глаза и не поняла, кто это.

— Здравствуйте, — на всякий случай, на ходу, поздоровалась с огромным, обрюзглым мужиком старше ее.

Через два шага она встала как вкопанная и обернулась. Это был он! Тот, кого она ждала на девятом этаже больницы, кому мысленно утыкалась и плакала в неподставленное плечо в самый тяжелый год своей жизни, когда взгляд ее то и дело натывался на железный крюк в прихожей возле входных дверей.

Она смотрела ему вслед и не верила себе, и все же понимала, что внутри ее НИЧЕГО НЕТ, только удивление от нежданной и такой долгожданной раньше встречи.

«Раскабанел», — подумала она, а потом засмеялась и легко пошла дальше, глядя под ноги, но уже по-другому — пританцовывая и любясь затейливой пряжкой на новых розовых туфлях. Она чувствовала себя молодой и удивительно свободной.

Свободной чувствовала она себя и с Папочкой, когда оказалось, что расставания не случилось. Если умирает один близнец-ишиопаг, погибает и другой: общая кровеносная система разносит яд за считанные часы.

Они не имели общих вен и сосудов, но питали друг друга ядом конца сосуществования, не перестав быть пазлами, повторяющими очертания друг друга. Только Папочка обрел в лексиконе Ии местоимение, приличествующее полу. Как занявший в темноте чужое место зритель, Папочка переместился на кресло «она» так же легко, как до этого был водружен на соседнее кресло «он».

Оставив попытки наладить близость, они стали по-настоящему близкими людьми.

— Печень у меня побаливает, я вот к врачу записалась, — пожаловалась она Ие. — Сходишь со мной? Вместе не так стыдно. Новая оздоровительная программа по методикам израильской медицины, я в газете прочитала. На семь часов номерок, ты после работы успеешь.

Через неделю они пришли в медицинский центр страховой компании «Транс-Газ» на Невском проспекте. Ожидая Папочку, Ия разглядывала картины на стенах, кормила монетами автомат с кофе, сосала леденцы из вазочки на ресепшне и думала о том, как преображает современную медицину короткое слово из трех букв — газ.

— Ну, что сказал доктор? — спросила Ия у Папочки, когда дверь кабинета, наконец, отворилась.

— Пить мне категорически нельзя, — пробурчала та.

— Этого правила вы должны придерживаться всю жизнь! — подхватил веселый голос из кабинета. — Ия, никакого спиртного печень вашей подруги точно больше не выдержит! Она и так долго терпела. Прекратите издеваться над печенью!

— Вы же уехали, — крикнула в раскрытые двери Ия. — Мне медсестры сказали! И вообще Иннокентий, вы — хирург! При чем тут печень?

Иннокентий вышел из кабинета уже одетый: в пальто, с шейным платком. Высокий, худой, поправил очки, как тогда в ординаторской... Ия вспомнила, как он бежал за автобусом, перепрыгивая через лужи и неминуемо попадая в них, а потом рисовал так часто обижаемый людьми орган на запотевшем автобусном стекле. С тех пор он не так уж сильно изменился, хотя прошло лет шесть или семь, а то и больше.

— Я на защиту диссертации вернулся, а комплексные программы по гепатологии апробируют в клинике, где я работаю. Я и не думал, что о них стало известно в Петербурге. Вот, пригласили консультировать. Прямо бум! Печень — самый страдающий орган россиян. Вы у меня последние сегодня.

— А у нас соседа в Израиле убили, — зачем-то лягнула Папочка.

— За что? — удивился Иннокентий.

Возникла заминка.

— За то, что болтал много, — выразительно глянула Ия на Папочку, но та уже сообразила сменить тему и сказала первое, что пришло в голову: — Давайте отметим встречу!

Ия ожидала, что Иннокентий откажется, но он неожиданно поддержал:

— Хорошая идея. Мне в МАПО завтра, но не рано, а приема и вовсе нет.

В кафе Папочка уверенным жестом раскрыла меню на перечне сорокаградусных алкогольных напитков, но тут же сникла под перекрестными взглядами Ии и Иннокентия, отдернула руку и потрясла ею, будто обожглась.

— Один бокал сухого красного, — сжалился Иннокентий.

— Как в институт благородных девиц попала, — ныла Папочка, цедя вино. — Я же старше вас, пожалели бы старую женщину.

Иннокентий много шутил и рассказывал байки, напоминающие те, которыми разбавлял на утреннем обходе письменные наставления Ии на заре своей медицинской карьеры. Пил он тоже неожиданно много, и вполне мог сойти за «своего парня», если бы свои парни у них были.

Ия тоже пила и шутила о том, что Папочка могла бы устраивать мастер-классы «Как сделать харакири и не умереть», а еще подрабатывать в израильской клинике живым экспонатом. Под шумок Папочка заказала еще бокал красного сухого, а Иннокентий сделал вид, что не заметил.

Ия тоже не увидела Папочкин маневр. Она была занята другим — старалась не замечать темные волосы на груди Иннокентия, видневшиеся в раскрытом вороте рубашки. К этому времени они уже перепрыгнули с трамплина местоимения «вы» на широкий накатанный склон местоимения «ты», с которого обычно и берутся все личные высоты.

Вызвали такси, оказалось, что надо по трем разным адресам. Первой значилась Петроградка. Когда Папочка вышла из такси, Иннокентий сказал, не оборачиваясь к Ие:

— Я думал, вы вместе живете.

Голос его был глухим.

— Нет, давно уже, — ответила Ия и напомнила водителю свою улицу, удивляясь, что и ее голос звучит хрипло.

Водитель уточнил адрес Иннокентия и посетовал, что надо успеть до развода мостов, иначе придется делать большой крюк и ехать через самый дальний Вантовый мост.

Иннокентий молчал и водил пальцем по стеклу, словно опять рисовал, но на этот раз стекло не запотело, и понять его рисунок и ход мыслей казалось невозможным, но Ия их понимала. В салоне машины было темно, Ия видела только его силуэт впереди и угадывала скольжение пальцев по стеклу.

Она представила, как он держит в этих пальцах скальпель и разрезает человека, погружает руки во влажное красное месиво, и это месиво — Папочка, который через секунду в ее воображении смеялся, пил красное вино и чокался с Иннокентием. Ей показалось, что этот ее почти ровесник — почти бог, и над головой у него тут же воссиял нимб, который, впрочем, тут же пропал, поскольку осветившая их встречная машина промчалась мимо.

Наваждение исчезло, но осталась смуглая кожа Иннокентия и тонкие пальцы, черные волоски на запястье и какая-то нездешняя готовность радоваться людям — странная для Петербурга и диковинная для врача.

— У меня возле дома круглосуточный магазин есть, — нерешительно сообщила она.

— Правда? — с готовностью удивился Иннокентий такому неожиданному соседству.

Из такси Иннокентий вышел первым, а первое, что сказал ей, повесив пальто на вешалку в прихожей и пройдя в единственную комнату:

— Помнишь, как ты ее в больнице навещала?

— Как же не помнить, — удивилась Ия. — Такое разве забудешь.

Он сел на стул.

— Когда ты днем приходила и до вечера оставалась, то ложилась к ней на узкую больничную койку. Она подвигалась, и ты помещалась. Подушка одна была. Больные глазели, из коридора заглядывали. Кто-то жаловаться в ординаторскую приходил, несколько раз в мое дежурство. А я шел замечание делать. И каждый раз останавливался и не мог в палату зайти. Хорошо, истории болезни в руках были, да и в коридоре всегда встретишь кого-нибудь. Стоял и смотрел, и не мог зайти. А у тебя голос тогда другой был, низкий...

Кровать у Ии была немногим шире больничной, ведь спала она там одна. Она хотела сказать Иннокентию, что ничего будоражащего воображение в той давней больничной сцене не было. Ее качало от недосыпа, усталости и нервов, вот и хотела полежать с закрытыми глазами хоть десять минут. Но ничего не сказала.

Под утро ей приснилось, что в дверь кто-то стучится, а дверь оказалась прямо у изголовья кровати. Ее качало и потряхивало, началось землетрясение. Она сжала руками плечи Иннокентия, чтобы разбудить его и бежать из дома. Но, проснувшись, поняла, что об стену стучит спинка кровати, а Иннокентий никуда бежать не собирается, хотя очень похож на бегуна: лицо сосредоточено, тяжело дышит, как при забеге на длинную дистанцию.

— В МАПО опоздаешь, — шепнула она ему и прижала к себе еще крепче.

«Ма-по, ма-по, ма-по», — выстукивали старые хозяйские часы, висящие на стене, громким скрипом с ними переговаривалась узкая кровать, звонил ее телефон Папочкиной мелодией, укоризненно и кратко пиликал его айфон,

пищал скайп в компьютере, гроыхал лифт, фырчали под окнами разбуженные машины, переругивались собачники и здоровались собаки. Но в МАПО Иннокентий все же не опоздал, о чем и сообщил Ие вечером, когда она встречала его на «Чернышевской».

В родительской квартире у Иннокентия в Купчино оказалось много книг, пустой холодильник, большая кровать и старая кошка, которая сдавалась вместе с квартирой добрым людям, пока хозяева отсутствовали. Родители величали кошку Марфа, но Иннокентий сказал, что всегда звал ее Масяня.

Наверное, в молодости Масяня была пушиста, но сейчас облезла то ли от старости, то ли от скарденности квартиросъемщиков, экономивших на ее пропитании, невзирая на просьбу хозяев кормить кошку хорошо и покупать витамины, за что те снимали с постояльцев необходимость платить коммунальные платежи. Однако суммы в квитанциях все увеличивались, а питание Масяни все ухудшалось и, наверное, совсем сошло бы на нет, если бы хозяева, освоившие современные технологии, не просили жильцов время от времени показывать им кошку в скайпе.

— Совсем спятили, что же с собой ее не взяли, — ворчали жильцы, не зная, что им досталась кошка-путешественница с неспособным к адаптации организмом.

Сразу по прибытии в жаркую страну она легла на пол у входа и упорно не покидала выбранного места несколько месяцев, молчаливым укором выражая свое несогласие с переездом. Кошка худела, хирела, разучилась мурлыкать и урчать днем, зато душными ночами взяла моду тихонько подвывать с тоской волка, жалующегося на жизнь среди заснеженных среднерусских равнин.

Вызванный ветеринар не нашел у кошки ничего, кроме тоски по дому, которую и у людей-то неизвестно как лечить, что уж говорить о животных, и предложил усыпить ее, если она мешает хозяевам. На семейном совете было принято другое решение, и в одну из командировок Иннокентия кошка вылетела вместе с ним обратно в Петербург.

Неизвестно, чем закончилось бы возвращение на родину для Масяни, если бы Иннокентий не приехал вновь — на этот раз надолго. Вероятно, сам того не зная, он спас Масяню второй раз — так же случайно, как и в первый, когда был в гостях у однокурсника и, выйдя из дома, услышал как возле мусорных баков пищит котенок. Он рассчитывал, что котенка услышит и вызовет вышедшая из соседнего подъезда девушка, но она только оглянулась и еще быстрее пошла прочь. Пришлось ему засучить рукава и отодвигать старый телевизор, венчающий зловонную кучу, завалившийся на бок и уже почти придавивший котенка.

Теперь своей плешивостью и приверженностью петербургскому духу кошка и впрямь стала напоминать мультипликационную героиню его юности — девицу Масяню. Разве что шуток не понимала.

Масяня потерялась о ногу Иннокентия и устала на Ию с подозрительностью опытной пенсионерки, но, поскольку привыкать к новым людям ей было не впервой, вскоре перестала обращать на нее внимание.

Они скрывали от Папочки переезд Ии в Купчино, но недолго.

— Это я вас познакомила, дважды, вернее, моя печень, — гордилась Папочка и поглаживала правый бок, будто сообщая давно зарубцевавшемуся шраму приятные известия.

После защиты диссертации был банкет, на котором Ия с интересом приглядывалась к новому для нее миру — не медицинскому, миру загадочных людей — *гетеросексуалов*.

Она уже знала, что большая часть в ней тоже принадлежит этому миру. Та непохожесть, та страсть, что была в ней заложена маленькой толикой, — какой, может быть, присутствует, но не проявляется в других людях, — расцвела пышным цветом на целых десять лет жизни. Не осталась на задворках сознания, а вырвалась на волю при благоприятном случае, объяла пламенем и прогорела, оставив горсткой пепла, из которой сейчас рождалась новая *обычная* жизнь, которую, оказывается, так легко потерять и так сложно заслужить обратно.

Мужчины из профессорско-преподавательского состава подавали ученым дамам бокалы, приобнимали за плечи и подвигали стулья. Дамы делали вид, что не замечают политеса, и украдкой смотрели в зеркальца, чтобы проверить на месте ли стратегический слой пудры. Ия чувствовала себя, как если бы оказалась на трапезе марсиан, но она и сама хотела стать марсианкой. Тянуть фиолетовые щупальца за десертом, расправлять под платьем шершавый хвост, закатывать к высокому потолку с лепниной все четыре тщательно подведенных глаза с густо накрашенными ресницами и кокетливо протягивать изящную когтистую лапку вон тому альфа-самцу, на которого украдкой глядят все остепененные дамы.

На том банкете Иннокентий, разговаривая с коллегами, невзначай сказал про Ию:

— Да вы у жены моей спросите...

Женой она тогда еще не была, но вскоре стала, и произошло это буднично, как само собой разумеющееся, без помпы и стечения родственников, которых не стали обременять поездкой в Петербург через границы.

Перед регистрацией в районном ЗАГСе больше всех нервничала свидетельница: платьев у нее не было, а явиться в брюках казалось неуместным. Иннокентий сказал, что ему все равно, в каком виде Папочка предстанет на церемонии и скрепит их союз своей подписью, главное: не опаздывать. Для ободрения он даже нашел в интернете и показал Папочке старую фотографию легенды петербургского рока Виктора Цоя, стоящего на ковре Дворца бракосочетания в белых кроссовках. Та кивнула головой, но нервничать не перестала.

В фойе ЗАГСа свидетельница появилась в странной черной юбке, обвисавшей спереди большими складками. «Ку!» — присела она, не дойдя до открывших рты брачующихся десяти шагов.

— Юбка превращается, превращается юбка..., — таинственно сообщила Папочка, размахивая букетом, как банщик веником. Складки раздвинулись, обнаружив широкие восточные шаровары. — И овцы целы, и волки сыты. Штаны-афгани — мода года для уродов. Я ради вас и глаза накрасила, первый раз в жизни!

Регистрация прошла быстро и не запомнилась ничем интересным, кроме того, что свидетельница утирала слезы тыльной стороной ладони, смазывая с глаз тушь, как будто забыла о том, что женщины с накрашенными глазами не плачут.

Жизнь со штампом в паспорте мало чем отличается от жизни с пустующим разделом «Семейное положение». С одного берега реки другой всегда кажется более привлекательным, но, стоит переплыть или перейти реку вброд, понимаешь, что они одинаковы.

С Иннокентием, как когда-то с Папочкой, ее жизнь сложилась полотном из пазлов. Каждый изгиб одной черты ее характера повторял его изгиб, а еще была постель, в которой Ия незаметно сама для себя перебралась спать к стенке. Раньше она ложилась только с краю, где было больше свободы. Ей казалось, что у стенки пространство сомкнется, и она задохнется — не от отсутствия воздуха, а от собственной внутренней паники.

Она и не заметила, как муж сместил ее к стенке, и только через несколько недель спохватилась, что одно из незыблемых жизненных правил нарушено. Ия осторожно повернулась на бок и, прижатая к стене, чувствовала, как подрагивает во сне его тело. Было горячо, тесно, но воздуха так много, будто рядом настезь открыто окно.

По ночам, когда Иннокентий уже спал, она глядела на пятна света от въезжающих во двор машин. Машины появлялись редко, в поисках свободного для сна места двигались медленно, а потому и полосы ползли по стене, не торопясь, выхватывая сначала мелкие бутоньерки с розами на обоях, потом Ию, лежащую в странной для сна позе — на спине с согнутыми в коленях ногами, и с подушкой, засунутой под пятую точку, затем Масыню, которая по-прежнему мучилась бессонницей, но теперь тихо, и глядела слезящимися глазами в темноту как в вечность.

Иногда тени складывались на стене в причудливые узоры, как в детском калейдоскопе. Тогда она пыталась гадать по ним, скорее придумывая, чем угадывая, символы. Фантазия рисовала ей пещеру Платона, в которой сидела она, древняя женщина, и пыталась постигнуть суть вещей, но видела лишь тени того, что человеку не дано познать. Впрочем, однажды она все же сумела сложить из теней стоящего на подоконнике куста каланхоэ, спинки стула и двух подвесок старой люстры, соединившихся вместе, маленького человечка. Пару секунд он постоял на потолке, а потом поплыл в угол, где тускло светились глаза Масыни, но, не дождавшись знакомства с ней, вытянулся в полоску, развалился и исчез.

Зато через пару недель появились две тонкие полоски на тесте, который Ия покупала каждый месяц в аптеке. Они никуда не исчезли, а напротив, стали совсем четкими, когда тест окончательно высох.

Узнав новости, Папочка опять плакала, благодарила свою печень и немедленно купила в подарок ползунки: желтые с пчелкой на случай появления девочки и сине-бело-голубые с символикой футбольного клуба «Зенит» для мальчика.

Желтые Ия убрала, а голубые спрятала под подушку, доказав тем самым, что суеверию беременных все возрасты покорны. Теперь она совсем плохо спала из-за растущего как на дрожжах живота, все смотрела по ночам на тени платоновской пещеры и скользила рассеянной мыслью по бесконечной восьмерке одинаковых для всех беременных дум.

Значок «Зенита» ее немного печалил. Но ведь не все мальчики ходят на футбол, а потом триумфально текут улюлюкающей толпой по улицам, переворачивают урны в скверах и наполняют проходные дворы и дворы-колодцы Петроградской стороны стойким запахом мочи, который еще несколько дней висит над районом как визитная карточка футбольного бренда Петербурга.

— Посмотрите, какой большой у него кулак! — сказала врач, рисуя пируэты на тугом животе Ии палочкой УЗИ-аппарата.

— А если у нее? — не поверила Ия.

— Да вы что! Такой кулак может быть только у него. Вы сами посмотрите.

Черно-белое изображение монитора, выведенное на большой настенный экран, показывало живой океан, как на планете Солярис. Океан и мальчика с кулаками ей записали на диск, который трижды смотрел Иннокентий, и каждый раз, приходя в гости, Папочка. Она приносила погремушки, пирамидки, мячики, машинки и, зная, что Ия суеверно и категорично против заранее сделанных детских покупок, вручала их Иннокентию при входе, а тот прятал в

самодельный шкаф между дверей, где лежали старые родительские вещи и куда Ия никогда не заглядывала.

Когда все щели между коробками были заполнены, пришлось сделать то, до чего не доходили руки ни у одного члена его семьи, — Иннокентий разобрал шкаф и освободил место для преждевременных даров Папочки, сложив их в старые коробки для конспирации.

— В последний раз, — заговорщицки шептала Папочка, всовывая ему в руки очередную машинку. — Нет, ну ты посмотри, если на кнопку нажать, сирена завоет, как было не купить! Ой, только не нажимай сейчас. Услышит же! Вот подрастет, и подарите.

Последний раз оказался предпоследним. Иннокентию пришлось вновь, чертыхаясь, запихивать на узкие полки междверного пространства что-то уж совсем большое, в неудобной квадратной коробке.

Теперь, приходя в гости, Папочка долго сидела у них на кухне и, когда все темы для обсуждения были исчерпаны, говорила о какой-то совсем уж ерунде, только бы не уходить, а на прощанье просила еще раз показать диск с ребенком.

Вскоре Ию положили в родовое отделение в старинное здание, именуемое в народе «Снегиревкой», она тосковала и не отходила от больших окон в ожидании Иннокентия или Папочки, а когда они не должны были появиться — в ожидании ожидания.

Иннокентий приходил два раза в день, до работы и после, два раза в неделю — Папочка. Ей все казалось, что Ию плохо кормят, поэтому с собой она несла пакеты, доверху набитые продуктами из соседнего универсама. Ия честно пыталась их съесть, но на смену одному опустошенному пакету приходило два новых. На помощь пришли медсестры отделения, которые через неделю вошли во вкус настолько, что уже заказывали необходимые роженице пирожные, сырокопченую колбасу и шампанское.

Однажды днем в животе у Ии произошел хлопок, и тут же что-то тяжелое будто упало вниз, она испугалась, легла набок и попыталась сделать вид, что ничего не произошло. Но по ногам заструилась вода. Забегали медсестры. Прибежали врачи.

Ее вели по коридору, а ей все хотелось присесть и отдышаться, потому что штопор, начинающий закручиваться в плоть где-то в пояснице, через пару секунд выкручивал все тело.

На ноги ей надели белые мешки, и все время кричали про давление. В дверях замелькало лицо Иннокентия, Ия принялась махать ему руками, как утопающий, и, когда он очутился у кровати за ее спиной, попросила то, что зарекаются просить все женщины до родов и обязательно просят, рожая:

— Эпидуралка!

Но делать спинной наркоз было поздно, она впивалась ногтями в запястья Иннокентия и в минуты передышки, которых совсем уже не оставалось, думала, зачем она вообще все это затеяла, ведь жила же спокойно.

Потом время перестало существовать, и остался только штопор и передышка, штопор и передышка. Она пыталась представить себе хорошенького ребеночка, который прорывается наружу и ему нужно помочь, но вместо ребеночка из нее выкатывалась огромная бездушная дыня, шершавая и продолговатая настолько, что никак ей было не вылезти.

Остаться внутри дыни не желала и безжалостно проталкивалась вперед, не считаясь с телом, которое много месяцев вскармливало ее. Лица и звуки слились в круговерть и затягивали Ию словно в воронку, ножка которой по-

прежнему вырастала из нее самой, из спины, из поясницы. Она сама превращалась в эту воронку и не оторваться от земли и не улететь ей помогали только руки Иннокентия, на которых она, как ей казалось, висела, будто на ветвях дерева.

Потом она стала животным, которое в момент рождения детеныша спасает себя, и из последних сил вытолкнула инородное тело наружу.

Время вернулось, встали на места лица врачей и звуки, налились багровым цветом глубокие лунки на руках Иннокентия, который все не отпускал ее, и теперь уже было непонятно, кто за кого цепляется.

Дыня тут же забылась. На ее животе лежал мокрый, странно пахнущий инопланетянин. У него были черные кудри Иннокентия и набухшие как у старичка веки. Он почмокал губами, поводил по потолку бессмысленным взглядом, закрыл глаза и глубоко вздохнул.

— Время-то запишите! — крикнул кто-то, и Ия мысленно отняла от выкрикнутого в ответ времени десять минут, прошедшие в суматохе.

— Богатырь! — сказал другой голос. — Пятьдесят пять сантиметров, четыре двести восемьдесят. Ого-го!

— Не зря так много ела, — пробурчала санитарка, пронесшая к выходу таз с красными ошметками.

Ия попыталась высвободить руки, за которые все еще цеплялся Иннокентий, и подняла голову. Он часто моргал, пытаясь вернуть врачебное самообладание в привычных белых стенах, и растерянно улыбался.

Она попросила телефон и позвонила Папочке.

— Арсением назовите! — радостно закричала в трубку та. — Хорошее имя! Точно тебе говорю, я давно его придумала, но сказать тебе боялась.

— Ага, чтобы его всю жизнь Сеней звали. Никогда! Ладно, я перезвоню, — сказала Ия, прерывая ответные возгласы.

— Мы заберем его у вас на одну ночь, а потом отдадим на всю жизнь, — сообщили врачи, но в тот же вечер она встала с кровати, доковыляла до закрытой двери детского отделения и нажала на кнопку звонка.

Дверь не открывали, но и она не отпускала палец. Перебудив дежурных врачей, Ия забрала туго связанный белый кокон в свою одноместную палату, устроила высокое ложе из подушек и до утра смотрела, как дышит сморщенный красноватый бог. Она старалась запомнить, запечатлеть себя в этом мгновении.

Бог в белом коконе тут же распространил на Ию свои привычки, и она беспрекословно подчинилась ему. Когда он спал, дремала и она, когда просыпался и начинал канючить, она заводила выученную колыбельную, а когда был голоден, багровел и заходилась требовательным ором, она рвала на груди рубашку и виновато пихала ему в рот клычок розового соска, быстро превратившегося под напором младенческих десен в коричневый и шершавый.

Из-за объявленного карантина посетителей не пускали. Иннокентий стоял под окном и разговаривал с ней по телефону. Обсуждали они то, что теперь, после благополучных родов, требовалось срочно купить — кроватку, ванночку, соски... Он был бледный и какой-то потерянный. «Зря он на роды пошел, — думала Ия. — Ни к чему это мужику... И в больницу тоже зря».

Уже два месяца он работал в своей прежней Валериановской лечебнице, но, стараниями блистательного гастроэнтеролога, не на прежнем расстрельном месте. Больница находилась недалеко от Снегиревки, поэтому даже тогда, когда его долго не было, Ия говорила себе, что он совсем рядом.

Стандартные пять дней в роддоме ребенок перекроил в сто двадцать часов

сна и кормления, не оставлявших места для мыслей о бледном Иннокентии и Папочке.

Перед выпиской, проходя по коридору мимо сестринской, она услышала разговор за приоткрытыми дверями.

— Какой ужас! Прямо рядом с нами, прямо вот тут, почти за углом. То ли футбольные фанаты, то ли гопники...

— А еще скинхеды есть и эти, как их, казаки...

— Ну, может, обычные хулиганы...

— Да, вот так вот пойдешь с работы вечером или утром со смены, темно еще когда...

— Так не поймали?

— Да нет, разбежались, говорят, одну битку нашли. И это в двух шагах от Невского!

Ия заглянула и попросила помочь ей красиво запеленать ребенка перед выходом. У нее пока, как она ни старалась, получалось подобие шотландской юбки вместо тугого аккуратного свертка.

— Подруге вашей привет передавайте! Уж так она старалась, что полроддома накормила! Молодому отцу — поздравления, а вам с малышом — здоровьица, — напутствовала ее крупная веселая блондинка, вызвавшаяся помочь.

Дома возле купленной Иннокентием детской кровати были разложены машинки, мячики, пирамидки, делавшие комнату похожей на игрушечный магазин.

— Зачем ты накопил столько? — опешила Ия.

— Это она. Теперь можно, — сказал Иннокентий, странно сморщился и шмыгнул носом.

— А она когда успела? Пропала куда-то... Я звонила, трубку не берет. Из-за имени, может быть, обиделась. Что с тобой?

Положив ребенка в кроватку, Иннокентий сел рядом, обхватил голову руками, а потом схватил одну из машинок.

— Смотри, смотри, вот эта машинка с сиреной. Если нажать на кнопку, она завоет... Я ничего не мог сделать, понимаешь? И никто не мог. Ее сразу к нам привезли, там ведь рядом. Нейрохирурги сразу, все сразу... Но битами же по голове. Ничего не могли... Она к тебе приходила, поздно, после меня уже, а вы спали. Я у врачей спрашивал, ее не пустили, карантин. Третье окно от угла, на втором этаже — я ей сказал. Она мне потом перезвонила, спят, говорит, света нет, постою и пойду... Навстречу шесть бугаев с битами. Двое прохожих в арку забежали. Вспомнили, те кричали: Петербург не для гомосеков, про бабу переодетую что-то. Следовательно говорит, ни при чем это. Они просто думали, что она — парень. Но тогда за что?

«За что?» — опять повторил он, боясь взглянуть на Ию и оттого спрашивая будто у машинки или детской кровати, в которой причмокивал губами ребенок, уже проснувшийся и ждущий кормления.

* * *

— Папа, а если Земля круглая, почему наш город такой длинный? — озадачил Иннокентия сын.

— Понимаешь, — начал он, на ходу придумывая объяснение. — Земля намного круглее, чем наш город, длиннее. Понял?

— Не понял, — уставился на него мальчик.

Иннокентий задумался и хлопнул себя по лбу. На полках между дверей он долго отодвигал пакеты, обувь и ящики со старыми игрушками.

— Вот! — вытащил он пыльную коробку. — Как я мог про него забыть!

— Что это? — вышла с кухни Ия с толстой поваренной книгой под мышкой. Уже пять лет она училась готовить, но кулинарное чутье ей по-прежнему заменяли четкие инструкции и картинки.

Иннокентий раскрыл коробку и достал глобус.

— Ого! — воскликнули в один голос мать и сын.

— Откуда он? — спросила Ия и осеклась. В этот самодельный шкаф они убрали пять лет назад все купленные Папочкой игрушки, а потом дарили их сыну, без повода.

— Это последнее, — коротко ответил Иннокентий и принялся объяснять про расстояния.

У глобуса оказался еще и шнур, а внутри лампочка. Он светил в темноте, когда в кровать к ним перебрался мальчик.

— Ты еще не спишь, Арик?

— Мама, покажи мне бабочку, — попросил он. — И еще ежика.

Ия заморгала ресницами, приблизив их к его щеке — бабочка на цветке садится, а потом часто и горячо задышала в ухо — ежик приюхивается к яблоку.

В эту ночь Ия выглянула на улицу, где на белом снегу топтался Папочка. Она и во сне помнила, что подходила к окну в роддоме и видела его, но свет в палате был погашен, ребенок спал, и он вполне мог прийти завтра. Как и тогда, Папочка не решился позвать ее. Он ждал, ждал, ждал и, наконец, медленно пошел прочь. Рядом с ним бежала Норма, как всегда бочком, то обгоняя, то возвращаясь. Чуть поодаль топтались Понтий и Люсьен, они махали Папочке, звали к себе, а он остановился, обернулся к ней и все смотрел и смотрел в темное окно, не зная, что в глубине комнаты светится теплым светом маленький земной шар, на котором рассматривает континенты не спящий Сеня.

Иннокентию снилась гудящая сиреной детская машинка, которая неслась по городу, вырастая в размерах и превращаясь в большую машину, везущую людей, которым он хотел бы помочь, но не мог.

Арсений, наконец, заснул, и всю ночь ему снилась планета Земля, на которой растянулся такой длинный и такой крошечный город Петербург.

Анатолий Марущак

Обереги

С украинского. Перевод автора

Юг Украины — особый край! Здесь лавой летели казаки, дефилировали регулярные войска, многотонные корабли терялись в гирлах Днепра. Когда-то Григорий Потёмкин хотел сделать Херсон столицей Российской империи... Но херсонский край так и остался двуязычным, отзывчивым на новизну и «самовитое» слово! И светит по ночам приманчиво и указующе Млечный Путь, или, как его называют на юге, — Чумацкий Шлях.

Анатолий Марущак — очень известный журналист, но при этом поэт с афористичным и красочным языком! Язык — наше всё. У Анатолия — чистейшая украинская и чистейшая русская речь. Чумаки, ездившие в Крым за солью, оберегаясь от чумы, мазали одежду дегтем. Подобно чумацкому дегтю, хорошо очищенный, смолистый дух родного языка надежно оберегает от чумовых поветрий времени. Теперь о другом. Зачем переводить себя с родственного языка на родственный? Скорей всего затем, чтобы в бурях новых украинских реалий понять: можешь ты еще погружаться в стихию русского языка или нет? «Чужая речь мне будет оболочкой», — этот мандельштамовский образ стал для Анатолия частью пути и жизни: варясь в украинской буче, он бережно сохраняет воздушную оболочку чужого (а когда-то почти родного) языка. Перечитывать свою душу по-русски современному украинцу нелегко. Анатолий Марущак делает это с блеском! При этом ничуть не утратив своей южно-украинской сути... Светят глаза ночных птиц, и оседает пыль. Все так же висит над степным краем Чумацкий Шлях! И истории под ним можно сплести разные. А после историй срывающимся голосом переходить на стихи...

Борис ЕВСЕЕВ

* * *

Столько ночи во мне,
Что и утро уже не спасает.
И под медью монет
Почернела глава от Исайи.

По карманам корма
Распихала старуха, как в урны.
Зашатались дома
У реки на бетонных котурнах.

А течение травы
Развернуло дорогу на запад,
На дожди перерыв
Облака объявили внезапно.

Растерзали фасад
Батальоны настенных растений,
И растерянный сад
Всеми лозами ухнул в простенок.

Марущак Анатолий Петрович — поэт, журналист. Родился в 1953 г. на Украине, в г. Шахты Ростовской области. Окончил филфак Одесского университета. Автор 14 книг прозы и поэзии. Лауреат литературной премии им. Николая Кулиша и поэтического вернисажа «Розы и виноград». Заслуженный журналист Украины. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Херсоне.

Воздух здесь нарасхват,
У акации порваны жилы,
И дорогу в свой ад
Мы грехами давно заслужили.

Ждать до встречи чуть-чуть!
С Воскресеньем Христа, за субботой,
От дворцов и лачуг
Приоткроются в небо ворота.

Одолень

Оберег берегов — одолень
Камышам обветшалым по пояс.
День ударил копытцем олень
И увёл по лучу к водопою.

Ода водам реки — одолень,
Откровений таинственный воздух,
Белых лилий июньская лень,
Крик звезды, что разбилась о воду.

На русалку смотрела вода,
А она в отраженье небесном
По ночам под водою — вдова,
На рассвете — речная невеста.

Чумацкий шлях

Чумацкий шлях. Херсонский шлях.
И дни, и ночи на волах
Из Крыма едут чумаки.
Им звёзды, словно маяки.
В песках, под скорбный скрип колёс,
Степь за собою тянет воз.
Не скоро ран утихнет боль,
С души и с тела схлынет соль.
От Польши и до южных хат
Не всех вернёт чужой закат.
Но вновь пойдут через пески
К солёной жизни чумаки.

* * *

Вечер. Чистый четверг. На сносях музыкальная четверть.
Неподвижные окна выходят во внутренний двор.
Тишину не разрубят ни меч, ни кривое мачете.
Тишиною наполнен соседей пустой разговор.

А распластанной рыбе в речной водоём не вернуться!
Юный палеонтолог её изучает костяк.
И когда соберутся все гости, как будто в кибуце,
То не будет она о судьбе голосить при гостях.

* * *

Уплывает на пасеку капля пчелы на мелиссе,
И с бесстыжого дерева дерзко сползает кора.
Почему-то в Тбилиси мои возвращаются мысли.
Так Арагви в объятья свои принимает Кура.

Собираются чайки делить поднебесную сотку,
Крылья ворона чётко очертят положенный круг.
Из-под пальцев бегут в темноту подневольные чётки
И с собою берут теплоту обессиленных рук.

Ветка солнечный зайчик с обеда гоняет по сетке.
Окна просят приюта у нового дома в тени.
И напрасно глаза собирают степные рассветы,
Знаю: в карих очах обернутся ночами они.

* * *

Покривила душой	На холёный арбуз
Тропка, грязью испачкалась.	Смотрит розовым смайликом.
Небо под камышом	
Село жирною крачкою.	Кукурузный пароль
	Ветры переозвучили.
Сом наживку нашёл	Учит главную роль
Под рыбацкую присказку	Огородное чучело.
И поплыл нагишом	
На базар голопристанский.	И стоит над рекой,
	Не бранясь, не юродствуя,
На бахче перегруз.	Человек городской,
Скибка в пальцах начальника	Как заевшийся родственник.

* * *

Погоня. Погоня. Домчался до края,
Где радугу небо согнуло в дугу.
Я даже не знал, от кого убегаю,
Но хуже — не знаю, куда я бегу.

Последнюю фразу не сразу и вспомнишь,
В напрасной беседе по горло завяз.
Ударило громом, как дверью, наотмашь,
И вязы с землею утратили связь.

Я в мире жестоком, где око за око,
Мосты за собою и рушил, и жёг.
Хоть был и умней простоватого волка:
Не смог испугать меня красный флажок.

Рекой-бороздой горизонт замаячил,
За финишной лентой дороги конец.
Я через границы поплыл наудачу —
Ещё не изгнанник, уже — не гонец.

И кинулись в ноги туманы напрасно.
Я даже следов не оставил врагу.
Опять от кого-то на время я спасся,
Но снова не знаю, куда я бегу.

Елена Скульская

Снег пританцовывает на батуте

Рассказы

Родная кровь

Я все плачу и плачу. Снег состоит из одной мякоти. А так хочется чего-нибудь погрызть. Я вижу камфорный свет в окне напротив. Женщина стоит и разбрызгивает кровь: режет мясо.

— Кого ты убила? — спрашивает ее муж, вступая в свет. Нижние веки его оттянуты книзу — голубые высохшие желобки вокруг красноватой мякоти глаз. В таких желобках могут найти приют каракулевые каракурты со своими черными вдовами. Женщина свежует кролика, и он ее боится. Он знает про кролика, но все равно боится.

— Не валяй дурака, — говорит она ему, — это как убить огурец!

...Снег пританцовывает на батуте ежовой рукавицы ели. Балетный голос куклы Тутси, крещенной в цирковой купели, доносят утки на рассвете, когда идут кусать морошку, дрожащую в обмокших листьях, и этот голос снится крошке, засунутой в лукошко мамой и выстуженной на окошке...

Моя сестра, Оля-Олененок, лежит в снегу. Она выбросилась из окна одиннадцатого этажа. Она лежит в снегу, а я уже здесь — я ведь всегда, всю жизнь рядом — кусаю влажный лоб сугроба. А она — смотрит и смотрит на камфорное окно дома напротив, потом успокаивается. Из дома выходит собака, подвывая.

Если бы собака меня заметила, она бы меня пожалела и принесла мне немного еды. Но я бы не взяла. Я бы осталась стоять перед моей сестрой Олей-Олененком на коленях в талой рытвине.

Я себя всегда наказываю голодом. Я ничего не даю себе есть, хоть голод смертельный... И так каждый раз. И так каждый раз. И никто никогда не узнает.

Никто ничего не знает. Дома гости сидят за столом на кухне. Они еще празднуют рождение мальчика, пьют вино из высоких бокалов. За Олю-Олененочку, за мою сестру, за ее мальчика, за новорожденного.

Дядя Костя кричит:

— Какой же русский не любит Страстную пятницу?!

А Арнольд Викентьевич выпивает и шевелит в воздухе двумя пальцами-усиками и находит колбасу и только тогда добавляет:

— Не случайно друга Робинзона Крузо звали Пятницей. А потом убили.

Еще утром Оля-Олененок меня спрашивала:

— Лада-Оладушек, сестра моя, где же мой ребеночек? Где мой мальчик?

Я в ответ:

— Не имеет значения! — и стою в дверном проеме, как в раме... Снег пританцовывает на батуте ежовой рукавицы ели...

Ей дали отдельную палату в роддоме за то, что я давала клятву Гиппократу. На одиннадцатом этаже.

— Лада-Оладушек, сестра моя, где мой ребеночек?

— Не важно!

Вечером, когда все ушли, только в доме напротив горел как всегда свет, к моей сестре зашла в палату моя медсестра Вера, стряхнула крошки с тумбочки, пригладила салфеточку и протянула свидетельство о смерти:

— Подпишите, кстати.

А в прозекторской вскрыли мальчика и ничего не нашли.

Оля-Олененок, сестренка, не подходи к окну, не надо!

Оля-Олененок, одиннадцатый этаж. Я стою перед ней на коленях в талой рытвине. Я рыдаю и вою и кусаю до крови свою перчатку. И снег, страшный апрельский снег крыльями бьет по глазам, запорашивает глаза белыми перьями. Зачем, зачем я это сделала? Сестренка, Оля-Олененок, и маленький мальчик.

И вот уже дома мама, наша с Олей-Олененочком мама, и дядя Костя и Арнольд Викентьевич, все сидят на кухне, поминают. И хорошо до слез.

— Пыж, дай мне пыж, без пыжа нельзя! — кричит мама и ставит рюмку для моей сестры Оли и маленького мальчика, которому не успели дать имя, и дородная серебряная селедка веселится и поблескивает у нее на хлебе.

Купина

Когда ему отсекли голову, он еще приподнялся чуть-чуть на локте, и срез шеи оказался новым лицом. Это новое лицо, как спил дерева, могло все рассказать о прожитой жизни. Он приподнялся на локте, подался вперед, в смерть, а пришлось жить с новым лицом, которое образовал срез шеи. Пришлось жить с новым лицом несколько долей секунды, чтобы рассказать обо всем, что было раньше, пока его лицо не стало обойденным, словно лицо змеи. Он ведь теперь мог только ползти, как упавшее дерево, вылезая из своей кожи, будто ствол, отобранный в мачты. Так и змея вылезает из своей кожи, оставляя на ней, на старой, даже свои веки, а новые не успевают нарасти за ту четверть мгновения, которая осталась на всю другую жизнь. Это было давно, ему тогда отсекли голову, и он приподнялся еще на локте, словно собирался куда-то ползти, вылезая из кожи, освобождаясь от ветвей, от шороха, от звука, от солнечных прядей, падающих на глаза.

Это было давно, он все-таки стал деревом, не змеей, он стал гладкой серой сваей, стоящей рядом с другими в карамболе — ударяясь и отталкиваясь в

волнах. Он стал сваей в венецианском канале, где сваи, как свободные одноногие кавалеры, кладут друг другу руки на плечи и топчутся мрачно в воде, опустив головы. А сабо гондол притоптывают по вощенной глади воды и не спешат к сваям, потому что дорожат своей легкомысленной свободой и дают обет безбрачия. А его листва, чудесная листва его покрыла потолок палаццо, и в потолке этом могла заблудиться любая птица. И женщины, запрокидываясь, как запрокидывается дорога, падали навзничь и плакали в этой листве, утираясь кружевами.

Нет, он все-таки стал змеей, и чешуя его сделалась булыжниками мостовой, окружившей, взявшей в кольцо город. Он сдавливал ворох домов, взбивал свое гнездо, где к нему по ночам приходила самка в черном капюшоне и пела, шипя и позвякивая браслетами. И шипело мясо на черной сковороде, словно негр прижал свою руку к огню и не в силах теперь оторваться. И с шипеньем падала в воду отсеченная голова, прижигая каленую рану водой.

Квартирант

Вечером я думала: мне подарили обыкновенную репчатую луковицу. Такие ставили в моем детстве на подоконники. В стакане, в мутнеющей воде, плавали их вялые, полиомиелитные ноги. А сверху, из шелушащегося, обмякающего мешка, словно он там втягивал щеки, выбрасывались и стройно напрягались зеленые побеги. Они должны были продолжить путь. Их обрывали на полуслове и нарезали в салат, чтобы дети пережили зиму до первой травы.

Утром зеленые перья подаренной мне луковицы зашевелились, на них дохнул ветер в жаркой квартире. Раздвинулись бедра, разведены были в стороны ноги; ожесточившись, разрывая плоть, полез из луковицы, из ее живородящего, пронзительно-кисло пахнувшего бурдюка, полез головой вперед розоватый, почти лиловый плод. Ему не давали расправить лепестки, он раздувался и рвался сквозь зелень, сквозь слипшиеся ноги, и выплюнул, наконец, себя целиком, разметав побеги и ободрав себе лиловатый бок. Он свесился на стебле и ждал, когда перережут пуповину, и косился на меня, и запах его был столь одуряющ, пронзителен и дик, что я поняла: у меня уже не достанет сил ни воспитать его, ни приучить к порядку.

Я вытолкала его на лестничную площадку.

Он стучал упорной головой в дверь.

— Будет тебе, гиацинт!

Да он мне и был чуть выше щиколотки, но столько сил он потратил на то, чтобы родиться, что не мог замолчать, уйти, переждать где-нибудь холода, я не знаю где, но где-нибудь ведь мог, а подсовывал запах — жалостливее крика — мне под дверь, и у меня шелушились руки, и по дороге в ванную я поскользнулась, и уже лежа в воде увидела: ноги мои надломились, легли на бок, будто они легли на курс и плывут в неизвестные дали.

А гиацинт за дверью сам вырывает из себя стебель и падает, но я уже не слышу взрыва.

— Будет тебе, гиацинт, подожди!

Разбитая чашка

Он покосился на рояль, как иноходец на бегу — откинув оскал вбок. Он увидел белые ровные гладкие ноги сведенных белых клавиш и над ними — ровно подбритую выпуклую полоску черной клавиши. Он дернул удила, и пена выбилась цветком в губах.

У входа в спальню лежал коврик; он встал на цыпочки и долго-долго вытирал ноги, цепляясь гвоздями подков за рядно так, чтобы старые ухнали вылезли, показали тонкие бесполезные шейки, и он бы пошел дальше босиком, неслышно.

Шейки ухналей вылезали — будто зубы вытягивали щипцами, и челюсти подков падали со звоном, — разбилась чашка, которую она поставила у постели, поленившись встать и отнести на кухню, где хлебница стояла, разинув рот.

Когда разбилась чашка, она встала:

— Люди, — сказала она, — притворяются. В жизни притворяются на бегу, кое-как, постыдно. А на сцене притворяются искренне, красиво. Вот стоит арбуз и придерживает за рукоятку нож, вонзенный в живот. Потому что если вытащить нож, то уже никто не поможет, вывалятся косточки все до единой, хлынет мякоть, и поминай как звали.

И она, говоря это, выходит из окна и летит, летит в ожидании промелькания прожитой жизни.

Чайки в чесучовых приморских костюмах прогуливаются возле кромки следственного мела. Во дворе перед домом светит солнце, и воробей пересчитывает песчинки в песочнице. Из распахнутого окна теплый и сладкий, как абрикос, глаз иноходца следит за булыжниками мостовой.

Народу скапливается столько, что полиция и не пытается его разогнать, все равно все следы стерты, все доказательства потеряны, так не лучше ли открыть здесь легкое летнее кафе, пока народу скопилось столько, что все хотят пить на бетонной песчаной заре.

И вот уже первый толстяк валится на стул и кричит:

— Пить! Пить!

И вот уже первый официант подлетает к нему с высоким стаканом, наполненным льдом и украшенным долькой лимона.

— Нет! Уберите лимон, уберите лимон! — воет толстяк.

И первый официант осторожно, будто ему нужно ухватить бабочку двумя пальцами за крыло, бабочку, залетевшую в карман (а он — карманник в трамвае, и никто ничего не должен заметить), — запускает руку в стакан и почти ухватывает ломтик лимона за цедру, но ломтик все-таки увертывается и скользит вниз; официант засовывает всю кисть в стакан, задрав рукав белого пиджака, будто собирается просунуть руку сквозь стекло, сквозь стол, до самого асфальта и, может быть, незаметно что-то подрисовать, как-то оживить контур, в котором ничего не осталось от увезенной прелестницы, вылетевшей из окна в ожидании промелькания прожитой жизни.

Он все еще стоит у окна. Перезревший глаз его слаще абрикоса. Белые гладкие клавиши его зубов умыты пеной. Ноздри его раздуваются в память о запахе, за которым он крался на пятый этаж.

Лед тает, лимон вуалехвосткой зарывается в толщу дна, плывет кверху брюшком и отмахивается от официанта крошечными ручками плавничков.

Лишняя звезда

Марк Анатольевич Драйзер с укутанным горлом шел по берегу моря. На веревке он вел за собой однокрылый рояль, склонный к полету. Золоченные педали, встав на цыпочки, мелко, по-китайски, семенили. Лилипутские клавиши клейко задерживались в воздухе и опадали, не получив свидания со звуком.

Марку Анатольевичу никто не попадался на пути, он шел и шел один к горизонту, изредка оглядываясь и дергая веревку.

Виолончелистка выращивала на гончарном кругу немецкие, крутые бока виолончели; она почесывала их смычком, щекотала струны у горла, и нарзанные пузырьки вырывались изо рта, просверленного в ее голове, венчающей инструмент.

Марк Анатольевич остановился передохнуть и привязал рояль к лишней, упавшей звезде.

По берегу шла чайка с выпяченной целлулоидной грудью и брала скрипящие, несмазанные ноты.

Марк Анатольевич Драйзер натянул на руки черные вязанные перчатки и, чуть пригнувшись, шаг в шаг двинулся за птицей.

Чайка подпрыгнула, посуетилась белым крылом и снова пошла.

Марк Анатольевич лег и, опираясь на локти, пополз, волоча за собой тяжелые, ненужные ноги.

Птица посмотрела на небо, потянулась к нему, потом взобралась на прибрежный валун и снова примерилась к небу.

Марк Анатольевич был уже совсем близко. Он резко выбросил руку из-за камня, схватил птицу за ноги и дернул на себя.

Чайка огрызнулась, попыталась вырваться, ударила Марка Анатольевича по руке с такой силой, будто сам Господь Бог хотел вернуть себе данный Марку Анатольевичу Драйзеру дар пианиста.

Скрипачи со свернутыми на бок шеями столпились у камня. Валторны захлебывались нарзаном, и звук, изнемогая, зарывался в песок.

Чайка била и била по руке; Марк Анатольевич не отпускал ее. О, как хотел он ее отпустить. И рука его была давно разжата. Но лапы птицы запутались в перчатке, в скрученных шерстяных нитях; птица пыталась высвободить лапы по одной, она переминалась, всплескивая по-бабьи крылами, но крепко были связаны залитые кровью перчатки, как, кстати, и шарф, которым было укутано горло Марка Анатольевича, избегавшего ангина.

Теряя сознание от боли, он все-таки сжал изуродованную руку в кулак и поднял птицу — зная, отнятое у мертвеца. Марк Анатольевич размахнулся и расплющил голову чайки о камень. Вырвал ее лапы из перчатки и приложил горячую безнадежную ладонь к прибрежному холоду.

Пиррова победа! Косо, как косой дождь, уже бежали к нему двое, склоненные к полету в неудобных позах, прижимая правыми руками дубинки к бокам...

Весной

Первым к профессору входит неопрятный, с плохо перерезанными венами Алексей Кириллович Теплаков. Он говорит:

— Поймите. Я прихожу домой. Жена, двое детей. Жена повесилась в коридоре. На груди табличка: «Это тебе, Алешенька!» Ну, повесилась и повесилась, я к этому давно притерпелся. Так нет же, непременно какой-то сюрприз. Входишь в дом, в коридоре, рядом с ней, стрелка масляной краской — через кухню, через две комнаты — пока не выйдешь опять в коридор к ней же, к ее же табличке. Значит, входишь, огибаешь ее, идешь по всей квартире, опять к ней возвращаешься. А иначе быть беде, конец всему...

Профессор Густав Арнольдович Сыппь, седой, что называется соль с перцем, отвечает Алексею Кирилловичу Теплакову:

— Во-первых, будем говорить красиво. Моцарт и Сальери. Тут все дело в латентном гомосексуализме. Который всеми своими недюжинными подсознательными силами тянет растерянного полусонного еще Сальери к объекту своего вожделения — Моцарту, а тот, тоже еще не догадываясь о причинах их умопомрачительной дружбы, в безумии безрассудного взмахивает крылышками своего фрачка на манер бабочки-однодневки, на манер пошлой капустницы, а то и не во фрачке, а так — в камзольчике вполплеча, зеленом, лиловом, в цветах... О, — стонет профессор, запрокидываясь на своем вертящемся стуле так, что почти падает навзничь — видит замазанное белой краской стекло в окне и продолжает, — о, какая мука трогать пальцами его партитуру и, облюбовывая, обсасывая вишневые косточки его нот, вдруг, в одной шестнадцатой различить ту страшную проволоку, что прошла насмерть синусо-предсердный и предсердно-желудочковый узлы центрального органа его кровеносной системы...

В это время Алексея Кирилловича Теплакова приходит проведать его жена — Марья Степановна Теплакова. У нее котлеты, завернутые в полотенце, чтобы не остыли. Голубцы особо в бледной, измученной капусте.

— Профессор, — говорит Марья Степановна Теплакова, — он всегда танцует на моих поминках. Обещает, что не будет танцевать, а потом танцует. Я ему стрелочки рисую. Пусть пойдет, посмотрит, как я все убрала, вылизала, привела в порядок, сработалась, состарилась за жизнь с ним. А он за один день успевает оформить все документы, место на кладбище без подселения, поминки. Сделал дело — гуляй смело!

— Послушайте, — отвечает Густав Арнольдович Сыппь, седой, что называется соль с перцем, он подходит к окну, замазанному белой краской и начинает очень осторожно проковыривать ногтем дырочку; ему кажется, что окно в мир треснуло и его залепили гипсом, чтобы срослось, но стекло чешется под белой гипсовой целебной краской, ему душно, стеклу, оно видит только двор, но не имеет возможности наблюдать за тем, что творится в палате. — Послушайте, Марья Степановна, Моцарт часто бывает пьяным. Но в присутствии Сальери он старается не распускаться. Он страшится неизбежного. Поймите, Моцарт никогда бы не написал «Реквием», если бы не знал, что любовь Сальери его погубит. Он знал, что один из них должен умереть. Он умер, чтобы его возлюбленный остался жить.

— Что вы говорите! — отвлекается от своего горя Марья Степановна. — Моцарт был маленького роста, рахитичный, слабый, голубоглазый. Не жилец!

— И Пушкин был маленький, — вставляет Алексей Кириллович Теплаков, ее муж, который ест голубцы, а котлеты оставил на потом, потому что голубцы вызывают у него особое — вялое, смиренное, почти блаженное отвращение к жене — Марье Степановне Теплаковой; а все началось с того, что она со дня свадьбы говорила «Бог», именно «Бог», а надо говорить «Бох», «Бох». — А Дантес, не будем забывать, француз.

— Французское в любви к этой истории не имеет никакого отношения, — замечает Марья Степановна и понимает, что в присутствии профессора ничего больше сказать своему мужу не может.

А профессор уже проковырял крохотную дырочку в белой краске и теперь приник к ней, как к замочной скважине, он вообще всегда был равнодушен к замочным скважинам, даже там, где были стеклянные двери, он любил наклоняться и подглядывать за событиями через замочную скважину. Он оглядывается на пациента и его жену и говорит примирительно:

— Рост в любви вообще не имеет ни малейшего значения. Это доказано всей медицинской практикой.

— Неужели мне придется покончить с собой, чтобы меня услышали?! — плачет Марья Степановна, и на ее щеке набухает привычный след от веревки, он чешется, и Марья Степановна начинает его расчесывать так, что слюна скапливается в ее рту от позорного удовольствия.

— Не волнуйтесь, — обнимает ее за плечи профессор, — оторвавшись от своего крохотного просвета, — у нас вся группа суицидная, все в порядке.

Неопрятный Алексей Кириллович Теплаков рассматривает свои руки с плохо перерезанными венами. Он уже съел голубцы с жесткими жилами капустной обертки и ему, собственно, больше нечем заняться.

Дрёма

Свой бобовый устроили праздник две лобные доли. Гонят Дмитрия Алексеевича Дыбу туда, где спуск к базару. Кукуруза показала желтые лошадиные зубы.

Подсолнух коробейником гуляет по рядам, черные остроносые меточки выщипывает из лотка.

У женщины руки обуглились уже до локтей. Пожар перешептывается с кисейной занавеской. Доскользит ли тихое круглое горлышко до умирающих ртов от жажды?

Далеко-далеко, у вокзала, кто-то поднял обломок кирпича, подскочил к собаке, и кирпич оказался в собачьей оправе.

Табуретка стояла в коридоре. Над ней свисала петля, и кусок хозяйственного мыла лежал рядом. Дмитрий Алексеевич Дыба ощупал свое голое тело, — чуть не скovyрнул родинку на боку, разросшуюся, в расщелинках и бугорках, как деревенька, увиденная из окна самолета, — совершенно негде было спрятать записку.

Дневной сон плохо действовал на Дмитрия Алексеевича со смешной

фамилией Дыба, которую всегда обыгрывали сослуживцы в довольно угрюмых капустниках, а вечером ему непременно нужно было быть на спектакле в Городском театре.

Спектакль начинался издалека: уже за два квартала от театра зрители попадали в тесный коридор лагерной охраны. Вохра держала на поводках крупных немецких овчарок. Собаки рвались с поводков и вставали на дыбы, будто они кони на Аничковом мосту в Петербурге, где Дмитрий Алексеевич никогда не был, но кони-то с моста, наклоня морды вбок, разбрасывали вокруг хлопья пены, похожие на метель.

На колючей проволоке, прошитый за побег автоматной очередью, лежал ведущий артист Городского театра Аркадий Яблоков.

— Ваше место у параша, — с особым почтением проговорила Дмитрию Алексеевичу билетерша.

По проходу, тяжело дыша, как дышит нелюбимая женщина во время акта любви, бегала собака с охранником. В боку у нее был оперившийся камень, — он не умер, сквозь него прошли капилляры и кровеносные сосуды, он прижился, приластился, как мог бы прижиться на малярной, табачной, словно состоящей из одного долгого поцелуя, слякоти болот каменный город.

В театре, кстати, было холодно, и Дмитрий Алексеевич достал из портфеля плед, на котором было вышито «Федор Михайлович Достоевский», потому что Дмитрий Алексеевич одно время встречался с женщиной, которая до него встречалась с механиком теплохода «Федор Михайлович Достоевский».

— Милая, — шептал он женщине, чьи руки были обуглены до локтей. Пожар взбирался по занавеске, как маленький гимнаст в красном трико. Свой бобовый устроили праздник две лобные доли. Он терялся в женщине так, что глаза его, в предчувствии изумления, блуждали по горящим стенам, а она, милая, хоть и обнимала его ответно, но одновременно поливала за его спиной лиловые растения, лъстиво откликавшиеся на каждую каплю воды, которая лилась из маленькой детской лейки.

Но неужели он сам, сам приблизится к табуретке, сам разомнет петлю, машинально, будто как ворот новой рубашки с опасностью магазинных булавок в упаковке, сам?

Сколько раз он обещал себе не спать в театре!

На сцене долбила мерзлую породу группа заключенных в телогрейках. Рядом, присев на корточки у костра, жрал тушенку вор в законе. Одна стена зала раздвинулась, и всем стал виден Аркадий Яблоков. Его ступни, нанизанные на проволоку, смотрели в небо. Над Аркадием кружил коршун. Дмитрий Алексеевич подскочил к собаке, вырвал у нее из бока камень и швырнул в коршуна. Тот забился за горизонт и не смел больше выглядывать.

Дмитрий Алексеевич взобрался на табуретку и протянул руку. Он столько раз это делал, ввинчивая лампочки, когда правая рука уже коснулась патрона, а левая отстала, еще только отталкивается от воздуха.

Он понял, что сейчас, в эту секунду, он должен проснуться, выбить себя из сна пробкой, ударить по дну бутылки рукой; выбить хотя бы и с дном бутылки, чтобы осколки стекла вошли в запястье и разбудили, перерезав сухожилия, вены, все, что угодно.

Он выбил, захлебнулся, нырнул глубоко — за перламутровой раковиной,

еще глубже, еще. Он уцепился за гребень раковины и тянул. И липкое дно болот стало поддаваться, отслаиваться, медленно, еще медленнее.

Дмитрий Алексеевич Дыба думал только о том, что вот сейчас надо бы вдохнуть полной грудью, но легкие слиплись, выдохлись, и его нашли и похоронили только тогда, когда все равно хоронили Аркадия Яблокова, пролежавшего на колючей проволоке четыре месяца — пьеса пользовалась большим успехом — и получившего посмертно звание заслуженного артиста. И Дмитрию Алексеевичу Дыбе так захотелось поздравить с заслуженной наградой Аркадия Яблокова, что он решил непременно нарвать ему яблок в Раю.

Немая кукушка

Свисает с ветвей немая кукушка; встряхивает ветвями, обдавая себя росой, — так матрос на мачте корабля шлет сигнальными флажками SOS проходящему судну, а закричать: «Спасите!» — не может.

Немая кукушка слетает — с небритых небес в мыльной пене, — не свив гнезда. Падает камнем — без крыльев, — прижимает к бокам серые каменные выпуклости. Хвост отломился в полете.

Однорукий человек тут же хватается пернатый каменный хвост непомерно сильной рукой и ладит его к кукушке.

Женщина в кровавом платье осеннего цвета приплясывает вокруг каменной птицы:

— Горихвостки, трясогузки, красноухие овсянки — всяк выпрашивал яичко у кукушки — потому что все бесплодны. Камышовки шепот крыльев, шорох тени красношейки, стены в извести, и славки их вылизывают, словно ствол покрашенных деревьев — в белых гольфах до колен.

— Как ты можешь так плясать! — закрывает от осеннего цвета свое лицо несчастный ее муж Георгий. — Не снесет каменная птица яйца — ведь у нее хвост отвалился. Машина, я видел, врезалась в птицу, отбила хвост. Пассажиры все погибли до единого, водителю руку оторвало. То-то водитель и торопится с хвостом-то. Ведь птица, поди знай, вдруг да и внесена в охрану памятников ЮНЕСКО.

Однорукий человек держит хвост каменной птицы; вторая его рука откатилась к проезжей части, за ее благополучие уже никто не поручится.

Женщина опять за свое:

— Город Ревель — горький ремень, у него болит поребрик; камешки прашу свивают, ножку промочила свая... По бордюру шли с турнюром в гости к Нюре кушать тюрю!

— Дура! — кричит несчастный муж, — до шестидесяти лет пропрыгала Алькой.

Женщина останавливается и плачет! Муж, казалось бы, добился своего, но, как все мы, не может уняться:

— Кто ревет ревмя, тому дам ревеня! Поняла теперь?!

Тут он бросается на проезжую часть и в последнюю секунду успевает выхватить из покореженных челюстей столкнувшихся машин холодеющую руку кукушкиного спасителя. Но однорукому ничего не нужно, ему бы только хвост

удержать, ему бы только не опозорить столицу в глазах иностранного посетителя, который ведь может подумать: «В Ревеле птицам отрезали крылья — столы накрыли, из язычков страстотерпиц-кукушек сделали суши». И так далее. А руку он все равно потерял еще во время последней миротворческой кампании, сейчас она только отстегнулась всего лишь, а дома у него есть запасной протез со свинцом внутри, чтобы при случае поддержать в общественном мнении городскую скульптуру.

Но Алькин муж, Георгий, согревает дыханием спасенную руку кукушкиного спасителя, прижимает ее к груди; некого ему прижимать больше, ведь его дочка и его внучка — обе погибли во время как раз той миротворческой кампании, в которой участвовал доблестный однорукий в далекой стране; из той-то страны и приехал Георгий с женой, потерявшей разум от горя, чтобы найти миротворца и подставить ему вторую щеку, неся перед собой добытую из покореженных челюстей машин его холодеющую руку.

И те, кто погиб с одноруким в машине, столкнувшись с каменной птицей, пренебрегая смертью, встают и идут, падают и опять идут; на лицах их теперь видны все дефекты асфальта, все ямки и неровности, взыскуя починки дорог хотя бы в центре города; они идут проветриться, поднимая свои разодранные лица к сине-черно-белому флагу, развевающемуся на башне в небе.

И в небритом сонном небе, в мыльной пене облаков неосторожная бритва оставляет легкий, танцующий кровавый след молнии; и срывается вниз кукушкой, не свивающей гнезда, каменная птица; и падает с ветвей влага, умывающая город; и у самого берега налетает на рифы корабль, и матрос продолжает слать сигнал SOS, пока мачта, обломившись, медленно опускается на дно, а один флажок все-таки вырывается из рук матроса и, трепеща из последних сил, выбивается на поверхность и не успевает отдышаться, как его выхватывает из пасти волн шлюпка спасателей.

Дрессированные звуки

С утра Алексей Николаевич не находит себе места. Да еще приехал новый оператор.

— Стой, Веня, не поворачивай камеру, у него затылок попадет на экран, — кричит Алексей Николаевич новому.

— Он что, лысый? — переспрашивает тот.

И приходится Алексею Николаевичу все начинать сначала:

— У него затылка нет. Ему срезали затылок — посмотреть, что у него там. Но телезрители не должны знать.

— А как же... Он говорит...

— Ему не больно, ему хорошо, к тому же он на четверть норвежец. Они равнодушны к боли, ничего не чувствуют. Цыгане, например, совсем не переносят боли — темперамент!

— Так что снимать, Алексей Николаевич?

— Ты, Веня, только приехал к нам, а уже задаешь вопросы. Надо самому учиться. Мы снимаем творческих людей, их мысли. Вот перед нами композитор, — распахнут, как рояль.

— Нельзя же показывать!

— Глупости, ну и что! Как трогательно он расспрашивает: «Почему у рубашки такие длинные рукава?» А медсестра ему: «А вот примерим»... А он ей: «Мне только и надо, душечка, чтобы рукава рубашки сделать короче, а то они по земле волочатся, а она от этого во сне ворочается». Земля во сне ворочается, волочащиеся рукава ее щекочат... Эх, ему бы развязать руки... Поставить рояль прямо в чистом поле, где снега впроголодь, голый декабрь подпевает гортанно... И дрессированные звуки жмутся к пальцам, согреваясь в умелых руках...

— У них, наверное, есть марля, Алексей Николаевич. Надо ему голову в поле все-таки прикрыть, даже если ему не больно. Там на срезе все красное, как раскаленная конфорка. Вот посмотрите!

— Я тебе сказал, не показывай затылок!.. Собственно, он нам в поле и не нужен. Мы в поле актрису вывезем, пусть поет его песню о русском просторе. «На небесах лежат снега». Катю Ищину возьмем. Дай-ка телефон. Катя? — Алексей Николаевич включает телефон на громкую связь. — Катя, хочу, чтобы ты у меня в передаче спела. Зимнее что-нибудь, Катенька. «Снежок, как яблоко на пробу, срываю с дерева, дрожа...»

— Спасибо, Алексей Николаевич! — отвечает Катя, и вся студия может ее слышать. — Я спою. Вы наш благодетель. Вы еще когда у нас в театре работали, мы только на вас и надеялись. — И все в студии радуются, что так легко, так хорошо все разрешилось у Алексея Николаевича. А Катя продолжает, не может остановиться. — Спеть-то я спою, а вот парика у меня до сих пор нет. Волосы уже выпали, а парика нет, я так забегалась, что даже и парика не купила.

— Надо бы в поле снимать, Катя, — тревожится Алексей Николаевич.

— Нет, в поле я вас подведу. В поле мне нельзя. У меня химия — пятнадцать литров капельница — так я только до курилки могу дотащить...

— Что же мне, Лиде Безбород звонить? Не хочется мне приглашать ее на русскую песню, не такие у меня с ней отношения.

— А у Лидочки тоже рак, она вам не подойдет.

— Вот как.

— Грудь.

— Подводите вы меня, девочки, подводите. Мне, Катенька, нужно, чтобы по полю, издалека, пошла к распаханному роялю песня... А Лида... Ну да, если у тебя рак, то и ей непременно, — никогда не простит тебе, Катенька, успеха в «Тришкином кафтане»!

— Нет, Лидочка, Алексей Николаевич, больше из-за «Амуров на снегу» расстроилась. Оттуда и песня. Да... У наших почти у всех рак. Только у Гути обошлось: ему срезали затылок, у него что-то датское в крови нашли. А я только собралась бросить курить, так у нас тут и курилка есть: возьми свою химию, притащишь в курилку и хохочешь с девчонками.

— У всех рак? — спрашивает Алексей Николаевич, понимая уже, что съемка сорвана и поправить ничего нельзя. И даже не вслушивается в ответ.

— Кроме Адели. Адели просто забеременела. Ребенком.

Капель

Хирург очень маленького роста, в операционной ему подставляют табуретку, чтобы он мог достать до больного. У него трубчатые пальцы мертвого цыпленка, которыми он не всегда может управлять: вдруг начинает чесаться, скребет, карябает голову в мелких черных кудряшках, потом успокаивается.

Меня впустили в операционную. Хирург провел скальпелем по животу, темно окрашенному йодом, вынул и отложил в сторону пористые куски жира, растянул двумя серебристыми, с рыбным блеском, кочергами рану. Плоть, разойдясь, радушно и влажно раскрыла объятия.

Я вышла во двор и долго курила.

Распоротое акулье брюхо висело надо мной. Акула пожирала собственные внутренности — тяжелые, рыхлые облака.

Мне сказали, что я уже могу зайти в палату.

В коридоре стояли два врача.

— Он что, копилка, чтобы в него деньги вкладывать? — вдруг закричал один врач так сильно, что у него дужка от очков отлетела, очки перекосились, упали на пол, он наклонился, нашарил самый крупный осколок и сквозь него прокричал еще. — Он что, свинья с прорезью, чтобы ему деньги отдавать?! — и только потом зачем-то стал собирать мелкие осколки, ранил пальцы и отпихивая локтем второго, присевшего ему помочь.

Я пошла дальше.

За прозрачной дверью, но это еще была не моя дверь, плакала женщина. Медсестра промокала ей слезы и тут же подкрашивала ей ресницы и говорила что-то хорошее. Женщина отвечала:

— Как я могу не плакать, если пума достигает в холке семидесяти четырех сантиметров, ты себе представить не можешь. Это же заповедник! Там орел украдет младенца, и ему слова никто не смеет сказать. Надо молчать, надо все терпеть. Рексик ушел гулять, а вернулся один ошейник. Нам прокричали в трубку: «Нашелся ваш ошейник», ты себе представить не можешь. Пума достигает в холке семидесяти четырех сантиметров, и ей наш Рексик просто сойдет с рук... У них там у всех руки по колено в крови...

Я приоткрыла дверь. Женщина продолжала плакать:

— Мне восемьдесят два года, ты себе представить не можешь! Меня могут в любой момент уволить, а я ведь так много даю студентам!

— Ну, если *выдает* студентам... да еще и много... — хохотала медсестра...

В коридоре на подоконнике лежало яблоко, я его долго ела, потом вышла во двор и долго курила. Осень внезапно кончилась и пошел снег, рябило в глазах, хотелось лечь в сугроб и заснуть там в тепле, бормоча: «Я люблю тебя, люблю...»

Опершись на свои ходунки, будто взойдя на трибуну, стоял мужчина с выпуклыми, как каштаны, глазами и говорил, хотя и совершенно тихо, почти неслышно, но непрерывно, сплошь засыпая словами пол. А на полу сидела его жена и повторяла громко:

— Грецкие орехи должны быть светлыми, чуть золотистыми, мягкими, не должны они хрустеть и не могут они быть темными, и королек на срезе должен быть коричневым, шоколадным, смотришь на любой фрукт желтого цвета, как

на маленькое солнышко, и сердце начинает радоваться и понимаешь, что доживешь до весны, потому что она скоро.

Я подошла ближе.

— Геополитическое положение нашей страны, — говорил мужчина тихо, и пол был усеян его словами, — стало хуже. Настолько хуже, что я войну с первого квартала переносу на второй. Да, на второй. Но дальше второго квартала я уже отодвигать не смогу. Я уже ничего не смогу для тебя сделать.

Мой сыночек, мой Васечка, лежит в самом конце коридора. Он уже пришел в себя после наркоза и только чуть-чуть постанывает.

— Теперь все, сынок, теперь все? — спрашиваю я.

— Мама, я тоже думал, что все. Мамочка, я даже был уверен, я не сомневался почти что, мамуля. Но они не вынули. Они все равно оставили маленький кусочек.

— Нет, Васечка, нет, умоляю, Васечка!

— Да что же я могу сделать, мамец ты мой милый, не вынули! Остался осколок. Может быть, он меньше стал, согласен. Но остался.

— Васечка, подумай. Подумай, Васечка!

— Что же мне думать, если оставили. Кусок бутылочного стекла, зеленого, с острым краем и двумя зазубринами. И он мне там все калечит внутри. Стесывает напильником, колет шилом, пилит пилой — у него там целая мастерская, у зеленого этого осколка! Надо резать, мама, надо опять резать.

— Васечка, шестой раз!

— Ты что, не веришь мне, мама?! Я говорю, кусок стекла оставили.

— Васечка, я все продала, все. Дома больше нет, дачи больше нет, ничего больше нет, идти некуда, хоть в сугроб ложись.

— Ляг, мамочка, в сугроб, передохни. Скоро весна!

* * *

Сандеру Саату, человеку дождя

Я лежал на пастбище и смотрел в небо,
Облака проплывали, наполнялись водою,
А когда пролились через край — зарядил дождик,
Я хотел убежать тихонько, чтобы он не заметил.
Я бежал, но дождь побежал следом,
Он меня намочил с головы до пяток,
Я уже не вернусь туда, где жил когда-то,
Буду шляться, как дождь, по чужим просторам.

И правда, никто его потом никогда больше не видел в нашей деревне.

Мы ведь сами никогда не выходим из нашей деревни.

Зимой всегда выпадает очень много снега, чтобы мы могли рисовать на нем углем.

Черные глаза на белом лице снежной бабы, черные пальцы веток в белых пушистых перчатках. Черные птицы, распластав крылья, грузными бабочками садятся на лбы сугробов. И со лба эту мету, эту черную мысль не сбросить. Даже если кто-то порвет черный креп ее пишущих перьев, все равно только Питер Брейгель Старший может освободить нас, смешных человечков, от нашего места в вертлявой черной цепочке, где, держась друг за друга, мы обходим нашу деревню.

Сластена

— Знаешь, я слишком близко видел людей, страдающих последней стадией диабета, чтобы она смела писать об этом рассказы. Я видел полную деструкцию бета-клеток. Над чем она смеется? «Тебе плохо? Сладенького захотелось?» Или как она там поет: «Инсулину, инсулину, есть одна награда — смех. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»

— Ты сам-то не кривляйся!

— Извини.

— Ты сам-то не хватай конфеты. Не хватай конфеты, идиот. Она еще не такое про тебя напишет. «Диабетики — приветики — конфетики».

— Ты зачем сейчас меня так назвала? Зачем? Отвечай мне, не смей отворачиваться, не смей вырываться, не коли меня своим свитером собачьей шерсти, ненавижу!

— Как тебе не стыдно!

— Мне стыдно?

— Разумеется, тебе. Как тебе не стыдно так реагировать? Ты что? Тебе орден сегодня вручали, взрослый человек, член-корреспондент.

— Реагировать на идиота стыдно?

— На идиота, на идиота, на кретина, если хочешь. Именно что на кретина.

— Потому что — зачем ты меня так назвала?

— А ты не понимаешь?

— Нет, не понимаю!

— Совсем не понимаешь?

— Совсем не понимаю!

— Ты обиделся?

— Обиделся!

— Тогда я тебе прямо скажу — так реагируют только орденосцы и иностранцы. Это вывих. Постарайся его сам вправить. Когда у людей близкие отношения, то они могут сказать друг другу, что они кретины, или идиоты, или пусть они катятся, пусть они идут, все равно.

— Я не могу вправить вывих. Для этого нужен травматолог. Да, я получил орден, но я не иностранец!

— Ты не иностранец, ты кретин, ты идиот, понимаешь! При чем тут твой значок?! Я сказала в переносном смысле. Что у нас близкие отношения. И не смей хватать конфеты!

— Никогда в жизни не надевай свитер из собачьей шерсти, не прикасайся ко мне. Дело в том, что я ненавижу ложь. Я ей с тобой изменяю, но я ведь от тебя и не скрываю.

— Поэтому она и пишет о тебе рассказы. А если ты от нее уйдешь, то ей нечего будет описывать, у нее нет другого доступа к врачам.

— Она может сама заболеть, и у нее будет даже очень доступ к врачам.

— «Даже очень доступ»? «даже очень доступ»? После этого ты говоришь, что ты не иностранец?! Оставь зефир в покое! Павлик, не уходи. Павлик, не хлопай дверью. Обними меня, Павлик, обними меня скорее. Давай уедем, мой дорогой, мой любимый. Туда, где ветер путается в соснах и жжет, будто вода в проруби, жжет, жарко от этого ветра, так он жжет. И дома стоят, маленькие деревянные дома с низкими оконцами, как беззубые старухи; они прячутся на тебя и шамкают ставнями и дверями. И ты идешь, чуть сутулясь, наискосок по полю, будто Чехов, к больному, которого все равно не спасти, у него полная деструкция бета-

клеток, а ты несешь ему немного сахара, пусть он слизнет слабеющим языком с твоей ладони. И эта гордая воля к смерти будет продолжать жизнь. Там холодно, и ни один из домиков нельзя протопить, и в большом зале, где пол облеплен льдом так, что все скользят и падают, в этом зале, представь, всем дадут компота из сухофруктов. Ты помнишь, был компот из сухофруктов на сладкое?! Помнишь?! Он сразу стоял на столе, еще до обеда, перед пустой тарелкой, перед серыми алюминиевыми мягкими ножами и вилками, он единственный был живой на этом столе, он обозначал живого человека, у него, у компота, в животе что-то там перемешивалось, когда ты садился за стол; на столе все немного вздрагивало, чуть-чуть, стеклянно, металлически, а он что-то сам в себе перемещал, он был живой. И зачем я только не могла потерпеть?! Зачем я всегда глотала его перед мертвым обедом?!

На масленицу

Смиранный постриг деревьев. Ровная скоба крон. Они не смеют думать о мирском — о листьях. Нимбом стоит над ними голубое небо, и нестерпимо сияние длани Господней, осеняющей самолет.

Завелась у него в сердце кровь, зевала, жмурилась, собиралась в сгустки, потом с узелками, с ненужным этим скарбом протискивалась по сосудам, как по плацкартным переполненным вагонам. Он стоял у окна вагона и видел самолет.

Самолет летел в небе, расправив руки. Он висел, замерев, возле мягкого облака пыли. Плыли мимо облатки.

Простите меня, родные, а кагора не было в небе, не купили.

Рыбы ели кашу из манной небесной; объедались, запихивали в себя плавниками; и горел фонарь, прогревая зевы, чтобы путнику было не ошибиться случайно. Заходи в это маленькое алое логово, заплывай на своей ненадежной пироге, отбивайся веслом от Всевышнего, лежа на дрогах, и кричи ему: «Трогай! Ну что же ты, трогай!»

Он говорил сбивчиво, прощаясь:

— В моем детстве между оконными рамами прокладывали на зиму вату; ее украшали бусинками, звездочками, разноцветными кружочками из бумаги. Ты сейчас поймешь. Это как пластмассовые шары на подставках — в них, если их тряхнуть, идет снег, и сказочная девочка в шубке стоит на ледяном пригорке. Да и вертепы на Рождественских ярмарках напоминают мне сразу о той оконной вате, разложенной для тепла, для того, чтобы ветер не проникал в щели деревянного дома, но звездочки и бусинки не могли скрыть своего происхождения — от тайной веры в чудо.

Моя мама была страшной, непримиримой противницей украшений на оконной вате, она считала такие украшения тревожными пережитками, и наша вата лежала, съезживаясь и поджимаясь, а бусинки я видел в домах у своих подружек.

Нет ничего счастливее зимних детских тайн под бархатной скатертью, с бахромой, заплетенной косичками, и старушечьими космами над столом бабушкиной сестрицы, приехавшей в гости с райскими яблочками, с вареньем из айвы, с яйцами, сваренными вкрутую до синевы и не съеденными в долгой плацкартной преисподней в одном исподнем...

И ты помни.

Рыба — Кармен

— Какая пагубная сеть: для гладиатора с трезубцем в боку, в ожидании смерти стоящим на алом песке, на песочной подстилке в обнимку с закатом... Или рыба — Кармен с тусклой розой в соленых губах, плавниками поднявшая юбку в оборках капель, будет сольную сальсу тебе танцевать на скатерти...

— Сенечка! Подойди ко мне, мне плохо, Сенечка! Дай мне попить. Вот старость, Сенечка, и нужен стакан воды.

— Аделаида, мартовские иды еще не кончились, и снег исклеван птицами, и Стикс подернут льдом, и сладко спится над лунками пришедшим за снетком — за корюшкой по-вашему, к обеду они умрут, затихнут, не отведав ухи с дымком, не подведя итогов они успеют только складки тоги расправить, вырывая ком тончайшей шерсти из разбухшей раны... Да, непереносимой раны с усердными и узкими губами и хлюпающей детским ртом.

— Сенечка, я умираю, дай мне какой-нибудь каши, у меня сердце вянет.

— Аделаида, я в норме только за столом. За письменным столом и с поднятым стилем. И с восковой дощечкой. Ты — с леденцом за щечкой и со сверчком за печкой, и мне годишься в дочки и догоришь, как свечка...

— Сенечка, я бы молочка попила. Я тебя моложе на семнадцать лет. На целую жизнь собачки я тебя моложе. А состарилась быстро, сносила. Ты изменял мне, Сенечка.

— А как я мучился от этого, как страдал, ты забыла? Я об этом даже в дневнике писал, значит, мучился до подлинной литературы. Но мне нужен был глоток свободы!

— У тебя глоток свободы — это стопка водки! Одна, вторая и десятая. Вот твой глоток. И похмелье у тебя одинаковое — что от свободы, что от водки.

— Да? А где, Аделаида, твоя свобода, где?

— Где? Где? Мон дье!

— Мон дье!

— Мон дье!

— Долго я тебе прощал, что ты мою русскую букву «е» ногами топтала!

— Она и моя русская буква «е».

— Нет, «е» — моя! Знай, Аделаида!

— Моё «е» — Мон дье!

— Капиллярная сеть никого уловить не может. На песке гладиатор лежит, песком припорошен. Не люблю я письмо песком припорошивать. Жаворонки по пороше жируют в перьях крашенных. Хлебными крошками жизнь моя скрашена. Скрадена.

— Сенечка, рыбки бы поесть на прощание. Так хочется. Я раньше думала, что я рыба на песке. А я ничего, я рыба под водой, да еще и с аквалангом. Дышу. А теперь умирать нужно... натошак, Сеня!

— Потанцуй мне на прощание, Аделаида! Я раньше думал, глядя, как ты стоишь на хвосте, что его можно задрать, как юбочку, а там ножки, маленькие ножки для танца. Но нет! Все ложь и обман. Один рыбий хвост, и никаких ножек в нем. Сколько ни пей, сколько ни глотай водку. Сколько ни пиши стихи от тоски в тиски. Не русская ты, Аделаида, не русская. Солоны губы твои, Аделаида, и роза в них посеребрилась солью, и никакую сальсу ты мне не станцуешь. Потому что нет у тебя каблуков, чтобы постучаться мне в сердце.

Владимир Салимон

По дороге в город-сад

* * *

В стекле оконном отражалась
жизнь вся, как есть, до мелочей —
и туча, что по небу мчалась,
и ветер, нёсший пыль с полей.

Мир Божий нематериальной
к нам повернулся стороной,
как будто копией зеркальной
реальной жизни под луной.

* * *

Литература зря старается
за математикой угнаться.
Она с задачей не справляется —
делением приумножаться.

Все больше на земле писателей,
но женщин среди них красивых,
помимо жён моих приятелей,
с десятков дурочек счастливых.

* * *

Мне стыдно в этом признаваться.
Пока не сделалось темно,
не зная, чем ещё заняться,
я целый день гляжу в окно.

Бог ведь, зачем в соседней роще
палит охотник из ружья,
или на вещи смотрит проще
и зря не мучает себя?

Аксаков этого не знает.
Тургенев, хоть и знаменит,
довольно слабо представляет
кто на Руси в *кого* палит.

* * *

Оркестранту в нужном месте
дирижёр не подал знака.
Оркестрант ему из мести
срезал пуговицы с фрака.

Музыка пришла в упадок,
живопись, литература,
но Господь навёл порядок.

Сдвинул брови.
Глянул хмуро.

И над ямой оркестровой
дирижёр в одной рубахе,
как орёл белоголовый,
крылья распростёр во мраке.

* * *

Невероятно сумерки глубоки.
В отличие от девушки с веслом
красавица упёрла руки в боки
и завязала волосы узлом.

Ей простыню купальную полощет
внезапно налетевший ветерок
и на макушке волосы топорщит,
и гладит нежно икры крепких ног.

Чуть сладковатый запах загорелой,
дублёной кожи мне щекочет нос,
как будто запах алой или белой,
иль чайной розы — лучшей между роз.

* * *

Спросишь:

Можно, я ещё поплаваю?

А как только выйдешь из реки,
над тобой бесчисленной оравой
закружатся в небе мотыльки.

Потому что тело твоё светится,
потому что, стоя нагишом,
выглядишь, как русская помещица,
вскормленная птичьим молоком.

* * *

Вещи, брошенные в спешке,
сползшие со стульев на пол.
Мы смогли уйти от слежки.
Нас с тобой злой рок не сцапал.

Ночь темна была,
лишь в щёлку
из-под двери свет струился.

Там народ, устроив ёлку,
пел, плясал и веселился.

Люди не подозревали,
что за дверью в тесной спальне
счастье мы с тобой ковали —
молотом по наковальне.

* * *

О чём между собой глухонемые
беседу оживлённую ведут,
впотьмах блудницы каются лесные,
что по весне на ветках гнёзд не выют?

Есть высший смысл и низменные страсти.
Как я пойму, на чьей ты стороне
по знакам, мне понятным лишь отчасти,
не до конца понятным,
не вполне?

* * *

С началом холодов сошли грибы.
И человек с корзинкой на вокзале
среди разноплемённой шантрапы
сегодня утром встретится едва ли.

Напрасно попытаюсь я найти
его в толпе,
пусть даже где-то рядом
он железнодорожные пути
из края в край пространным мерит взглядом.

С высокого перрона смотрит он,
как будто бы лицом к зловонной яме,
поворотясь, где будет погребён,
чтоб превратиться в прах и тлен с годами.

* * *

Живущего на первом этаже
я понимаю, слыша шум в подвале,
пора всерьёз подумать о душе,
пока тебя к ответу не призвали.

Когда встаёт над городом заря,
и люди на слова и чувства скупы,

не нужно думать, будто слесаря
у вас в подвале прочищают трубы.

Я не могу сказать наверняка,
что происходит там —
молотобоец
наотмашь бьёт несчастного быка,
иль глупого барана режет горец?

* * *

Никто, помимо тараканов,
беда не чует —
дети спят,
люди взрослые с диванов
в экраны тусклые глядят.

О приближеньи катастрофы
свидетельствует ряд примет,
в числе их —
как рубец багровый,
оставленный кометой след.

* * *

Сперва отрыли череп конский
и тот, кто землю рыл, сказал,
что, может быть, царь македонский
на этом жеребце скакал.

Луна взошла и осветила
степи бескрайний уголок,
и был полночного светила
лик бледен, грозен и жесток.

А череп конский зубы скалил
и огрызался всякий раз,
когда костяшку против правил
брал в руки кто-нибудь из нас.

* * *

Походит больше на чертёж,
чем на рисунок —
в лунном свете
сам на себя сад не похож,
от прежнего осталось меньше трети.

Всё лишнее зимой ушло под лёд,
но обнажилось то, что было скрыто,
как будто вышел Государь вперёд,
и отступила на полшага свита.

* * *

Разглядываю тощую, как спичку,
я цаплю серую — волнуется дурёха!
Посматривать по сторонам в привычку
вошло у тех, кто вечно ждёт подвоха.

Хвостом ударит рыба, хрустнет ветка
случайно у меня под сапогами,
тотчас моя пугливая соседка
замашет на меня во тьме руками.

— *О, Господи!* —
в сердцах воскликнет птица
с таким ужасным в голосе укором,
с каким дитя на белый свет родится,
чтоб умереть однажды под забором.

* * *

Слепо следуя букве закона,
словно ортодоксальный еврей,
вытолкал проводник из вагона
двух подвыпивших крепко парней.

Нарушители правопорядка
долго свой собирали багаж.
Снег пошёл, начиналась посадка
на идущий в Москву поезд наш.

Хлопья снега парней облепили.
Хорошо, полицейский наряд
прибыл вовремя в автомобиле
и умчал их с собой в город-сад.

* * *

Это не для глаз твоих картина,
так как взглядом встретиться со злом
всё равно, что слиться воедино
с грязным, скверно пахнущим козлом.

На него пожаловаться маме
даже при желании нельзя —
забодает острыми рогами,
залягает до смерти тебя.

Поезд переехал человека.
Взял под мышки ноги человек,
всем известный в городе калека,
и продолжил свой по жизни бег.

* * *

Последнее слово еще
не сказано, может случиться,
вдруг конь захрапит горячо,
в дверь к Вульфам сосед постучится.

Снежком припорошен картуз,
а, может, бобровая шапка
пузатая, словно арбуз?
Нагольный тулуп иль крылатка?

О, нам до всего дело есть!
Что Пушкин приехал к нам в гости
по дому разносится весть,
и слышится стук его трости.

* * *

Мороз стоит, как в бане пар,
когда в печи горят полешки.
Их белозубый кочегар
во мраке колет, как орешки.

Нет, чтобы фиговым листом
прикрыть свой срам приличья ради,
в парилке люди нагишом
карабкаются на полати.

Смыв смрад и грязь, целуют крест
и лезут в воду ледяную
с надеждой, что свинья не съест,
Господь не выдаст Русь святую.

Алексей Самойлов

Две маленькие повести

Кипяток

1.

Сугробы у прокуратуры ровные. С самого утра лопатой их охаживают. У вертушки на проходной скучает сержант. В теплой куртке. Ботинки у него, как и полагается, начищены. А на ремне болтается штык-нож.

В прокуратуру я звонил ночью. Дежурный офицер выслушал, назначил время, когда прийти. Раз такое дело. И голос у него был вежливый, мирный. И фамилия тоже мирная, Зиновьев.

Вот к нему я и пойду. Еще посижу и пойду. К тем сугробам, которые равняют сейчас салаги... Может, выпить еще немножко? Наверное. Там-то ведь не дадут. Там — нет.

Ну, вот и все. Подъем, капитан!

Я пошарил у ворота, но привычных крючков не было. Не шинель ведь. Обычное драповое пальто. Как будто теперь у меня не было права носить привычную военную одежду. Хотя костюм ничего себе, вполне еще приличный. Для военной тюрьмы.

В этом костюме я женился на Вере. Когда же это было? Семь лет назад. В ЗАГСе на Красносельской. Рядом, на повороте, трамваи все звенели. Летние трамваи, нарядные.

Вера сидела рядышком, завитая, нервная. Не подходи, обожжет. «Шмагин, — шепнула она, — ну, что, боишься?» А чего мне бояться. Не в атаку ведь, жениться. У Веры проступали розовые пятна на шее. Появлялись, проползали, таяли. И пропадали. Казалось бы, что ей с военным человеком волноваться. Кто меня знает, может, в последний момент стукнуло Вере в голову завитую, что же она делает, куда едет. Может, взять, да и разбежаться, пока не спросили, согласны ли мы и все такое прочее.

Но нет, справилась тогда Вера, распрекрасная тонкая Вера. Пошли мы в белый зал, где и ответили высокой тетке в костюме, как положено. И жили года

Алексей Самойлов родился в 1964 году в Москве. Закончил Государственный технологический университет. С начала 90-х работал в различных коммерческих структурах. На основе этого опыта создал учебный курс по эконометрике, который несколько лет читал в Высшей школе экономики и Академии народного хозяйства. Рассказы печатались в журнале «Урал» и сборниках Литинститута имени А.М. Горького. Лауреат XI Международного Волошинского конкурса (сентябрь 2013) в номинации «Проза» за рассказ «Ровно в восемь».

три ничего себе. Появились словечки у нас с Верой, ласковые такие. Которые говорят по вечерам. И субботы случались хорошие, длинные. Ничем не занятые, приятные, специальные такие субботы для двоих.

А потом стала Вера мне врать. По мелочи. Сегодня, мол, к Томке поеду, поздно вернусь. К Томке, так к Томке. Поздно, так поздно. И как-то приехала она от очередной подружки, вышел я в прихожую встречать. И взглянула Вера на меня, так взглянула, будто застрелить хотела. Я и сообразил, куда она ездит и зачем. Только вида не подал. Ну, бывает, запутается женщина, а потом опять в колею войдет. С кем не случается.

Я ведь привык к ней, к нервной, к завитой Вере. К Вере худенькой. Только потом стала она незаметно Веркой насмешливой. Раньше все, бывало, если случилось что, прижмется ко мне, лицо на груди спрячет, голову вверх поднимет и шепчет: «Шмагин, как быть?» А тут стала улыбаться криво, одну бровь кверху тянуть. Что ты, мол, сказать-то можешь, капиташка. Я молчу. Жду. Тогда стала она скандалы разводить. Ты, мол, бирюк, ледышка. Живу, будто одна. Конечно, ясно уж было, не поедет та лодочка дальше, о которой на свадьбе тесть говорил. Может, я и в самом деле такой, как говорила. Нелюдимый. Ей, новой этой Верке, Верке насмешливой, было виднее.

Прихожу как-то с дежурства по училищу, а у нее уж все собрано. Будто на юг ехать, чемоданы да пакеты. «Ухожу, — говорит Верка, — от тебя. Врать надоело. Понимаешь меня, Шмагин!» Я понимаю. «К кому же ты, Вера (Вера завитая, Вера бледная), уходишь? Интересно просто, к кому?» — «А почему, неинтересно тебе, нет?» — «Ты же сама сказала, врать надоело. Поэтому». Верка расстроилась, пошла пятнами розовыми, глаза скосила. Только не плакать же ей при таком раскладе у меня на груди, как привыкла. Да и сама Вера уже другая была, не та, что на Бауманской, в ЗАГСе, где трамвай все звонил, на мост просился. Носик аккуратно платочком потерла, сказала напоследок, на развод сама подаст. И уходит она к обычному мужчине, к гражданскому. А жизнь ее дальнейшая меня, Шмагина, не касается. Ну, не касается, и ладно.

Только как пошла она к дверям, тут я понял, что ждет она от меня, бледная и тонкая, всего-то пару слов. Пустяшных, коротеньких. Оставь, мол, сумки, давай сядем, подумаем. Только я промолчал. Хлопнула Верка дверь и уехала.

Я расстроился тогда всерьез. Засел дома и пошло-поехало. Противно, а пью. Мишка-друг через пару дней приперся. «Бросай, — говорит, — Шмага, эту волюнку. Эка невидаль, не та попалась, подумаешь! Тебя Капкан спрашивал. Тоже, понимаешь, переживает».

Капкан у нас мужик на ять. Плотный такой, надежный. Илья Григорич. В генеральских шикарных штанах. С лампасами.

На следующее утро, когда за окнами возилась еще снежная муть, начищенный и выгуженный шагал я по коридору. Вот и дверь знакомая, «учебный класс номер двенадцать». А за дверью полкаша наш старенький, Перминов, развесил плакаты и бродил с указкой. «Вот, товарищи курсанты, схема первая. В центре крупные буквы "пэ" и "эм". Что бы это значило? Некоторые из вас подумали, наверное: "Перминов — му...". Неправильно! Так обозначают планетарный механизм. Почему его называют планетарным? Селезнев, почему?»

Коридор светлый, широкий. Я шел и улыбался.

И закрутилось снова, смена, дежурство, смотр, стрельбы. Стук-перестук

каблуков по плацу. «Пэ-эт з-знамя пэ-элка, р-р-няйсь... Пер-р р-ро-ота... И-ии, р-р-рыз!» Тут все правильно, до точки распоследней. Я и оттаял понемногу.

Конечно, попадались мне и другие тетки, после Веры-то. И завитые, конечно, тоже. Только не заладилось с ними. Раз сидели у чернявой одной, у Любаши. Аккуратная, нечего сказать, и домовитая. И приперся ее бывший. «А-а, — говорит, — военный! Чета военные сюда зачастили. Счас я тя сделаю!» И сделал.

Кипяток у меня в голове плеснул, случается иногда такое. Сгреб бывшего и с лестницы повернул. Люба вскинулась, трясется вся, плачет. Жалко ей стало, что об пол бывшего приложили. «Ах, — кричит, — убили!» Какое там, боров этот еще лет двадцать протянет.

Потом, когда наладили бывшего обратно, отдышалась Люба и говорит: «Знаешь, Костя, не получится у нас с тобой. Ты меры не знаешь, мне с тобой страшно. Как ты его поволок, у меня сердце прям, стук и встало. Я так не могу. Может, ты и прав, но никак. Понимаешь?» Я понимаю, никак. Ну, цацкайся, милая, со своим синюхой сама.

В общем, теток этих совсем я отставил. Училище только и видел. Стрельбы учебные и боевые, проверки, дежурки, а весной что же, весной абитура. И такая карусель день за днем. Это ведь только кажется, грубятина там у нас, кирза, сапоги, шинели, ватники, мазут да брезент. А ведь нет-нет и серьезное, честное, стойкое такое из жизни выглянет. Не шутка ведь просчитать, какая у навесной стрельбы плотность. Надо кое-что понимать. Выведешь схему тушью на рыжей кальке, радуешься. Понял меня класс курсантский, снова радуешься. И в этом оказалась длинная надежная линия. Раньше я и не думал про такое.

Как-то на плацу развернулись, Капкан голову повернул, как гаркнет: «Сми-и-ии-рррн... Слу-ууший...» Как будто что-то в сердце мне ткнулось, вот как Веркина голова все равно. Свое, надежное, главное.

И как с тетками перестал я возиться, стал замечать, на Новый год там или у ребят что-нибудь, звание новое, свадьба, новоселье, так сядет рядом какая-нибудь, в глаза заглянет: пойдемте, мол, капитан, потанцуем. И все по рукаву гладит, будто пробует, настоящий я или нет. А духи розовые, приторные, как нарочно, у каждой третьей. Может, просто я, Шмагин-капитан, постарел. Только совсем без теток выходило мне спокойнее. В училище их ведь немного. Кассирши, поварихи, врачихи, преподши из гражданских вузов, вот и все. Кивнешь, дальше шагаешь. И пускай Сухарем за глаза зовут. Я не в обиде. Зато три роты в лучшие вывел. И остальное б наладил, дай срок. Только вышла одна штука. Какая? Вот эта самая, из-за которой сижу я теперь в стекляшке, на Фрунзенской, плясую на прохожих. А в училище напрасно меня ждут.

Только надо по ранжиру мысли расставить. И начать с экзаменов для абитуры. Абитура ведь что такое? Каждый год, весной, собираются в училище молодые ребята. Приезжают с гражданки и из войск. Крепкие, веселые. И много их, много. Все хотят к нам, в краснознаменное и высшее, поступать. Это, конечно, хорошо, что снова тяга к военному делу появилась. Только разные ведь они, надо присматривать, мало ли что. Те, что из войск, дембеля то есть, могут гражданским сторяча и навешать. Этих самых. Хотя крупных драк давно не было, чтобы там с травмами серьезными. А все равно, и Капкан, и замы его сутками домой не уходят. Ну, а уж про меня что и говорить. Шмагин всегда на посту.

Заступил я дежурным по училищу. Медкомиссия еще тут замешалась. Доктора понаехали, парней выстукивать и выслушивать, разводить писанину. Вот и крутись, с одной стороны, ночью ребята норовят пьянку устроить, в самоволку свалить. А с другой стороны, белые халаты меня поедом едят. Тащат всякую мороку, стекляшки, лекарства, лампы, плакаты разноцветные. Для проверки. И за всем смотреть надо.

Тут попался мне на глаза один парень. Из абитурки. Высокий, видный. «Как, — спрашиваю, фамилия?» Оказывается, Тарасов. И все бы ничего, только на докториц засматривается, потому и отметил я его. Прямо глаз не отрывает. Нехорошо это.

Если курсантик мигает, тянется, мнется, когда тетки мимо проходят, это ничего. Долго в глухом углу сидел, а тут девчонки, какие хочешь, по улицам крутятся, вот он и млеет, и тушется. Это пройдет. У нас весной, как вечер из-за реки свалится, к ограде училищной девки тучами слетаются. Даже и трогательно, лиц не видно издали, полощутся платишки под фонарями на гражданской стороне, а кителя курсантские там, где ротная коробка на асфальте разлинована. Стоят себе, друг на друга любуются. Дело молодое, хотя и не положено, у ограды-то.

А тут другое совсем. Пялится Тарасов на теток во все глаза. Потом губы облизнет, башкой крутит. Оглядывается, не видел ли кто. Глаза собачьи, тоскливые. Тает от любой, то есть, юбки. Ну, думаю, приятель, попался ты мне вовремя. Как раз для таких на складах полно дел. Что щебень, что песок, все едино. Бери, кидай. Думай про мешки, про ящики, ставь аккуратно. Поманил его, послал в пищеблок, мешки таскать.

Пристроил Тарасова и забыл о нем. Мало ли дел-то. Тут еще докторша одна прискакала, оборудование ей приперло распаковать и на четвертый этаж в новый корпус тащить. Звали докторшу Светой Николаевной. Роста небольшого, стройная, халатик ее приятно так обтягивает. Глаза ясные, серые, щеки с ямочками, как на яблоках сорта ранет. Взглянули мы друг на друга и что-то тут у нее в глазах проскочило, искорка какая, что ли. Я, конечно, сушеный военный дядька, что мне врачиха, пускай и глазастая. Но тут взял и улыбнулся в ответ, сам не ожидал. Кивнул и говорю вежливо, идите, мол, Николавна, все вам будет. «А когда?» — спрашивает. И опять на щеках у нее ямочки обозначились. Упрямая какая, что с ней делать. Сплавил ее прапору Аглямому. Он уж точно знает, когда.

Тут ко мне дежурки заявились, потом Яша-Фонарь, а за ним штабные, оружейка. Телефониста в третий корпус запросили. Смотрю, мимо тащит коробка парень этот самый, что по каждой тетке сохнет, Тарасов, чтоб ему. «Куда, — спрашиваю, — несешь?» — «Докторам, т-риш капитан, в новый корп-с». Ладно, думаю, надо бы зайти, посмотреть, как ты там. Народу негусто, лето, еще не всех разместили. Вот и выходит... Только снова меня отвлекли, в подвале свет делали, надо было люки открыть. Ну, открыл, Введенкина рядом поставил, чтобы не загремели по лихости, а сам побрел к новому корпусу. Ну, какое, спрашивается, мне дело, куда там этот двинутый коробки понес? А сердце не на месте. Глупо, конечно, но как будто от докторши беленькой, от Светы этой, от Николавны, какой проводок ко мне подключили. И ток по этому проводку шустро так побежал.

Поднимаюсь. На четвертом тишина мертвая. Если б голоса или смех там,

тогда ничего. Ну, думаю, дрянь дело. Дверь-то дерг, а в кабинете все в порядке, докторша стоит у окна, ящички расставляет. Тарасов уселся у стенки на корточках, руками коленки зажал. И на вид сонный. «Ну-ка, — говорю, — пойди сюда!» Дома так-то, у стенки отираться будешь. А то целый капитан входит, а он и ухом не ведет. Мало, что долбанутый, так еще и невежливый. Докторша поворачивается, и начинает объяснять, быстро так стрекочет, парень, мол, неудачно повернулся, об угол приложился. И лучше ему пока так посидеть, минутку-другую. Подхожу поближе, действительно, Тарасов-то на вид бледный и взгляд нехороший, мутный какой-то. Ну, задача.

Тут он сморщился, выдохнул, стал кое-как выпрямляться. «Р-зршите, трщ-щ каптан, на минутк выйть, я счас...» — «Иди, иди, конечно». Странно он ногами загребает, враскорячку, как краб шпилит. Тут до меня дошло.

А докторша к окну отвернулась, занимается своими делами, коробочки открывает, упаковкой шуршит. Выглянул я в коридор, ничего себе ковыляет Тарасов, за одно место, правда, держится. «Пришлите, — говорит Света, — еще кого-нибудь, а то этот из строя вышел». Помолчала и тихо так добавила: «Только нормального, пожалуйста!» Я помялся немножко, ну, что сказать-то. «Какие уж есть...»

Подошел к ней поближе, Света мне чуть выше плеча приходится, а смотрит строго. «Вы не сердитесь, Светлана Николавна...» Она серые свои глаза на меня подняла. «Я не сержусь... Противно только». — «По-хорошему надо бы делу ход дать, как положено, рапорт там, расследование». — «Не надо ничего, просто пришлите еще кого-нибудь. — «А если этот Тарасов завтра чего другое выкинет? Лучше бы...» — «Ну, тогда выведите его во двор и пристрелите». Сказала так и усмехнулась. Ничего, между прочим, смешного. Вот в позапрошлом году один такой, от несчастной любви, пошел к оружейке, стал замок крутить. Хорошо, Аглямков смекнул, отвел его в сторонку, расспросил, к доктору наладил.

Ну, промаялись мы с докторшей еще минут пять, а там за мной вестовой прется, в пищеблок зовут, пробу снимать. Прислал я к докторше Киселева, он спокойней мерина. Что такое, в самом деле, пустой этаж, ни души, только Дюймовочка эта бродит. Дождался я его и пошел по делам. А все равно, за день еще раза три заходил. В конце концов улыбнулась Света и говорит: «Да не бойтесь, капитан, мне охрана не нужна, сама справлюсь». Ладно, думаю, пускай училищный доктор в своем хозяйстве разбирается. С тетками одна морочка. Плюнул я и ушел. «Не пойду больше, — думаю, — ни за что».

Вечером уже у прапора спрашиваю: «В новом корпусе есть кто?» — «Только докторша, маленькая эта, как ее звать-то... Только она». Ну, что делать, потащился опять. А Света уже вниз наладилась, как раз на лестнице мы и повстречались. Идет она, в плащике, каблучками цоклет. Как увидела меня, улыбнулась. И прядку волос на палец накручивает. Хорошее, значит, настроение.

«Как же понимать, капитан, ваше появление, неужели провожать собираетесь?» — «Нет, — отвечаю, — просто выведу с территории, а там уж не моя забота». Глазами Светлана повела, но не сказала ничего. Плечами пожала. И пошли мы. Слово за слово, разговорились. Вот ведь странно, откуда ей про меня понять. А взглянет, я уж и вижу, что сообразила, про все, то есть, мои военные дрова-опилки. Может, показалось только, не знаю. Повез я ее домой. Оказалось, она недалеко, на Преображенке, живет.

С тех пор и пошло. Отвезу, куда скажет, подожду, иногда пообедаем вместе. Но не более того. От дома ее, у самого моста, на набережной, до самой клиники маршрут выучил. Везет мне, кстати, на мосты. И на трамваи.

Про нас с ней особо я не раздумывал. Кто я ей? Скукота, рябой капиташка. Она же для меня выходила, как... Ну, вроде солнечного зайца. В ноябре, когда кругом все серое, стылое, коробка ротная стоит, с ноги на ногу переминается, рожи тоскливые. Так рыжий луч с крыши и соскочит, промахнет по лицам. И на душе как-то полегче станет.

Жила докторша моя на этом свете как-нибудь. Квартира у нее обставлена прилично. Ковры, люстра разноцветная, побрякушки, телик. В ванной стиралка японская. Только я не про это. Отличалась Света от других. Не было в ней неотвязной мысли, которая в любой одинокой тетке сидит, как, мол, завтра жить буду, да с кем. У Светки по-другому выходило. Прошла неделя, и хорошо, и ладно. Готовила редко, на скорую руку. Схватит картошки в кулинарии, курицу отварит, вот тебе и все разносолы. Ну, друзья у нее были. Насчет этого надежная она. Часто слышал, как подружку какую-нибудь лечиться пристраивала. Но ни слова про своих-то родных, есть они или нет, неизвестно, а я не спрашивал. С кошками бездомными вечно возилась. Все про таких кошек знают, многие жалеют, только никто домой не берет.

Торопилась она жить, Светка-то. Иногда задумается, глаза серые раскроет, смотрит, будто удивляется, зачем кругом столько всего наворочали, чужого, ненужного. И задумается, улетит следом за мыслями своими, а уж куда, так я и не разобрался.

С утра она из подъезда выскочит, стрельнет глазами, прострочит каблучками, подол ловко так, щепотью, прихватит, сядет ко мне в машину. Улыбнется, кивнет, поехали, мол. От дома до клиники проскочим как-нибудь утром, а там до конца недели можем и не увидаться. Звонок, ответ и довольно. А мне нравилось, честно сказать, ничего между нами мутного, неотвязного. Конечно, она симпатичная, даже очень. Но раз нам и так хорошо, к чему в постель друг друга тащить. Эка невидаль.

2.

Как свернешь с Садового, так целая улица из больниц, одна за другой. Потом бульвар, за ним колоннада. Дальше мраморный Пирогов, в руках череп дежит. Сидит, прохожих разглядывает. Тут как раз и была Светкина клиника.

Быстро я там примелькался. Видят, я за ней приезжаю. Сажу в холле, поджидаю. Один тебе кивнет, спросит что-нибудь, другой. Там ведь они все вместе, доктора-то. Дежурства, летучки, конференции, обходы. В госпитальном коридоре мы и с Тишкой познакомились. Так Света докторшу одну молоденькую прозвала. Есть в клиниках такая учеба, после института, когда в профессию медички влезает, интернатура называется. Почему Тишка? На самом деле звали ее Наташа Гусева. Рыженькая, в очках модных, узких таких. А за очками глазки синие, удивленные. Несется в халате коротеньком, на птичку похожа. И как пойдет тараторить: «Свет, Свет, а надо ли в седьмую капельницу или лучше уж завтра сразу...» Светка на нее взглянет, нахмурится. «Тише, тиш-шш...» Так и переехало это «тише» в «Тишу». Она откликается. И смотрит на Светку во все глаза. Еще бы, Света опытная, подходы знает, во всем разбирается. Поджидала

ее Тишка по утрам, как привезу Светку, так к нам Тишка и подкатывает, улыбается, очки поправляет и новости выкладывает. И по клинике за ней таскается, как нитка за иглой.

Тишка ее и выручала. Светка ведь, кроме клиники, еще в двух местах подрабатывала. Да еще ботокс этот... Есть такой препарат. Введут, к примеру, вокруг губ, раздуются они, морщин не видно. Многие актрисы себе сделали. Получаются лица, будто у пупсов игрушечных: щеки надуты, глазки выпучены, губы оладьями. Считается, что омолаживает. Глупость, конечно. Светка выучилась уколы эти делать, рассказывала, надо, мол, у виска, на шее, под глазами, а там нервов пропасть всяких. Но дело модное, прибыльное.

Вот и надо было иногда ее подменить, выручить, мало ли. Но Светка все равно свысока к Тишке относилась. Командовала. Меня-то Тишка сразу и не признала, топорщилась, кто это, мол, с ее Светочкой разъезжает. Ну, я с ней ровно, что теперь сделаешь, не на части же нам Светку теперь распилить. А потом привыкла Тишка, что ли. Вечером заметит меня, подойдет, расспросит. Узнала, что я с танками дело имею, так все веселилась, просила, чтоб как-нибудь свозил ее к нам в академию. Танка, мол, никогда близко не видела. Так и появилась у меня вместе со Светкой и еще какая-то жизнь, не только дульные тормоза и пальцы траковые.

А месяца через два вышла одна скверная история. Пошли мы в кафе, в Дровяном переулке, на самом углу. Я вперед двинул, Светка за столик села. Заговорил с девочкой за стойкой, про заказ что-то. И смотрю, девочка эта куда-то за мое плечо смотрит, внимательно так. Смотрит и в лицо меняется. Что такое? Поворачиваюсь. Светка поравнялась с какой-то плотной теткой. Поравнялась и застыла. Пялятся они друг на друга. Как кошки перед тем, как сцепиться, только что не шипят. Я к ним.

И слышу, как тетка Светке моей говорит, сорванным таким голосом: «Ну что, попалась, гадина! Теперь с живой с тебя не слезу, прям отсюда в милицию пойдем. Понятно?» Тут я сообразил, что тетка-то психованная, хотя по ней и не скажешь. Ну что? Беру я тетку тихонько под руку, тяну в сторонку. А Светка побелела, сумочку руками сжала и смотрит на нас. Тетка повернулась ко мне, шепчет: «Она мою сестру изуродовала. Вы понимаете! Она...» Я тетку к себе подвинул и говорю: «Вы бы присели, отдышались». И тяну ее уже серьезно. Тетка носом захлюпала, понесла околесицу какую-то. Света, мол, делала сестре инъекцию ботокса этого и нарочно что-то там повредила. Лицо у сестры на сторону и повело. Я только руками развел. «Вы не волнуйтесь, — говорю, — разберемся». А сам киваю Светке, чтобы она на улицу двигала, пока дурище этой «скорую» вызовут.

Народ вылупил на нас, лица похожие сделались, никак понять не могут, что случилось. Наконец, девки из персонала доперли, сдал я им тетку, хотя та и порывалась за Светкой махануть.

Вышел я на улицу. На душе кошки скребут. История странная, дураку ясно. Сели в машину, Светка курить потянулась, а руки трясутся. И все еще бледная, как полотно. Я молчу, ничего, ни полслова. Ну, закурила она кое-как. Жадно так затягивается. Будто только что из драки. По сторонам смотрит, через пару улиц, у другого кафе попросила остановить. Вылезает и смотрит сквозь меня, безразлично так.

А ведь уколы Светка и вправду делала, если попросят, так и на дом

приезжала. Но не полез я спрашивать, что, мол, за бред, не полез. Дурак, конечно. В этот момент как будто кто ко мне подошел, насквозь знакомый. Наклонился к плечу и сказал: «Ладно, брось, проехали... Не расспрашивай». Как уж я ждал, что Светка сама скажет, спуталась та тетка. Или там не в себе она. И что на самом деле, мол, по-другому вышло. Но ни-че-го, ровным счетом.

Бывало у Светки и раньше такое. Если погода сырая, серое все и город за окнами будто размывает, тогда к ней лучше не соваться. Если какая срочность, куда подскочить надо, так Света вызовет меня, сядет, как к незнакомому, «да», «нет», «ничего» и еще «не знаю». Лицо даже меняется. Серьезно. Глаза меньше делаются, рот сожмется. Нахмурится она, руками себя обнимет, будто холодно ей. Ну, всякое бывает, что же в душу лезть, только у меня всегда от таких ее перемен сердце сжималось.

Но ничего, сижу, молчу, вида не показываю. И как-то раз, в такой безрадостный день, Светка вышла было из машины, потом сунулась назад, за плечо меня взяла и говорит: «Не сердись, устала я просто. Не сердись, ладно?» И так горячо мне стало, приятно. Снова дурак, конечно. Только привязался я к ней накрепко.

Под хорошее настроение придумывала она прозвания для меня всякие. Сначала, например, был я просто «Костя-капитан». Потом надоело. «Шмагин, Шмагин... Нет, это не годится. Буду звать тебя Шпагин. Насквозь чтоб, навывлет. Костя Шпагин. Звучит, правда?»

Ну, а после того случая, с теткой двинутой, в кафе, сделалась Света скучная. Без улыбок, без выдумок, насквозь осенняя.

Раз я как-то позвонил. Она через два слова трубку бросила. Ждал, конечно, что пройдет. Неделью не видимся, другую. И тут взяла меня тоска. Привык я все же к ней. Но не станешь, как мальчишка, у дверей жаться. Что сделаешь. Ну, думаю, поноет, как зуб, да перестанет.

Хорошо, Мишка-друг покоя не дает. Дверью только хлопнет и ну орать. «Шмага, балда ты вятская, что сидишь,дохлый пистон, седьмого новые рации для броников привезут, знаешь или нет?» Рации так рации. Вызвал Аглямчика и Фонаря, рассудили, какие борта комплектовать, какие пустыми оставить. Аглямчик, голова, между прочим, сообразил, как напрямую запитать.

И закрутились дела по этим рациям. Сидишь до ночи, голова чугунная, пожрать некогда. Я даже и спать в кабинете у себя прилажился. Только изредка, на закате, подойду к окнам большим полукруглым, со спицами золочеными, что на набережную выходят. Облака оранжевым выкрашены, плывут себе за реку, важные, безразличные. Вдохнешь, задумаешься, сейчас про Светку и вспомнишь. Скучал я, выходит, по ней сильно.

Как-то в феврале, в туман и слякоть, остановился на Комсомолке сигарет купить. В воздухе морось какая-то висит, прохожие, как тени, мимо тащатся. Как будто тонет улица, пропадает, от всего города только и осталось, что эти вот три метра мостовой.

И вдруг вижу я, идет мимо моя Светка. В лице ни кровиночки, будто из нее всю жизнь выпили. Под ноги уставилась, еле тянется. В шапочке меховой, в шубке, сумочка кое-как болтается, сама по себе. Народ оборачивается. Плохо, мол, дамочке. Я подлетел к ней. Что ты, что? Она на меня глаза подняла и слабо так, чуть не по слогам, протянула: «Шпа-аа-гин, ты откуда?» Взял ее в охапку, сунул в машину. Там она разрыдалась. Колотит ее, ревет в три ручья,

захлебывается. Одну ее не могу оставить, мало ли, сейчас возьмет, под колеса и кинется. Пришлось военными методами обойтись. Тряхнуть да прикрикнуть.

Пока ехали до Преображенки-то, вроде ничего, утихла она, вздыхает только. А у набережной просит меня Светка тормознуть. Ну, чего тут тебе делать-то? Или плохо стало? Да, кивает, плохо. Остановился. Вышли из машины. Я, на всякий случай, рядом иду. Она рукой машет, постой тут, я, мол, дальше сама. А куда ты сама-то, возьмешь еще и в реку кинешься. Смотрит на меня, как на помеху, ну, отойди ты, пожалуйста. Ладно, остановился, жду ее. Светка к каменным перилам подошла, сумочку раскрыла, выглянула вниз, посмотрела, где промоина, вытащила из сумки сверток какой-то, в воду швырнула. «Костя, свези меня домой, я еле живая!» У меня в башке карусель, одна мысль другую цепляет, ни хрена не разберешь.

Приехали мы к ней. Села Светка за стол на кухне, лицо в ладонях спрятала и бормочет: «Ну, как же... Как же так!» Будто заело. Ну, дома не на улице. Повел в ванную, умылась. Посадил на кухне, чаю заварил покрепче. «Шпагин, у меня... вышла неудача... опять. Я расстроилась ужасно... вот и...» Руки стиснула, в одну точку смотрит.

Вижу, дело в тупик зашло. «Ложись-ка ты, Свет, спать. А я тебя покараулю». Она посмотрела на меня странно так, будто впервые видит. Пошла в спальню. Потом вернулась в халатике, кровать разобрала. «Иди, Шпагин, сюда. Мне страшно». Вот удивила, то не дотронешься, то спать укладывает. Ладно, как скажешь. Только прилег, она ко мне прижалась и шепчет: «Скорее, Костя, скорее...» Куда гонимся, не на поезд ведь. Неприятно как-то, обнимаем-ся, а понятно, что не в себе она теперь.

Потом я все курил, в окно смотрел. Там огонечки один за другим гасли. Троллейбус последний проскрипел, наступила тишина. Загасил сигарету, прилег, тут меня и сморило. Просыпаюсь, Светка уже на ногах. Тихо так встала, я и не почувствовал. Стоит у окна, силуэт темный, сигарета угольком тлеет. «Чего ты, — спрашиваю, — вскинулась? Рано ведь, поспи еще» — «Не хочу. Со мной все нормально».

А в голосе следа нет от того, что вечером-то было. Пригляделся, у нее кисть бинтом замотана. Я вскочил, подхожу, обнять хотел, она выскользнула, резко так. В сторонку отошла, поморщилась. «С рукой-то что?» — «Неважно, неважно... Знаешь, Костя, ты поезжай домой. Сама справлюсь, все прошло уже». Да где же, милая, прошло, если рука у тебя порезана, на столике ножницы медицинские, острее бритвы. И вата на полу валяется, вся в крови.

Отзвонился Мишке-другу, аврал, мол, у меня, зайди к Капкану, объясни. Тот мигом понял, на то он и друг, положиться можно. И остался я у нее. Светка, правда, не в духе была сначала. Все гнала меня. Я говорю: «Ладно, Свет, ладно, поругалась и хватит. Давай завтрак готовить. Молоко у тебя есть? Обещаю кашу, геркулесовую, полезную. Идет?» Она кивает. Так провели мы неделю. Вижу, оттаяла немножко. Отвез ее на работу. И с утра до ночи, сколько мог, крутился возле. Как дальше будет, не задумывался. Разве угадаешь. Не сидит хмурая, уже хорошо. По ночам у окна не мается, еще лучше. Так день за днем и тянулось. У Светки какие-то выдумки выплывали, то суп давай варить, то полки вешать. В мелкие, простые дела ныряла она, как в омут.

Передвигали мебель, приколачивали полки эти, мало ли дел. Книжек у нее полна квартира. На корешки взглянешь, так не сразу и разберешь. Особые

состояния при патологии чего-то. Клинические невроты. Всякое. Ведь кое-что и я понимаю, например, в баллистике, расчеты тоже нехилые. Но тут другое. Вот взять да вылечить кого, пойдика, попробуй. Тут на одной математике не выведешь. Вроде колдовства. Человек не дизель, на части не разберешь. И живой, и боится, больно ведь ему.

К выходным просит Света съездить с ней к отцу. Ну, думаю, на лад дело идет, раз про отца вспомнила. Я-то был уверен, что померли ее родители. Ни разу не оговаривалась про них. Про детство там, как жила, с кем, ни полслова. Только чуть к этому разговор подойдет, она топорщится, губы сожмет, идет курить. У всех фотки по углам расставлены, а у нее ни черта. Только одна, стоит у забора девочка хмурая, в сторону смотрит. А на обороте написано: «Ветка-Веточка, от жаркого июля...» Не разобрать дальше, затерлось. Ну, что лезть, может, там история какая тяжелая вышла. А тут оказывается, отец-то жив.

Встали мы пораньше. Накупили всего в гастрономе, потом еще в хозяйственном, еще в аптеке. И поехали.

Есть в Москве такой проулочек, стоят там хмурые салатовые корпуса. Клиника психиатрическая на Потешной. Дурка. Вот, значит, где Светкин папашка. Подъехали мы. Светка быстро так заговорила, слова будто кинулись от нее врассыпную, как начала она разъяснять. Отец, мол, сильно пил. Потом, когда мать умерла, совсем стало с ним неважко. Припадочки то и дело... Вот и пришлось его сюда определить. Она приплачивает немного, чтобы держали папашу в условиях поприличнее, не совсем уж в каземате. Иногда возит продукты, мелочи всякие, клеенку там, вату, лекарства отцу, да и врачам с санитарками.

При воротах у лечебницы сторож стоит. Света с ним потолковала, пропустили нас. Смотрю, снова она мнется. «Ты, — говорит, — не ходи наверх, помоги только донести, а там уж я сама». Пошли мы дальше, думал, решетки да запоры. Нет, дежурный спросил куда, к кому и всего-то. Оставила Света меня на лестнице, а сама выше поднялась. Стою в дверях, сквозь оконца мутные парк разглядываю. Тоскливое это место, Потешная. Вроде и чисто, плафоны голубенькие теплятся. А все же оторопь берет.

Тут из-за угла стык-стык, шарится кто-то. Сначала врачиха появилась, пузатая, глаза цепкие. А за ней дедок приперся. Куртка на нем серенькая, брючки мятые, худой, на затылке седой хохолок. Но без тапок, босой. А лицо... Как взглянул дедок этот на меня, будто меня толкнули. Похож ведь, на нее, на Светку-то. Глаза крупные, лоб высокий, брови красиво так поставлены. Легко так черты прорисованы. Только у Светки лицо спокойное, а у него... Время от времени будто волны проходят, морщится он, шурится, смотреть неприятно. Что сказать, сумасшедший. Хмыкнул дедок, ноздри раздул, на врачиху оглядывается. Та про Свету спросила. «Она, — говорю, — на этаже где-то». Врачиха ухватила Светкиного папашку за рукав. «Щеглов, посиди, милый, тут, на стульчике, ни к кому не лезь, а то... сам знаешь. И одел бы ты шлепанцы, в самом деле». Тот кивнул и скрылись они за дверью.

А через минутку-другую слышу, пятки босые по полу шшык-шшык. Папахен Светкин вернулся и на меня смотрит. Поморщился он, будто от кислого. И пальцем желтым к себе манит. Ладно, думаю, не съест, подхожу ближе. Он пыжился, пыжился. «Чего, — спрашиваю, — папаша, надо-то тебе?» — «Ты Светочку привез?» Я кивнул. Оглядел меня опять и пальцами, раз,

лоб мне ощупал. И улыбнулся. Ну, дядя, этим не удивишь. Потрогал, так и на здоровье. А все же жду, не выкинет ли еще какой штуки. На вид хлипкий, если кинется, не велика важность, завернем. Но противно, как вот от вида калеки какого, холодком по сердцу тянет.

«А рожки-то есть, надо же, не успел спрятать. Ты ведь черт?» Ну, что на такое ответишь. «Папаша, извините, не знаю как вас по имени-отчеству, никакой я не черт, а капитан-танкист, про чертей зря вы начали. Их вообще не бывает». Тут папашка засмеялся, мелко так трясется, аж заходится. «Во-во, — шепчет, — вы на это, чертяки, всегда и рассчитываете, что никто не поверит. Только я уж вижу...» Ну, думаю, пошло дело, где только врачу со Светкой носит, за больными присмотра нет. Этак он тапки напялит и за ворота кинется, чертей ловить.

Тут зацокало по коридору снова, вываливают обе. Светка нас вместе с папашкой увидела, сморщилась, губы кусает. Я киваю ей, брось, мол, нормально все. Тянут они папашку за собой, пошли, мол, поговорил чуток, давай обратно. А тот совсем разошелся: «Ну, даешь, Светка! Черт тебя по городу возит. Смотри, не утащил бы в пекло, за тем он и явился!» Светка мне машет, иди ты, мол, вниз, не отсвечивай тут, приду скоро.

Покурил я во дворике сером, печальном, подождал немножко, тут она и спустилась. Расстроенная, конечно, настроение фиговое, что сказать. А я как посмотрел на нее, как идет она, глаза опустила, лицо вытянулось, но держится, не плачет, захотелось подойти и сказать, что выходит она мне самая родная, нет на свете ближе. Зубы сцепил и стою, молчу. Сухарь он и есть сухарь.

Та осень выходила цветная, нарядная. В выходные полюбили мы гулять по Яузской набережной, от парка до моста, а от моста до самых шлюзов. Иногда встречались нам курсанты, козыряли мне, Свете нравилось, как я им отвечаю. Улыбалась, морщила нос, входила во всякие военные тонкости.

А по вечерам занималась. Обложится книжками, раскроет, давай листать. Иногда раскладывала атласы специальные, где шея, уши, брови крупно разрисованы, важные части обозначены, стрелочки да кружочки всякие. Безответный такой человек, разлиновали и некуда ему деться. Вот Светка до ночи сидела над книгами, шевелила губами, водила пальцами в воздухе, будто колдовала. Странная все же профессия, от других в стороне стоит, да без нее-то не проживешь.

В отдельном альбоме помещались у нее фотки, только лица. Мужские, женские. Слева нормальные, а справа тот же человек, но будто гримасу корчит, щеки растянул или брови наморщил. Странное, надо сказать, зрелище. Возьмет иголки тонкие, примерится и вкалывает их по линиям особым, и на щеках, и у висков, и на скулах. Но Светка не любила, если смотрю, гнала меня. «Ты мне не мешай, Кость, ладно? Тут примеры всякие показаны, нарушения лицевых нервов. Методика тонкая, чуть в сторону взять, сморщатся лица, как помидоры. Кривули...» Сказала Светка словечко это странное, «кривули», сказала и усмехнулась. Будто веселое что-то в альбоме своем отыскала, остальным непонятное. Покоробило это меня, ничего ведь смешного, только грустное тут да больное.

Утром уже составил все вместе в голове, призадумался. А через день выбрал время, когда Светы в клинике не было, нашел Тишку. Та выбежала, будто ждала меня. Рассказал ей, как есть, про тетку в кафе, про кривуль. Тишка головой

закрутила, очки сняла, в пол уставилась. Смотрю, губы у нее задрожали, всхлипывает, платочек в кулачке тискает. «Светлана... она... вы ошибаетесь...» — «И прекрасно, если ошибаюсь. Только выяснить надо. Да скажи, что нам делать-то, ты же врач?» — «Надо будет, надо...» Ну, добился, что договорится она с кем надо, по этой части. Тишка мнется, краснеет. «Вы ее, — говорит, — только не заставляйте, хуже выйдет, я знаю... Сначала...» И Тишка все сжимала кулачки, смотрела синими глазами куда-то мимо меня.

Вечером приехала Света в настроении. Ужин похвалила. Самое время, думаю. Как начался у нас разговор, она разозлилась. «Показаться? Придумал тоже, — шумит, — а после на Потешной поселиться, вместе с папой?» Плечами повела, подошла к окну, щелкнула зажигалкой и уставилась на оранжевый газовый язычок. Никак не оторвется.

Но к вечеру успокоилась, согласилась, правильно, мол, надо съездить. «Только врачи, — говорит, — лечиться не любят. Они и так про себя знают, что к чему... Но ты прав, Шпагин. Только вот отдохну недельку-другую, и поедем, ладно?»

Насиделась с книжками своими, выходит на кухню. Я чайник поставил, только холодильник открыл. Тут Света как лупанет чашкой, самым доньшком, о столешницу. Дрызнули по стенам осколки. Тряхнула она пальцами, уронила ручку от чашки мне под ноги. И тихо так говорит:

— Кривули... одна за другой!

Гляжу, плечи у нее вздрагивают. Я к ней шагнул, она огляделась, будто удивлялась, как же это, мол, случилось, с чашкой-то. Спрашивает меня про веник, а всю так и колотит.

Месяца полтора держалась Света. А к зиме пошло все по-старому... Поехал я снова к Тишке. Та только меня увидела, сморщилась вся, как от кислого. Зашли мы в уголок, за колонны. Оказывается, всплыли странные Светкины дела. Вышел скандал. Кое-как замяли, но в клинике работать ей запретили. Слушаю я, а Тишка все это выговаривает, скороговоркой, спешит отделаться. И совсем ведь недавно Тишка-то как на Свету смотрела, выпрашивала, слушалась с удовольствием. Теперь были глаза у девчонки пустые, безразличные. Пропадает, мол, и пускай себе.

Рядом разговоры чужие, веселые, громкие, про обед люди толкуют, про зарплату. Дверь на улицу скрипит, из столовки запахи ползут жирные, щиплют там у них, что ли. Тишка давно уж от меня сдернула. Даже не кивнула на прощанье. Теперь противно ей было про Светку говорить. А я все стою, гляжу на суету, на тени за окнами и понимаю, теперь только я один и остался против всех Светкиных страхов. Скособочился и пошел оттуда восвояси.

Светка вечерами в платок пуховый кутается, поближе ко мне приткнется и подремывает. Кое-как ночь переждем, а утром к ней не подходи, чуть свет вскинется, разведет скандал, гонит меня, в глаза не смотрит, будто не узнает. Ну, плюнешь, шинель кое-как в рукава сунешь и на лестницу. Вскочишь на улицу, никого видеть не хочется. И хуже всего, стал я злиться на нее, нехорошо так, тяжело злиться. А выхода нет, отвязаться не могу, тянет к ней, а вместе у нас никак не выходит.

Поругались мы однажды, чуть ли не до драки. Поругались и разъехались.

Но каждое утро тянуло меня увидеть ее, поговорить последний разок, уж как выйдет, так и ладно. Приеду, машину брошу на углу и жду. Вот-вот должна выйти. Да только духу не хватало. До трех раз не выдерживал, задний ход давал.

3.

Снег пошел неожиданно. Ветер носил хлопья над набережной, мешая им разлечься как следует. Не прошло и четверти часа, троллейбусы, легковушки, здания, обводы моста покрылись белым пухом. Трамваи звенели, торопились. Им, трамваям, всегда некогда. Народа немного, хотя и будний день, просто рано еще.

Запахтел рядышком трейлер. В высоком кузове мотали лошади головами за сетчатым окошком. Засмотрелся я на лошадей, не заметил, как Света на дорожке-то появилась. Увидела меня, шаг замедлила. Я ей под ноги смотрю, а на снегу отпечатываются подошвы высоких ее сапожек. Силуэт носка на сердечко похож. И рядышком вмятина глубокая от каблука. Сердце, точка, сердце.

— Зачем приехал, сказала же...

— Ну, поедem, поедem, не злись!

— А не поеду, тогда что?

— Поедешь.

— Слушай, капитан. Мы друг другу ничего не обещали. Ты мне никто. Видеть тебя больше не хочу, понимаешь. Ни-ко-гда. Вот так!

Мне казалось, как и всегда кажется в такие минуты, что есть еще возможность вернуться на шаг, на день, на неделю назад. Но мои слабые, надо признать, угрозы ни к чему не привели. Висок у меня заныл, это был плохой признак. В облаках над нами появился просвет, выглянула оттуда стылая синева.

— Да что ты сделаешь?.. Ты, ты... у меня игрушкой был. Валяла тебя, как хотела. Теперь взяла и выбросила, ясно? Тряпка!

Тут она, наверное, заметила в моих глазах какие-то судорожные опасные позывы, отступила назад, огляделась.

— Правда, что ли, застрелишь? Нет? Эх, Шпагин, Шпагин, если бы...

Света развернулась, пошла по дорожке прочь. Медленно так пошла. Вот поправила воротник шубки, сумочку поправила. Как будто незнакомая, чужая совсем женщина. Выскочило тут передо мной мертвое словечко «никогда». Кипяток плеснул в висок, стало душно. И липкая моя ладонь выволокла «макарыч» из кармана.

Тут минуты две не помню. Линии какие-то поперек, крапинки серые прыгают. Нет, не помню. А вот потом все до точки ясно выходит: как подбежал, как поднял ее на руки. Света закидывала голову назад, дышать ей было трудно. Как нес ее в машину. Трубку сунул к уху, телефон запищал, гудки толкнули друг друга, женский голос спросил, что случилось.

Я объяснил. Приехали быстро, только никак не мог я сообразить, как уложить ее поудобнее. «Милицию? Вызвал. Конечно, конечно... Кто? Кто-то. Нет, не видел». Света лежала, как замерзшая принцесса в сказке, не помню название. Ей тут же вкололи что-то, перевязали поверх платышка, как в бою. Она пришла в себя и сказала: «Шпагин, а ты ведь настоящий. Зря только думала...» И что уж думала, так я и не узнал.

В клинике старались еще с полчаса, но куда там. Потом они вышли, сказали мне. Дали закурить. Спросили, конечно, как и что. «Вы подождите, сейчас приедет, чтобы...» Только у меня были еще дела. Не стал дожидаться.

Я поехал домой, переоделся. Потом пошел к Мишке-другу. Рассказал ему. Он башкой замотал, запрыгали у него губы. Все уговаривал он меня, кулаки сжимал. А что подделаешь, дело ясное, сжимай не сжимай. Оставил ему денег, просил устроить все по-человечески. И к Светкиному отцу иногда заглядывать. Мишка-друг обещал. Потом я поехал к Светке на квартиру, прибрал там кривулек, еще кое-что, чтоб чужие не копались...

Ну, вот я и пришел. Быстро. У ворот часовые румяные в полушубках... Привет, ребята, звать меня капитан Шмагин, прибыл в военную прокуратуру с повинной. Я утром звонил. К Николаю Ванычу, сказали, к Зиновьеву. На втором, шестой кабинет? Понял.

— ...Николай Ваныч? Капитан Шмагин...

Тут пауза. Следующие фразы трудно мне оказалось вытолкнуть изо рта, но я постараюсь. Воды? Нет, воды не надо, я так, на сухую, попробую. Только б начать.

— ...Светлану Щеглову... Что? Из табельного оружия.

И на стол перед Зиновьевым улегся тяжелый черный пистолет.

Про кипяток в башке полковнику неинтересно будет. Почему так вышло? Вопрос в точку. Только что скажешь? Была же какая-то причина. Сама она так придумала? С отчаяния, что ли? Иначе не выходило? Не знаю. Из ревности? Да. Вот это верно. Пусть так и в протокол пойдет.

Костюм я, конечно, зря напялил, надо было джинсы и свитер. В камере-то холодно. Собрался, как на парад. Дурак, конечно. И потом... Если будет это самое «потом», попрошусь обратно в училище. Хоть на склад, хоть под лестницу, в каптерку, простыни с портянками выдавать. Куда и кривых бывших капитанов принимают. Интересно, в военной тюрьме есть ли еще такие? Или я первый буду?

— Ты раздевайся, Шмагин, присаживайся... Чаю хочешь? Нет? Ладно... Теперь рассказывай, только подробно.

— Полтора года назад в училище, как раз в самую запарку, когда пошла уже абитура...

«Шпагин, Шпагин, ты настоящий...» А в хорошую погоду вышагивали мы вдвоем по набережной. И любила она, когда курсанты мне козыряли.

Ровно в восемь

1.

Неотложка стояла в арке, у самого корпуса. Шофер хлопнул дверцей, отошел к стене и достал сигареты. Теперь ему придется ждать, доктор Ваныч и рыжий фельдшер пошли оформлять убитого. Шофер взглянул на стоянку у неврологии. Он раздумывал, не сходить ли ему за запаской. Теперь у него есть время. Ведь как сюда летели, с сиреной. Рыжий торопил его уже на подъезде к клинике. Но тут Ваныч буркнул, не довезем, мол, кончается. «Слепой огнестрел... Легкие провисли».

Шофер огляделся. В старом больничном саду шла своя жизнь. Подумаешь, невидаль, убитый. Прокатила неотложка к травматологии, следом за ней тащился грузовик. Вот он остановился, закрипел и медленно подал назад, к закрытой на решетку площадке с кислородными баллонами. Из-за кустов притащилась полосатая кошка. Она вытянулась на траве у бордюра и зевнула.

Неотложку вызвали двое, кудрявый мужчина и девушка. Они все еще сидели в машине. Девушка склонилась над мертвым человеком, лежащим на носилках. Голова его была запрокинута так, что тяжелый подбородок задрался кверху. Девушка достала платок и протерла теплую еще шею убитого, испачканную в крови. Лицо девушки морщилось, губы дрожали, но она все водила платком по шее, у уха и на скуле, везде, где оставались бурые пятна. Потом попробовала уложить тяжелую голову убитого ровно, но голова снова свесилась назад.

В салоне слабо пахло рвотой.

Кудрявый сидел на узкой скамейке, сцепив пальцы. Он посмотрел на темные пятна на полу, потом взглянул на носилки. Рубашка убитого распахнулась, выше повязки на желтоватой груди темнела опалина от выстрела.

— Перестань!

Девушка бросила платок и всхлипнула. Кудрявый взял ее за руку. Они осторожно протиснулись мимо убитого, стараясь не наступить на пятна. Вышли и остановились у сирени. Кудрявый уставился в парк. Девушка раскрыла сумочку. Губы ее были крепко сжаты, а на щеке расплылась розовая отметина, как будто девушку ударили.

Шофер докурил и вернулся к машине. Он взглянул в салон. На фоне задней двери выделялись темные подошвы. «Хорошие у покойника ботинки. Кому теперь достанутся? Так и пропадут. Санитары влегкую снимут», — лениво подумал шофер и отвернулся.

Кошка улеглась на бок и закрыла глаза. По дорожке, мимо подстриженных кустов, шла к воротам толстая тетка. Левая рука ее была уложена в белый пышный лубок. Дверь корпуса распахнулась, показался рыжий фельдшер с каким-то парнем в халате. Они тянули за собой облезлую каталку.

«Пару раз еще мотнуться и шабаш... А эти могли дать хотя б полштуки. Салон-то испачкали. Пойти, что ли, запустить им?»

Шофер взглянул на часы: ровно восемь.

2.

У подъезда Наумову встретились две девчонки. Одна рыжая, с короткой стрижкой, другая глазастая, темная.

— Во Маринка сучка, а! Зачморим, не боись...

Быстро выплюнув это, рыжая взглянула на Наумова и облизнула губы. У темной заплаканные глаза. Она стоит, сведя вместе носки своих кроссовок. Интересно, как они будут чморить эту самую Маринку? По шее, наверное, наваливая? Молоденькие совсем. Странные. Вроде марсианок.

Таких, как Наумов, девчонки обычно не замечают, смотрят насквозь. Фигурки как у Барби: тонкие руки, ноги-палочки и перекладина бедер. А еще

в драку лезут. Раньше девчонки дрались? Конечно, еще как. Только это были свои, понятные девчонки.

А все же вот этой, рыжей, больше пошла бы юбка, а не эти брюки-мешки. Грубые какие девчонки, прямо наждак.

Да тебе-то какое дело? Совершенно никакого.

Наумов потянул на себя дверь парадного. Поднимаясь на лифте, он раздумывал о машине. Свою он зимой еще сдал. С тех пор ни фи́га не выходит. За новую лимон просят.

Дверь открыла Женечка. Открыла и улыбнулась.

— Опаздываем?

Потянулась к нему, поцеловала в щеку. Он сжал ее локоть, Женечка усмехнулась, локоть отняла. Поправила кофточку и пошла в кухню. Наумов посмотрел ей вслед. Вот Женечка не марсианка. Женечка его понимает. Или нет?

Он сел на банкетку и потянулся к зеленым тапкам. В комнате о чем-то говорили, выделялся Яшин хриплый голос. Женечка вернулась, и они пошли в комнату.

Все были уже в сборе. Наумов огляделся. Саня, Майка, Женечка и Яша. Ну, это свои. Еще Борис с какой-то девочкой. Совсем молоденькая. Саня полюбил собираться, когда стало ясно, дела пошли в гору. Что Саня стал богатый. И можно похвастаться перед старыми друзьями. Разве столько заработаешь, даже если жить двести лет. Или он, Наумов, зря так думает? А Саня просто Саня, удачливый и свой. Можно попросить у него денег на машину. И Саня даст. Зачем же еще нужны богатые друзья?

Эта девочка сидела у самого окна. У нее был остренький профиль, будто тонким карандашом наскоро провели. Виски запали. Губы тонкие. И крупные серые глаза. Наумов вспомнил про девчонок во дворе. Эта тоже ведь марсианка, но совсем другая. Вот она бы его поняла. Откуда ты знаешь? Такие лица были у девочек в его прошлом. И взгляд. Какой? Так Женечка смотрела раньше. Не так, как сейчас. Не оценивая. Не прицеливаясь. Как будто понимала то, что ты не успел еще сказать. Как будто во всем городе вы остались вдвоем... А, может, просто попа у нее вытянутая, небольшая такая попа, даже не как «О», а как «0». Вот какая. Тебе это надо? А никто и не предлагает. Пришел, садись и смотри в тарелку. У тебя своя марсианка имеется. Таней зовут. Забыл?

— Наумыч, ты ли это? — заорал Яша. Он был уже красный. Женечка укоризненно взглянула на него, потом на Наумова. Потом на девочку у окна. Женечка приметливая. А ты ей не звонишь, Женечке-то. А позвонил бы, что вышло. Опять то же? Нет, Женечка его понимает лучше других. А Таня? С Таней они стали ругаться слишком часто. И вообще. Вообще.

Наумов опустил на стул, стоящий с краю. Яша начал про вчерашний футбол, но тут Саня сказал:

— Раз пришел последним, пусть скажет!

Яша уже мигал ему, предлагая водки. Женечка поставила тарелку. Наумов сказал, что вставать не будет, что он с места. Когда Яша выпьет, особенно заметно, как Яша постарел. А ты помолодел, что ли?

Наумов снова посмотрел на девушку у окна. Она передавала кому-то хлеб. Он все выдумывал, какая она. Бывают яркие красавицы. Темные глаза, фигура, носик. Еврейки или с юга там. С такими связываться опасно. Не потянешь. Девочка у окна была обычная. Московская девочка, каких теперь не часто

встретишь. Она так отличалась от женщин рядом. Ничего однажды решенного, вставленного в рамки, безразличного. Того, что высказывало теперь в Майке, в Женечке. И в Тане. Интересно, зачем эта девочка связалась с Борисом? У него брюшко, подбородок висит. И брови торчат. А ты хотел, чтоб она с тобой связалась? Может, дело в том, что она молоденькая? И что попа у нее как «0»? И остальное все, про глаза там, про понимание просто выдумки?

На ней серое платье и пестрый шарфик. И у платья этого нет еще истории («Надставили... а в груди маловато... подол поехал... обтянулась вся, нет... не годится уже»). Платье еще не попало в пухлые фотоальбомы («это мы в Германии... у меня было такое платьице летнее, с высокой талией...»). У этой девочки нет (и никогда не будет?) складок на боках. Она легко удивляется, она улыбается тогда, когда ей весело. А не когда надо.

Тут к Наумову сунулся Яша, он сладко дышал вином. Яша хотел с ним выпить. Вот у Яши есть история, это вам не платье. Раньше Яша был худой. На третьем курсе он женился на высокой нервной рижанке. На Хильде. Они с Саней все смеялись: Яша, мол, должен теперь сменить фамилию на прибалтийский манер, чтобы кончалась на «каускас». С Женечкой Яша сошелся уже потом.

Майка о чем-то болтала с марсианкой в сером платье. А, может, Лена из Ростова? Ну, конечно. В Ростове девочки крупнее. Особенно, если смотреть сзади. Уже не «О», а целая «Ф», не меньше. Ну, а если Борис просто сидит рядом? Если он не имеет к ней никакого отношения? Нет, так соседи по столу не смотрят.

Майка усмехнулась, перехватив взгляд Наумова, скорчила рожицу.

Борис был у них, наверное, старше всех. Обычно он приходил один. Жену его, смуглую невысокую Лару Наумов видел всего-то раза два. Они с Борисом были женаты давным-давно. У них сын Семен (третий курс Бауманки), пуделиха Пиля и большая квартира на Павелецкой. Борис работал в прокуратуре. Об этом Наумов узнал случайно. Как-то Борис помог Сане, когда тот связался с подрядчиками и чуть не погорел. Говорить о своей работе Борис не любил. Был он спокойный, полноватый. Волосы зачесывал назад и носил очки в тонкой оправе. У него был крепкий подбородок с ямочкой. Что это его на марсианок потянуло?

Все выпили. Кроме Лены и Наумова. Она смотрела в просвет между шторами, в небо. А он снова смотрел на нее.

Сейчас хлопнут по рюмке, заведут музон. Настоящие их танцы давно закончились, но не станешь же обжиматься без повода. Не поймут. Поэтому какие уж танцы, топчутся на месте. А тебе что, обязательно вприсядку?

Яша потянулся было к Женечке, но она отвела его руки, переставила от Яши бутылку и тронула Наумова за рукав. Они пошли танцевать. Наумов придерживал Женечку за полные локти и молчал. Отсюда, от дверей, ему был виден затылок Лены. Волосы она зачесывала назад, прихватив сбоку узорчатой гребенкой.

Все мужчины в комнате были, пожалуй, богаче и удачливее Наумова. Но ему казалось, есть что-то еще, в чем он, Наумов, впереди. Как когда-то, когда все они были моложе. Когда на этих самых прудах, которые видно с балкона, пошел дождь, а зонтиков у них, конечно, не оказалось. Саня взял Майку на руки и помчался к остановке. Наумов и Женечка бросились за ними. Женечка была тогда тоненькая, совсем как эта Лена...

— Раз со мной танцуешь, так и смотри на меня! — велела ему Женечка.

— Я смотрю, — сказал Наумов. Женечка прижалась к нему.

Это она нарочно. Чтобы он не смотрел на Лену. Хотя какое ему до нее дело, совершенно неинтересно. Куда ему с марсианкой справиться. Пускай и похужей на обычную московскую девушку. Из того времени, когда Наумов был куда умнее. И моложе.

— Борис зря привел ее. Теперь мужики сбесятся.

— Майка приглядит.

— Подумаешь, Майка, станут они спрашивать.

— А что у него с Леной?

— Говорит, знакомая. Да уж видно, какая. Ларка ему покажет. Ведь у них Семен жениться собрался к осени, а тут такие дела. Ладно, наплевать. Ты лучше Расскажи, как жизнь?

Наумов обнял Женечку. Он видел, как Борис что-то все говорит Лене, а та качает головой. Вот к ним пролез Саня, он наклонился над Леной, она улыбнулась ему и поднялась. Пока они танцевали, Лена и Наумов переглядывались.

Ну, вот и все. Разрешенные объятия кончились. А Женечка что-то расстроилась. Не поймешь ее, то посылает, то давай снова.

Саня кивнул Наумову и открыл дверь на балкон. Они пошли курить втроем, Наумов, Саня и Лена. Борис остался сидеть. Он медленно двигал рюмку по скатерти. И смотрел куда-то сквозь танцующих. Смотрел в стену, как смотрят вдаль.

— ...Высоко. Отсюда Тимирязевку видно. Левее парка пруды. Не знаешь, купаются там?

Саня молча курил и смотрел, куда указывала Лена. А Наумов смотрел на ее тонкие кисти и улыбался. Лена обернулась, взглянула на Наумова.

— В этом парке одно место странное есть, грот. Только он теперь за решеткой. А раньше, когда мы учились, было все открыто. Там еще медный лев стоял. Если погладить ему хвост...

Лена потеряла нос и улыбнулась. Наумов рассказывал дальше, глядя на ее щеку и ухо. Кожа золотилась под солнцем, на скуле виднелся белесый пушок. В маленьком ухе девушки раскачивались длинные серьги с рубинами. Наверное, Борис подарил.

А в Тимирязевку Наумов ходил с Женечкой. Она ему, дураку, стихи читала. Бродили до ночи. Однажды началась гроза, они встали под старой липой, как под козырьком. Наумов обнял ее, они долго целовались, а потом Женечка заплакала. Но все это было очень давно.

К ним вылез Яша и увел Лену танцевать. Наумов хотел спросить у Сани про деньги, но в комнате Яша танцевал с Леной, и Наумов беспокоился. Он перехватил взгляд Лены и быстро вышел с балкона.

— ... Старик, старичок, я же в рамках, в рамочках... — бормотал Яша, когда Наумов оказался перед ними. Но Лена уже положила тонкие руки Наумову на плечи. Они двигались еле-еле, не глядя друг на друга. Яша отошел, сел рядом с Женечкой и подпер голову рукой. Потом выглянул из-под ладони и что-то сказал Женечке. Она улыбнулась и шлепнула Яшу по плечу.

— А Саня где работает? — спросила Лена.

— Строительные дела. Документы для застройки сочиняет. И продает.

— Он в машинах здорово разбирается.

Наумов кивнул, положил ладони на узкие ее бедра. Лена вздохнула и придвинулась к Наумову. Они остановились. Просто стояли, обняв друг друга, стояли, не слушая музыку.

— А ты где работаешь?

— В страховой компании.

Лена улыбнулась.

— Правда?

— На самом деле я гонщик. Ралли Париж-Дакар. На грузовиках по пустыне.

— Понятно... А я целый день сижу, в окно глазею. Самое главное на работе — комп включить. А потом смотреть на синиц. У нас кормушка на подоконнике, семечки им покупаем. Только надо сушеные, а не жареные. Чтоб не отравились.

Майка наклонилась к Борису и о чем-то говорила с ним, придерживая платье на груди. Но все равно видно было ложбинку между ее грудей. Тонкая цепочка раскачивалась у лица Бориса. Хорошо, когда женщина знает, что и когда надо показывать. А Борис и ухом не ведет.

— Веселая у вас компания. Я думала, скучно будет, а тут...

Майка посмотрела на Лену и положила руку Борису на плечо. Наумов прошел и сел на место. Женечка придвинулась к нему. Наумов смотрел на ее полную кисть. На запястье белел широкий старый шрам. Женечка перехватила его взгляд и вернула браслет на место. Про этот шрам Наумов знал слишком много. Но никогда себя не винил. Нет, наверное, не так, в этом вообще нельзя никого винить. А в чем тогда можно?

— Значит, ничего нового?

Наумов пожал плечами.

— Наверное.

Лена пошла танцевать с Саней, а Майка все тянула за собой Бориса, но он что-то быстро говорил Лене, не обращая на Майку внимания. Лена слушала Бориса и смотрела перед собой. Лицо у нее было задумчивое, как будто сидела она вовсе не за столом, и не было музыки. И вообще никого рядом не было. Как будто Лена сидела в парке и смотрела на воду.

Борис встряхнул кистью и поднялся с места. Лена взглянула на Наумова и сжала губы. Как будто ей неудобно было за Бориса. Майка старалась изо всех сил, она обняла Бориса за шею, закрыла глаза и положила голову ему на плечо. Борис вел ее ровно, безразлично смотря поверх Майкиной головы.

Наконец все устали и бросили танцы. И Майка велела всем налить.

— У нас есть Саня. Иногда он бывает хороший. И я хочу выпить за того Саню, который сегодня утром...

Саня развел руками, Женечка потянулась целоваться, выкрикивая: «И меня тоже, меня...» Майка пихнула ее, Женечка увертывалась. Яша поднялся и чокался со всеми. Борис подался к Лене и сказал ей что-то. Она покачала головой. Борис поднялся и подошел к Сане чокнуться. Потом склонился над Майкой. Та погладила его по рукаву.

— Ну, что, посидел бы, рано еще...

Борис выпрямился и посмотрел на Наумова, потом на Лену. Поставил недопитую рюмку на край стола и вышел из комнаты.

Наумов открыл кран. Подержал в воде ладони и прижал их к лицу. Пора собираться. Он вытерся полотенцем с красной каймой и открыл дверь. В коридоре стояла Лена. Когда Наумов проходил мимо, она сказала:

— Проводи меня.

Сказала так, как будто они договорились об этом давным-давно.

Когда входная дверь за ними захлопнулась, Наумов сообразил, что не попрощался с Женечкой. И она теперь будет расстраиваться. Или не будет?

Они с Леной шли по дорожке вдоль парковой ограды.

— Раньше сюда ходил автобус от Новослободской. Долго надо было ехать до академии. Давным-давно... А ты далеко от дома работаешь?

— Далеко. Меня родители устроили. К знакомым.

— На мою первую работу меня тоже устроили родители. Я смотрел на это, как на странную игру. Приходишь, сидишь, так еще и деньги платят. Правда, немного.

— Вот и у меня так.

— Мне раньше казалось, сама собой возьмет и найдется настоящая работа. Как в кино показывают — важная такая работа.

— Ну, и как, нашлась?

— Откуда?

— Тут можно наискось срезать. Пойдем?

Лена быстро взглянула Наумову в лицо и кивнула. Она сказала «давай», глядя куда-то в сторону. Как будто ей все равно, куда именно они теперь пойдут.

— А Женечка, она кто?

— Женечка? В издательстве работает. Редактор.

— А Майка?

— Майка — дама научная. Физфак закончила.

— Как они с Саней познакомились?...

Что она взялась расспрашивать, какое ей дело до Женечки, до Майки? То взглянет на него, то ответит глаза, как будто примеривается. Ведь всего час назад он был твердо уверен, что Лена не умеет смотреть, прицеливаясь. Значит, он ошибся. И надо попрощаться, и забыть про марсианку Лену.

— Интересно угадать, какими были детьми прохожие? Ведь не выпекли их сразу в виде дядьки с портфелем или бабки с сумкой? Вот эта, например.

Навстречу им шагала высокая тетка. Важная такая, в цветастом платье. Носатая, в очках. Глаза темные, щеки отвисают. Когда поравнялась, тетка строго взглянула на Лену, потом на Наумова. Как будто что-то плохое знала о них. И пошла себе дальше. Лена пихнула Наумова локтем.

— В классе она была выше всех. Мальчишек пихала, чтоб не лезли. А девочки считали ее дурковатой. Некрасивым вообще тяжело. А потом она выучилась, как себя вести. Подобрала одежду, покрасилась. Ты какой был в детстве?

— Чудо-ребенок. Все меня любили. Учителя не могли нарадоваться, — не задумываясь, ответил Наумов. Лена улыбнулась, как будто именно это Наумов и должен был сказать.

— Богатая она, как ты думаешь?

— Кто?

— Тетка эта, в очках.

— Сложно сказать.

— Наверное, богатая. Одета прилично. Сумочка вон какая. Цепочки, кольца там...

Лена задумчиво разглядывала бежевый особняк на углу. Наумов подумал, вот если взять и свезти Лену на пляж в Софрино, все будут пялиться. Красивая девочка. Или попросить ключи от Саниной дачи. А потом? И потом тоже.

Наумов вздохнул.

— Возьми такси, я устала, — сказала Лена.

Когда сели в машину, она быстро объяснила шоферу, как доехать. Потом внимательно посмотрела на Наумова.

— Я на Рижской живу.

В машине разговор не клеился. У Наумова в голове мелькнуло, как вот они сейчас к ней заявятся. Для чего? С кем она там живет?

— Зайдешь?

Наумов кивнул. Лена улыбнулась и ткнула его в плечо.

— Ну, что надулся-то?

Потом отвернулась и фыркнула.

3.

Машина завернула у игрушечных башен вокзала и остановилась.

Вместо того, чтобы ехать домой, взял и увязался за этой Леной. Что они будут у нее делать? Что обычно делают дома у марсианок? А Таня? Неотвязно возникали мысли о Тане, это уж верный признак, что он, Наумов, делает что-то не так. Не лез бы, ехал обратно. Пока не доигрался.

Когда они пошли во дворы, Лена взяла его под руку. Это был другой допустимый вариант объятий. Они шли и улыбались, как будто знали что-то неизвестное другим, один секрет.

Во дворе у Лены рос шиповник. На площадке носились ребята в майках. Лена набрала на серой панельке домофона номер.

— Мам, это я!

Пока ехали в лифте, Лена посмотрела на Наумова и пихнула его в бок. Веселится как, надо же. Здорово придумано, взять и познакомить его с мамой. Неожиданно. И для мамы, и для него.

Мама у Лены была румяная и полная. В бежевом домашнем платье. Звали ее Софья Павловна. Она быстро взглянула на Наумова и покачала головой.

— Не могла позвонить?

— Это Наумов. Он на минуту, ему некогда.

— Ну, идите, вареники горячие.

— Да мы сытые.

— Когда это ты сытая была?

Софья Павловна еще раз взглянула на Наумова и вернулась в кухню. Он подумал, что мама старше его лет на восемь, не больше. Сколько же тогда Лене?

Подумал, подумал и пошел мыть руки. Когда он выключил воду, Лена в кухне крикнула неожиданным тонким голосом:

— ...Глупости какие! Ты откуда это взяла?

Что же они сказали друг другу раньше? Была какая-то мамина фраза, которую Наумову лучше не слышать. Или не было ничего, а он просто выдумал?

— Он прикольный, — добавила Лена уже тише. В ее тоне никакой уверенности в сказанном не было.

— У тебя все прикольные! — сказала Софья Павловна.

«Все» у нее вышло не слишком весело. Наумов не знал, стоит ему сейчас лезть в кухню или лучше подождать. И дожидаться? Он все же пошел.

Софья Павловна стояла у плиты. Она взглянула на Наумова и тут же отвернулась к своим вареникам. Он сел на скамейку и стал разглядывать пол. Интересно, Борис тоже тут бывал? Сидел на стуле и пил чай. Или тогда мамы дома не было?

Когда Софья Павловна повернулась, смотрела она нейтрально. Можно было даже вообразить, что приветливо. Наумов так и сделал.

Потом они долго переставляли тарелки, чашки и вилки. Лена некоторое время дулась. Наумов кивал маме, отвечал, жевал вареники, наливал себе чай. Под конец ужина Лена снова развеселилась и прижалась к Наумову коленкой. Софья Павловна подняла брови, а потом улыбнулась. Что же, мол, поделаешь. Повезло Лене с мамой. А маме с Леной? Наверное, не очень.

— А у нас по субботам семинары. Театральные, понял? На Калужской. Если соберешься, приезжай ровно в восемь. Ты приедешь?

Спросила, взглянула в глаза и положила ладонь ему на плечо. Как будто они собирались танцевать. Наумов хотел обнять ее, но передумал. Лена потянулась к нему и поцеловала в щеку. Когда она повернулась, чтобы идти в комнату, солнце выделило пушок на ее щеке.

Дверь за ним захлопнулась. Наумов медленно спускался по лестнице. На бетоне нарисовали краской ровные линии, будто ковер. Такое он где-то видел. В военкомате. Кому-то, наверное, кажется, так красивее. Лучше бы оставили как есть. Наумов вытащил телефон и набрал Таню.

Она спросит и он ей скажет, что он был у Сани. Он был у Сани. У Сани. А потом... Потом ничего, встал и пошел домой.

Линии, линии.

Этажом выше чем-то тяжелым ударили в двери.

Неожиданный удар и крик. Откуда-то выплыло к нему ожидание. Вот сейчас, сейчас... Лена закричит, он бросится обратно. Но не успеет. А Лена стоит на пороге и смотрит в сторону. И глаза у нее сонные. Все уже случилось, зачем теперь торопиться.

Он подождал еще немного, разглядывая солнечные пятна на ступенях. Ожидание растаяло. Ничего этого не будет. Наумов вздохнул и поплелся вниз.

Упрямые вокзальные часы показывали половину десятого.

4.

Стулья синие, стулья черные. И пара столов. А в углу зачем-то кафедра. На доске видны плохо стертые меловые квадратики и английские слова. У окна сидят человек десять, как видно, старожилы. Они приглушенно переговариваются, смеются. Остальные маялись в разных концах зала. Жалко, если вас не берут в компанию. А вам хочется! В компании веселее. Или нет?

Лену сразу же окликнули, и какой-то волосатый, в свитере, полез к ней целоваться. Женщина с большой кожаной сумкой оглянулась, высматривая, с кем пришла Лена. Наумов кивнул ей. Люди у окна что-то горячо обсуждали. Чужая компания, ничего не поделаешь.

Тут все, как по команде, повернули головы. Вошел низенький мужчина,

в странной кофте, вместо пуговиц завязки. Он огляделся, подняв подбородок вверх. По тому, как он смотрел, как двигался, как разглядывали его другие, понятно было, это главный. Он заметил Лену, двинулся к ней. Лена что-то торопливо сказала. И улыбнулась. Кофточник обхватил ее за спину, прижал. Лена опустила голову. Та, что с сумкой, смотрела на них с неприязнью. Наумов повернулся и стал рассматривать доску, где расписаны были времена. Простое время и сложное. Настоящее и будущее. Не наше, английское будущее.

Глупая, в самом деле, привычка обниматься.

Полчаса они слушали, как кофточник рассказывал про Мериме, а какой-то парень показывал на стене слайды. Потом снова говорили. Лена как будто забыла про Наумова. Кофточник то и дело обращался к ней с вопросами, потом сам же отвечал. А Лена смотрела только на него.

Когда вышли, все загалдели, собираясь в какую-то кафешку. Лена стояла задумчивая. Кофточником завладела та женщина, с сумкой. Она ухватила его за рукав и тянула куда-то. Наумов нагнулся к Лене и спросил:

— Ты пойдешь?

Лена поморщилась, как будто он разогнал какие-то важные ее мысли. Повернулась и выдернула ладонь из его пальцев.

— Ну, перестань...

Она стеснялась его внимания на публике. И ей что-то надо было от кофточника. Но его уже увела женщина с сумкой. Лена вздохнула и покачала головой. Наумов понял, что на сегодня с него хватит.

Лена то звонила ему через день, то пропадала на месяц. Когда они долго не виделись, ему казалось, что он не думает о ней. Но стоило ему встретить какую-нибудь худую рослую девчонку, Наумов понимал, что скучает. И по первому звонку неся на Бакунинскую. В Сокольники, на Маросейку, на Моховую. В городе появилась сеть из точек, связок и линий, понятная только им двоим. Как у всякой пары, которая ворует друг друга у кого-то.

Когда они долго не виделись, ему казалось, как это просто, взять и отказаться. Не поехать в этот раз, и в следующий тоже. Но так только казалось. И Таня, конечно, кое-что поняла. Она не забыла, наверное, своих марсианских умений, как Женечка, и видела его насквозь. Только невеселое это занятие, если насквозь.

Наумов знал, что Борис крутится где-то рядом с ней. Лена не выносила разговоров на эту тему. Но время от времени она сбрасывала чей-то звонок и Наумов знал, чей. Как-то он услышал обрывок разговора Лены с подружкой. «Вяжется, надоело уже... А что я скажу... Ну, и ладно... Ничего не сделает...» Наумов дождался, пока она бросит сотик на диван и появился в комнате. Появился и сделал вопросительное лицо. Лена нахмурилась и развела руками. И махнула на него ладонью. У марсианок этот жест означает: нечего об этом говорить. Нечего так нечего. В самом деле, пустяки какие. Но Наумов понимал, что совсем не пустяки. Время от времени ему казалось одно (поговорить с Саней?), а потом совсем другое (поехать к Борису и поговорить). Так это все и тянулось, как тянется у всех и всегда.

Телефон звякает и на экране вылезает ее номер. Девятки и нолик. Нолик и девятки.

— Ты где? Ну, да, да... На Маяковке подхвати меня... В пять, на уголке...

Почти половина. Подержанная «матреха» Наумова мелькнула в туннеле под Таганкой.

Без пятнадцати. Во рту появился свинцовый привкус, ломит над бровью. Он помигал фарами. Сжалились и пустили. Езжай, дядя, к ней, быстрее!

Четверть шестого. Он успел.

Лена плюхнулась на сиденье, выставила худые коленки к самому торпедо (подол пополз к бедрам), закурила (тонкие губы нехотя выпустили дым).

— На Смоленку. Потом по набережной, я покажу... Маринка уехала, заскочим, пока свободно... Нет, есть не хочу, потом, потом...

Квартира какой-то неведомой Маринки в желтоватом сталинском доме. Напротив банка. Там, где надпись «Берегитесь...» вспыхивает всю ночь. Чье это жилье, кто хозяева, можно было только догадываться. Откуда бы у свистушки этой, у рыжей Маринки... Просто квартира съемная, съемная, не переживай.

Заслуженные ковры, вытертые по углам, буфет с пыльными бокалами и высокие пустые шкафы. Еще пух, летающий по комнатам, еще круглый стол с розоватой вазой, где торчат засохшие цветы. Еще томики Фета и Мериме на полке. Еще потертый Наумов в кресле. Еще...

— Чаю?

— Никакого чаю не будет.

— А что будет?

Лена улыбнулась. Улыбка у нее вышла кривая. Взгляд проехался слева направо, ткнулся в Наумова, отскочил в сторону. Наумов потянулся обнять ее, но Лена увернулась, подошла к раскрытому окну и взглянула на Наумова так, будто видела его впервые. Потом уперлась ладонями в подоконник и сказала тихонько:

— Давай по-быстрому...

Наумов смотрел на ее зачесанные назад волосы, на маленькое розовое ухо с вмятинкой от серьги, на родинку у самой мочки. Потом моргнул и вопросительно поднял брови. Лена фыркнула и качнула бедрами. И выпатила попу. Тут до него дошло.

Лена опустила глаза и смутилась. Наумов подумал, что это вот в ней, в Лене, выходило дороже всего. Что стесняется, что глаза именно так, и именно тогда опускает. Что фыркает.

Потом в машине Лена была веселая, будто выпила немножко.

Когда встали на светофоре у самого Арбата, она посмотрела на него, сморщила нос и сказала:

— Чего ты?

Наумов пожал плечами. Он раздумывал сейчас о таких вещах, о которых не вспоминал уже лет пять. А то и больше. Как дурак, честное слово. Брюки съехали, рожа красная. Смешно, глупо, противно. Или нет, ничего?

Высадил ее на Кропоткинской, проехал дальше, затормозил на повороте. Рядом остановилась тетка в голубом «финьке». Так, какая-то. Стрижка, очки, нос торчит. Наумов взял и улыбнулся ей. Тетка наклонила голову и улыбнулась в ответ. Наумов прижал педаль и тронулся. Ему вдруг захотелось выдраться впереди всех и с ревом выкатить на мост.

Он ехал в левом ряду, за битым фургонном и улыбался. Никому. Сам себе.

Стрелка на авточасах дрогнула и потянулась к полоске, которая обозначала цифру девять.

5.

Женечка задумчиво крутила браслет на запястье. Мороженое ее давно расплавилось.

— Ты долго будешь валять дурака?

Она смотрела на прохожих, на машины, ползущие вниз, к Таганке. Потом поболтала ложечкой. Женечка права, все должно быть на месте. Иначе выйдет путаница. Разве он Циолковский, с марсианками разбираться.

— На черта она тебе сдалась? Борис приходит, сидит вялый. Майка его жалеет. И Саня тоже. Никто прямо не говорит, но жалеют. Понимаешь, иногда человек должен сам...

Женечка не договорила, отвернулась. Наумов смотрел на ее затылок, на пальцы, поправляющие рыжеватые пышные волосы.

— Я понял, Женечка. Правда, понял. И исправлюсь.

Она полезла в сумочку, так и не поворачиваясь к нему. Достала платок, скомкала его.

— Дурак ты, Наумов!

Покрутил чашку. Кофе давно остыл. На блюдечке появились темные полосы. Наумов задумчиво растер их пальцем.

— От меня ты что хочешь?

— Ничего... Отвези меня домой. Как был упертый, так и остался. Хотя и постарел.

Женечка достала из сумочки косметичку. Глаза у нее были совсем потерянные. Конечно, он виноват. И вряд ли исправится. Нельзя сделать так, чтобы стало, как было. Или можно? Только на Марсе, наверное.

— Давай не домой. Давай просто поедем.

— Домой, Наумов, домой. Кататься надо было раньше, понял?

Рязанка была свободна. И Наумов газанул. Они неслись мимо зеленого здания банка, крытого черепицей. Наумов заметил впереди, на встрече, трейлер. И машинально повел рулем вправо, уходя в свою полосу. Трейлер выплюнул черное облачко и надал.

К Наумову снова вылезло странное ожидание, как на лестнице у Лены. Вот сейчас Женечка протянет руку и вывернет руль влево. Наумов нажмет на тормоз. Машина дернет носом, ее поведет...

Наумов пытался отвернуть, но их несло прямо под бампер трейлера, вымазанный зеленью. Заскрипело, и рывкнул сигнал. Загудели где-то впереди и сбоку. Женечка закрыла лицо ладонями, ткнулась головой в торпедо. И закричала. Крик показался ему страшнее удара.

Но они давно миновали трейлер. Никто не сигналил. Ожидание проскочило мимо. Ничего не случится. Просто жарко сегодня.

Высавив Женечку у подъезда, Наумов посидел немного в машине.

Надо бы на заправку заехать. Надо бы... Нет, Женечка никогда бы так не сделала, испугалась. Только однажды она взяла и полоснула ножом себе по запястью. Сначала сделала, а потом испугалась.

В среду у Майки был день рождения. Женечка помогала ей готовить. Майка прибежала вся красная, от плиты, просила подождать. К Наумову она подошла всего разок, но так звонко чмокнула его в ухо и сжала руку, что он понял, простила. А за что, спрашивается?

Женечка приехала одна, сидела рядом с Саней, на Наумова не смотрела. Как будто его тут не было. Борис и Лена пришли давно и все стояли на балконе, разговаривали. Наконец, Майка притащила из кухни противень и все стали их звать. Борис открыл дверь, отодвинул занавеску. Лена шагнула в комнату, лицо у нее было хмурое. Она взглянула на Наумова и тут же отвела глаза.

Все тянули Майке тарелки и что-то орали. Лена морщилась. Они с Борисом сели у окна. Майка подала им по куску утки и повернулась к Сане. Когда передавали тарелку с хлебом, рука Наумова столкнулась с рукой Лены. Она пристально взглянула на него и закусил губу. Наумову захотелось встать и увести ее отсюда.

Майка тянулась к нему через стол.

— Первый тост твой, давай, давай!

Наумов поднялся, потер лоб. Борис смотрел ему в глаза. Женечка рассеянно двигала вилку по скатерти. Наумов начал что-то про Саню.

— И еще он красивый, — заорала Майка. Женечка уставилась в окно. Наумов кое-как закончил и все выпили. Борис сидел серьезный, Женечка смотрела на него так, как будто он собирался выкинуть какую-нибудь скандальную штуку.

Но все обошлось. И Женечка успокоилась. Наумов, как видно, был у нее сегодня в штрафниках. Что ему очень нравилось. Он встал, протиснулся следом за Майкой и вышел в прихожую. Лучше было бы ему свалить. Прямо сейчас, взять и свалить. Не дожидаясь...

В прихожей стены заливало солнце. Из этого белого беспощадного света подъехало к Наумову ожидание. Сейчас Борис выйдет вслед за ним. Вот сейчас, сейчас...

Наумов повернется, и Борис двинется к нему, ухватит за отвороты пиджака. Станет слышно его тяжелое дыхание. Потом Борис скривится и потянет его на себя. Наумов машинально загребет ладонью флаконы с полки. Стекломелочь посыплется на пол. Дверь в комнату распахнется, к ним бросится Саня. Майка завизжит. А дальше...

Наумов сжал кисти Бориса и рванул их вниз и влево. Потом чуть подвинулся, подставил ему плечо и потянул на себя. Борис выпустил его пиджак. Наумов нагнулся, с трудом приподнял Бориса и толкнул его в коридор у ванной. Борис тяжело повалился, дверное стекло лопнуло. Саня схватил Наумова за руку, развернул и потащил в комнату. Майка всхлипывала, прижав ладони к груди.

Наумов стоял у окна в кухне, рассматривал двор, магазин на углу. Он, кажется, собирался уходить. Да так и замечтался у плиты. На кухне сильно пахло уткой.

Во дворе синяя «газель» никак не могла выбраться из узкого проема у трансформаторной будки. Погудев, «газель» начала новый заход. На этот раз у водителя получилось.

В прихожей кто-то был. Ну, да, да, понятно. Дядька и марсианка. Тут Борис заговорил громче. Наумов подошел к раковине и пустил воду.

— ...Поедем, правда.

— Никуда я не поеду. Не хочу и все.

Мужчина выпрашивал, чего делать не следует. Категорически. А что следует? Следует свалить.

Когда Наумов вышел из кухни, Лена стояла в прихожей одна. Стояла и хмурилась. Он кивнул ей и прошел в комнату.

— Не умею объясняться, — сказала Лена ему в спину. А кто умеет, скажите, пожалуйста?

6.

— Тысяч двадцать, ладно?

Лена стояла у скамейки, поставив колено на сиденье, и поправляла прическу. Чего там поправлять, у них, у марсианок, волосы сами укладываются. Наумов смотрел на нее снизу вверх. Он выкатил глаза и сделал ей рожу. Потом шлепнул ладонями по сиденью, приглашая Лену сесть.

— Куда тебе столько денег?

— Девчонки из Строгановки едут в Лазаревское. Зовут с собой.

Наумов посмотрел в сторону набережной. Два паренька заворачивали от арки, виляя худыми задами. От пристани доносилась музыка.

Наумов кивнул и положил руки Лене на бедра. Она посмотрела на него и усмехнулась.

— Маринка приехала. Не обломится уже.

— А я так. Я ничего.

Наумов вдруг понял, что в самом деле ничего. Вот Лена возьмет сейчас и уедет. Все кончится. Было там что-то у кого-то и кончилось. Пускай Маринка хоть всю жизнь дома сидит. Пускай все марсианки возвращаются восвояси. Спокойней будет.

Он поднялся со скамейки, Лена взяла его под руку.

— У них там, в Лазаревском, лагерь. Меня обещали устроить. На всем готовом. А билеты надо заранее выкупить, понимаешь?

Ну, что же. Раз на всем готовом...

Ничего этого не будет. Будет по-другому. Вот сейчас Лена повернется и скажет:

— Наумов, я тебя люблю. Ну, правда. Прямо разорваться, как. И ну его, в жопу, это Лазаревское. Поедем в Питер, на три дня?

Но Лена молчала. Лена разглядывала носки зеленых новеньких туфель. Лена морщила нос. Понятно, она ведь была уже в своем Лазаревском.

Когда Наумов сел в машину, солнце било им в спины. Сзади и левее, на самом углу, стоял Борис. Просто стоял и смотрел. Лицо у него было скучное, как будто кто-то велел ему торчать здесь, дожидаясь неизвестно чего. Надо, так надо, мало ли что. Борис дождался, пока машина вылезла в плотный поток, ползущий к Серпуховке. Потом он посмотрел в оранжевый мутный закат над Садовым и достал сотик. И долго стоял, глядя на опоры моста, на облака, на ограду сада. Как будто дождался еще кого-то.

В восемь. Обычное их время.

Он соскучился, как мальчишка. Наумов подумал об этом и улыбнулся. И чуть не пропустил поворот на Русаковскую. В этот раз Лена велела сюда, в клуб. Который задуман был в виде шестеренки. Но вышло не очень с этой шестеренкой. Караул просто.

Наумов вошел в фойе и огляделся. Коридор, гардероб пустой. В зале было народа негусто. Девочки в кофточках, в джинсах, съехавших с прекрасных костлявых задниц. Наверное, он один в костюме. Как пугало. Лена наряжена

была в серебристое платье, с завязками. Всем открывалась ее худая спина, из выреза то и дело выглядывала каемка лифчика. Лена подтягивала платье вверх, но оно все равно съезжало. И была она ужас прям, как довольна.

Кофточник, знакомый Наумову с прошлого раза, врубил стоящие по бокам сцены плазмы. По левой показывали негритянку, она побежала на зрителя и застыла. По правой как будто навстречу негритянке несясь леопард. Вот он прыгнул. И тоже застыл. Тогда на сцену вышел парень в синей майке и начал:

— Когда б теперь не помянули вы доблести мои...

И пошел, как заведенный. Нескоро кончит. Наумов заскучал. В конце парень повалился на пол и даже заплакал. Понарошку, конечно.

В перерыве Лена спустилась к нему, потянулась, чмокнула в щеку.

— Нравится, а? Как, ну, как?

— Классно. Особенно леопард.

— Ну, не придурайся, мне надо знать.

Наумов хотел сказать, что скучал, что хотел увидеть, что теперь им надо бы, надо бы... Но так ничего и не сказал. Лена повела его в угол, они сели в последнем ряду. Она посмотрела на него, потом отвела взгляд и сказала в спинку кресла:

— Давай, у нас с тобой все... Ну, все уже. Кончилось, а? Ладно?

Блеклая лампочка в голове у Наумова хлопнула и погасла. Сизый дымок протянулся от нее к потолку. А чего ты хотел-то, чего?

Лена смотрела на него, в глазах ее было ожидание неприятностей, губы раскрылись. «Не умею объясняться...» Тебе и не надо уметь. Ты и так слишком много умеешь для марсианки. Всякого.

Наумов криво усмехнулся и сказал бодрым голосом:

— Все так все. Да... У нас с тобой все. Правильно? Так?

Лена оживилась. Неприятности снова проехали мимо. Она чмокнула Наумова и начала что-то про постановку, про костюмы, про выдумки главного. Наумов слушал ее и смотрел на девушек, которые то и дело мелькали в проходе. У девушек были схожие острые носы и маленькие уши. И худые коленки, и совсем нет грудей. Как будто их подобрали таких специально. С вытянутыми попками типа «0». «У нас с тобой все...»

Заиграла тихая музыка, началось второе действие, Лена ушла. Наумов не стал дожидаться, поднялся и вышел. В фойе курила высокая девочка в топике. Чужая безразличная девочка.

7.

Год сначала съезжился и полинял. Потом ничего, развернулся снова. А в марте задул ветер. Ночами деревья маячили, скрипели ветвями. Снег был уже тяжелый, уходящий. Лучше бы дворники не разгребали его вовсе. Все сидели б тогда по домам. А то вылезешь, у встречных одинаковые хмурые лица. Оглядывают друг друга, как будто искали виноватого. Что надо идти куда-то, болит горло и живешь не с той. И зря развелся. Зря соврал, зря сказал.

Вечер был самый обычный. Смутный такой вечерок, бредущий в никуда. Как салатная проходная электричка. Наумов пялился в телик, Таня в книжку. Картинка называется «перед сном».

Из прихожей донеслось: и-и-дац-ламп-дац. Джаз, Наумов недавно поставил. Чтобы сразу слышать. Вот и услышал.

Он пошел в коридор, вытащил сотик из куртки.

— Ну, ну... Ты соскучи-с-ся... Да? Ах, нет! — орала Лена, как будто стояла рядом. Кроме ее выкриков, он слышал в трубке мерный шум. На улице она, что ли?

— ...Счас прям... Куда? Не помнишь? Сам же мне с этой дачей башку пробил... Ты даешь... Зачем, зачем? Там посморим... Короче, хо-чу те-бя ви-деть. Ты понял? Сижу в кафешке, на Савеле, где киоски, на углу. Давай быро!

Наумов крутил башкой. Он никак не мог сообразить, как выкрулить. Куда, в самом деле, на ночь глядя. Выходило, как во сне, когда все равно. Раз уж во сне.

Наумов вспомнил, как Лена тогда у окна стояла, как говорила. Она там где-то одна, а уже вечер, поздно. И если он к ней не приедет, тогда... Странная штука, чтобы куда-то приехать, надо кого-то бросить? Нет, не так. Чтобы приехать куда-то, надо знать, от чего ты сможешь отказаться, а от чего нет.

Наумов поднял брови. Ему все еще было жарко. Щеки и лоб плавильсь. Как будто он стоял у печки. Жарко, стыдно, тошно? Наумов вернулся обратно. Начал было про директора, что тому приспичило... эта фигня... с Тверью... Чтоб ехал сейчас, а с утра...

Но Таня книжку уже захлопнула и смотрела куда-то мимо Наумова, куда-то в сторону она смотрела. В окно, во двор, где качали черными ветками деревья и слонялся свет от фонарей. И летел снег, такой летел снег...

Таня поднялась, прошла в коридор. Заскрипели дверцы шкафа. В комнате Натальи Сергеевны, Таниной мамы, зашуршало. Телевизор заткнулся. В ноги Наумову шлепнулся чемодан. Он упал набок и раскрылся. Следом Таня швырнула пиджак и свитер.

— Зачем мне столько, я на три дня...

— Сразу все возьми, чтоб десять раз не возвращаться. И знаешь что... Побудь там до лета, — сказала Таня, глядя в сторону.

На пороге появилась Наталья Сергеевна. Она уставилась на Таню, потом на Наумова, на чемодан, на вещи. Таня рылась в шкафу. Она вывалила оттуда стопку его рубашек и принялась пихать их в чемодан.

— Ну, как же так, Танечка... Что вы опять начинаете, а?

Губы Натальи Сергеевны дрожали, она комкала в пальцах отворот малинового халата. Таня молчала, набивая чемодан вещами. Наумов подошел к окну. Ему было жалко Наталью Сергеевну, в ее смешных тапках.

— Я ненадолго.

— Нет. Уезжаешь, так и вали... Насовсем.

Таня пихнула чемодан. Ковер пошел складками. Наумов вспомнил, как в детстве играл в солдатиков в маминой спальне. Он специально сбивал ковер в складки. Как будто это горы. А там, где ковер кончался, блестел паркет. И это было море. Там он расставлял серые пластмассовые эсминцы.

Когда Наумов вышел на синеватую вечернюю Дмитровку, было уже совсем поздно. Он разглядывал сквер, лестницы к электричкам и поворот на мост. Мимо проехал троллейбус, звякая тросами. Окна у него были запотевшие, в салоне смутно виднелись чьи-то тени. Наумов запахнул куртку и пошел к машине. Надо ехать за ключами от чужой дачи, куда ты собираешься с чужой марсианкой. Но разве бывают свои марсианки? Ладно, а Борису что делать? Развестись с женой, бросить сына и пуделиху? А ему, Наумову, что делать? Как много у тебя вопросов. Вот Лена ни о чем не спрашивает. Ей все ясно. Как иногда хочется, чтобы кто-нибудь стер пару часов из твоей жизни. Тогда можно будет прожить их заново. Ну, и что бы ты поменял?

Саня вышел к нему встрепанный, Саня ежился и зевал.

— Чего, старик, приперло?

Спросил и усмехнулся одной стороной лица. Как будто это не лицо, а маска. Наумов пожал плечами. В коридоре свет был тусклый, зимний такой свет. На стене висел календарь с зайцами. Зачем он спросил? Зачем я пожал плечами? Приперло? Да, Саня, мне вот так приперло! Ты понимаешь, я хотел бы (сейчас, сию минуту, вот из этого коридора с тусклым светом!) вернуться в Тимирязевский парк, в липовую аллею, к Женечке. Я хотел бы попасть к Тане, в ее синее завтрашнее утро, туда, где я никуда не уезжаю. Хотел бы никогда не бывать в квартирах на Смоленке, на Самотеке и на Лермонтовской. Хотел бы... Скажи он так, вот бы Саня на него вылупился. Или нет?

— Майка болеет, температура. Только задремала... Ты смотри, ворота не долби, там петли слабые. Закатишь во двор, не забудь запереть, время-то глухое. Топи осторожно, полную не наваливай, еще угорите. Щиток на кухне, слева от двери, у буфета. Если что, звони.

Угорите. А что, это идея. Ш-шшш, поплывет угар, и никаких хлопот. Как-то угорели дурак и марсианка...

Он увидел Лену издали. Она выглядывала из подъезда кафе. На ней был свитер, пуховая куртка и толстые полосатые брюки. Сейчас она была не похожа на марсианку. Штаны были совершенно земные.

— Я тут сижу битый час. Чего ты так долго?

Лена поежилась и пошла к машине. Наумов поддернул куртку. Щелкнула дверца. Машина мотнулась по наледи, и они выехали на эстакаду. Наумов взглянул на Лену. Она ткнулась носом ему в плечо.

— Никого нет, мертвый сезон, за городом еще никого нет. Будем там, как на острове. Давай купим в супере креветок и вина? Я в Крыму пробовала розовое такое, термак, что ли. До среды обратно ни за что, ладно?

У Наумова ныла спина, он раздумывал, где бы по дороге купить санортен. Шоссе было все в рыжих разводах застывшего песка. Шоссе, наверное, приболело, грипп, как у Милки. Редко попадался кто-нибудь навстречу. Фонари светили вполнекала, нехотя. На обочинах деревья слились в сплошную темную массу. В придорожных домишках нигде ни огонечка. Мерзлота. Весна еще только кажется.

В павильоне на заправке Лена остановилась у зеркала, поправила волосы, взглянула на Наумова, пихнула его локтем.

— Смотри, классно как. У них выпечка есть. Я люблю лепешки. Вот эти, с сыром.

Продавец посмотрел на Лену. В его взгляде не было ничего противного. Того, что выскакивает обычно в мужских взглядах. Красивая, мол, марсианка, веселая. Мимо едет себе. С каким-то дядькой. Как видно, не нашла еще себе путного марсианина.

Наумов оглядел себя в зеркале. В самом деле, рожа у него хмурая, волосы торчат. Он пригладил их рукой.

И смотрел на все теперь как будто со стороны. На Лену у стойки с пирожными, на себя у кассы с бумажником, на продавца. Пусть бы они ехали в большой компании, где вот такие рослые приветливые парни и красивые девчонки, как Лена. Все, как один, марсиане. И Наумов с ними. Он бы тоже попросился в марсиане. А что, нельзя? И все бы в этой компании относились к Наумову, как к своему человеку, нужному и привычному. Как свои к своему. Не богатые, не бедные. Свои.

Никто не бросал под ноги рубашек. Никто не выпрашивал ключи от дачи. Не заглядывал в лицо с сочувствием. Все просто и понятно. Они едут, и это здорово. В марте, и пускай. Едут до среды, как до лета.

— Вино нашла, какое хотела?

Лена перехватила взгляд продавца, подняла брови и нахмурилась. Наумов отвернулся к стойке. Нагнулся к журналам. Лена парню этому понравилась.

В машине они долго не могли тронуться, целовались. Наконец Лена толкнула его, хватит, мол, поехали.

— Парень этот так на тебя смотрел, — сказал Наумов, выворачивая руль в сторону шоссе.

— Конечно, смотрел. Я красивая, — откликнулась Лена и полезла за сигаретами.

— Нет, я не о том... Он смотрел... Ну, без всякого там... Хорошо так смотрел.

— Откуда ты знаешь, о чем он думал-то?

Что-то Наумов сказал, как видно, не то. До самого супера ехали они молча. Потом шлялись по залу и выбирали. Непонятно было, зачем им столько на три дня. Если б компания, а так...

Санортен Наумов купил в аптеке на повороте. Кассирша куталась в кофту, смотрела на часы. Она собиралась уже закрывать.

Петли поддались с трудом. Наумов чуть не ободрал борта, пока протискивался в ворота. Потом кое-как закрыл створки и снова подумал про свою спину. Лена задрала голову и смотрела на сосны. Ветки покачивались, шуршали хвоей. Между черными стволами мигали звезды. Над дачей висела желтая киношная луна.

— Утром прикольно будет. Как в Швейцарии. Давай встанем рано-рано и пойдем к реке, туда, где заворачивали, где мост над железной дорогой. Ты был в Швейцарии? И я нет. А так хочется Альпы увидеть. В Крыму какие горы...

Пока еще включили свет, растопили печку. Потом плита грелась. Какие там кровати. Чай из чужих синих чашек и колбаса крупными кусками. Вода отдавала ржавчиной. Лена уплетала за обе щеки. Только чай допила, нацепила куртку и они пошли на крыльцо.

Во дворе было тихо. Они задрали головы. Звезды вылезали между разлапистых сосновых веток. Белые, далекие, чужие. Звезды мигали. К оттепели, наверное. Наумов поежился. Лена откинулась назад, Наумов обнял ее за плечи.

— Смотри, какие у фонарей круги.

«Красиво, конечно, — подумал Наумов. — Только как же я, сука, обратно к Тане поползу?»

Спина у него поныла и успокоилась. Они прошлись к воротам, там Лена прижалась к нему, они стали целоваться. Наумов елозил губами машинально, сообщая про свое.

На дачу, в марте. Мог бы отвертеться, придумать что-нибудь. Или не мог?

Когда вернулись в дом, Лена быстро устроилась на диване («Устала, с ног валюсь!») и заснула. А Наумов долго еще ходил по дому. Сад сонно смотрел на него сквозь темные окна. Наконец Наумов улегся, но долго еще вздыхал, ворочался.

Утром в саду висел туман, да какой, забора не видно. Наумов поднялся, поставил чайник. Лена позвала его с дивана. Когда он подошел и присел, она

забралась к нему, уткнулась головой в плечо. Наумов обнял ее. Лена приподнялась, опрокинула его навзничь.

— Крепче держи меня, крепче, — приговаривала она, закрыв глаза. Наумов запустил ладони ей под футболку, Лена быстро целовала его. В висок, в брови, в подбородок, в шею, куда попадет. Наумов никак не мог расстегнуть брюки, Лена навалилась сверху. Поворачиваться он не хотел, боялся за спину. Про ночные свои страхи, про то, как будет возвращаться, Наумов уже не вспоминал.

Сотик Лена отыскала только к вечеру. Борис звонил ей четыре раза. Лена вышла на крыльцо, закурила и быстро стерла его звонки, сообщения и прочую дурь. Сотик звякнул было снова, Лена всмотрелась в номер, нажала отмену и выключила его совсем. К ней выглянул Наумов.

— Кроватки будем варить? Бросай тогда курить, надо еще кастрюлю найти.

Лена прижалась к нему. Ей совсем расхотелось ехать обратно. В самом деле, жить бы тут до лета. Куда спешить-то. Да, вот так вставочка... С Бориса ведь станется, припрется домой, мама офигеет.

Часы на кухне давно остановились. Вот так и была б вечно половина третьего, а?

8.

На Смоленке стояла жара. Неожиданная такая вышла жара в конце апреля. Они проболтались в квартире у Маринки до вечера. Потом Лена спохватилась, понеслась в ванную. Оказалось, ей еще куда-то надо. Наумов уселся на кровати, потер лицо рукой. В башке ничего путного не осталось после такой горячки. Так, одни стружки.

Ленка сейчас повернулась, мелькнула голой спиной. Худой спиной, с нежными лопатками. Он подумал, что намертво связан с этой нежной женской кожей, с маленькими босыми ступнями. Вряд ли его теперь бросят. Он ведь ко всему привык. Стал почти свой... И ты дурак, и она дура. Нет, она с Марса. А ты нет.

— Что расселся, мне еще на Садовую ехать. Давай, давай!

Наумов потянулся за брюками. Тут от горячего подоконника, от выцветших штор вылезла к нему смутная угроза. Он сунул одну ногу в брючину и посмотрел в окно. Живут же люди, шастают по магазинам, тянутся по пробкам на дачу — и ничего. Чего ты боишься? Я боюсь угадать.

Солнце склонялось за дома на той стороне реки, черные тени покрывали крыши. Они спускались по лестнице, лифт кто-то вызвал снизу.

— Давай не поедem. Совсем никуда. Останемся, а? — сказал вдруг Наумов. Лена обернулась, покрутила пальцем у виска. И махнула рукой. Ей уже не было до него никакого дела.

Наумов подумал, а смог бы он взять и толкнуть Лену с этой бесконечной лестницы. Толкнуть изо всех сил, чтобы...

В раме подъезда отпечатался двор. Асфальт покрывала тонкого помола пыль. Им никто не встретился, пока шли до угла. Наумов всегда оставлял машину за углом, у ворот. Прутья решетчатых ворот складывались в звезды. И снизу звезды поела ржавчина. Лена шла чуть правее Наумова, он смотрел искоса, смотрел, как колышется ее подол, как быстро мелькают носки туфель. Лена внезапно остановилась, будто наткнулась на что-то. Замерла и коснулась его руки. Наумов поднял голову.

Впереди, у машины, стоял Борис. Стоял и смотрел на них с Леной безразлично, как будто не узнавал. Мысли Наумова выдуло из головы, осталась лишь одна: никто никуда не успеет.

Обе руки Бориса были опущены вниз, и в правой он держал черный пистолет.

Времени у Наумова оставалось лишь на то, чтобы шагнуть вперед и вправо, заслоняя Лену. Она все стояла и, не отрываясь, смотрела на Бориса. Ей хотелось броситься назад. Хотелось закричать. Но у нее ничего не получалось. Время зависло. Девять, восемь, семь... Цифры на часах мигнули и погасли.

А Наумов никак не мог выдохнуть и позвать Бориса по имени. Сказать ему что-то обычное, простое, чтобы выкроить эти десять секунд (и Ленка успеет за угол). Еще он подумал, как это будет страшно, когда Борис поднимет пистолет и выстрелит ему в грудь. И его сшибет, наверное, на землю. И ничего на свете для него, Наумова, больше уже не будет.

Потом в голове полетели совершенно пустяковые цветные обрывки: Таня в дверях маминной комнаты, Женечка поправляет браслет, закрывая шрам, Лена смотрит, задрав голову, на сосны. Потом (почему-то?) старая школа на Садовом и худая женщина в длинном платье, медленно бредущая по набережной.

Лицо Бориса сморщилось, брови запрыгали, как будто он собирался заплакать. Он кашлянул и поднял пистолет. В голове Наумова заорала целая улица. В затылке пел кто-то дискантом и клацали троллейбусные двери.

Борис прижал пистолет к груди и замычал. Выстрел хлестанул по двору, но звук этот оказался гораздо тише, чем думал Наумов. Плечо Бориса вывернуло назад, он упал на бок. И тут закричала Лена. Они бросились вперед, Наумов приподнял Бориса за плечи, Лена что-то быстро говорила ему, стоя на коленях рядом. Она вывернула сумку, оттуда посыпалась какая-то мелочь. Заколка и ключи. Косметичка, маленький белый флакон. Он медленно вывалился на асфальт и раскололся.

Борис хрипел, на рубашке расплывалось темное пятно. Потом он завел глаза вверх, ноги его подогнулись и заскребли по асфальту. Он кашлянул кровью Лене на подол, сглотнул и свесил голову набок. Они осторожно опустили его голову на сумочку. Кто-то подошел и спросил про пистолет. Наумов обернулся, рядом стоял бледный рыжий парень в майке с надписью «Динамо». Он указывал на «макаров» Бориса. Наумов протянул было руку и тут только понял, что парень просит не трогать пистолет. Почему?

— Вызови «скорую»!

— Он сам в себя, да?

— Как теперь набирать? Сто двенадцать?

Из-за угла вышли две женщины и девчонка. Женщина вскрикнула и закрыла девочке лицо ладонью. И повела ее назад, за угол. В доме напротив открыли окно, просигналила машина. Сзади спрашивали хриплым голосом:

— Че там, убили? Кого, а, кого?

Наталья Полякова

Барабан счастья

* * *

Запах детства — «Красной Москвы» и помады
Бензина дешёвого семьдесят шестого
Алый галстук и белые банты
Деталей много

Божьих коровок зелёных и серых в полыни
Кошка разорванная собакой
Радуга в степи — симфония линий
«Не плакай!»

Москитная сетка одеколон «Гвоздика»
Качели летят на одном винте
И тюльпаны как земляника
Прячутся в темноте

Сны-картинки слежались пустяшным секретом
Под стеклом бутылочным купорос
Дождь цыганский играет листвою и светом
Детских слёз

* * *

Улицы размокшая газета
Облака нечёткие края
Два столбца архитектура лета
Далее сюжеты сентября

Подставляя зонтик под раздачу
И ботинком ударяя в грязь

Осень медью наскребает сдачу
Мелочь по дороге растряслась

Собирай её как собирают дети
Между лепестками и крупой
Травы дней настоянных на свете
В пиале с каёмкой голубой

* * *

шум похожий на камыши
только сердцем услышишь
выше стропил ищи
и плотников выше

вымани на разговор
мухой в оконной раме
тоны слышны до сих пор
на фонокардиограмме

недостаток тепла тепла
сердечности переизбыток
музыки сфер живого стекла
поющих бутылок

* * *

Папирос разрывает пачку смущённый рыбак
Берёт в жёны рыбачку говоря так:

Вот рыба-щит рыба-меч
Я буду тебя беречь

Жена отжимает подол и вяжет тугой узелок
Берег исхожен вдоль и поперёк

Спят рыба-облако рыба-луна
Рыбачка живёт одна

* * *

Встретиться на берегу
Разминувшись в реке
Лодки лежат на боку
С отверстием в виске

Вёсел опущены руки
Дно разукрасила ржавь
На острие разлуки
Лодку не удержав

Колит бока камыш
Мыши в корме завелись
Просьбу мою услышь
На шёпот мой обернись

* * *

Я — дерево звонко и тонко
Ветки из рёбер торчат
Приютила волчонка
А хотела — зайчат

Скоро совсем зачахну
Снится когда я сплю
Как я цвету и пахну
Жадно и щедро люблю

И жизнь моя будет длиться
В бреду запоздавшей весны
Пока не вернулась волчица
Пока не кончаются сны

* * *

Лестницу закинув на плечо
Он идёт за яблоками в сад
А они опали и лежат
Все до одного дичком ничком

Отпустив на все четыре ветки
В тёмно-синий бледно-голубой
Облаков идущих за тобой
Пеньем птиц придуманных и редких

Падалица отдана природе
В муравейник юркнул муравей
Лестницу приладив меж ветвей
Человек на небо переходит

* * *

Выделяя жизнь свою как причастие
Запятыми опавших листьев
Барабань в барабан счастья
До муки в запястьях до боли в кистях

Если рук своих не пожалеешь
Небесной музыки ради
Дни сочтёшь и созреешь
Чётками из виноградин

Ирина Котова

Койко-жизнь

Рассказ

Настя подошла к старенькой «Волге», открыла заднюю дверь, забралась в салон.

— Где же мигалка? — обреченно поинтересовалась она. — Обещали с мигалкой!

— С мигалкой в восемь часов уехали, — хмуро ответил водитель. — А вы все рядились.

Вот она — катастрофа. До Нового года всего три дня. Сегодня у Артема утренник в детском саду. Она обещала прийти пораньше, принести костюм Арлекина, помочь сыну одеться. Даже если она попытается ему объяснить, почему не пришла — он не захочет слушать. Потому что он — ребенок. Нет, потому что люди вообще редко слушают и редко слышат. И еще потому, что это повторяется постоянно.

Когда она носила его в животе, ей мерещился совсем иной материнский образ. А теперь... Во всяком случае, через несколько лет совсем не хочется идти вместе с ним к психологу, а на психолога, кстати, тоже нужно будет найти время.

Ей вспомнилось, на каком подъеме утром был Артем. Никто не будил — а он встал даже не в семь часов, как обычно, а в шесть. Несколько раз вслух по пути из спальни в ванную и обратно повторял четверостишие, которое должен сегодня читать...

Пришел нефролог. Тяжело плюхнулся на переднее сиденье. Настя мучительно попыталась вспомнить, как его зовут. Говорили же ей о нем утром, называли как-то. Стоп. Он звонит кому-то. Сейчас скажет имя. Рядом прогремел грузовик. Невнятное имя проскочило и исчезло. Спинка кресла, покатые плечи в драповом пальто, затылок — сливались воедино, и нефролог казался большим, флегматичным и добрым. Молчать было хорошо, но неловко. Да,

Котова (Попова) Ирина Владимировна, родилась в городе Воронеже. Закончила Воронежский государственный медицинский институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Доктор медицинских наук. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Новая Юность», «Подъем» и др. Автор двух сборников стихотворений. Лауреат премии журнала «Подъем» (2003), лауреат литературного конкурса им. Булгакова (2009). Член Союза писателей Москвы.

В «ДН» печатается впервые.

пробки. Да, лучше ехать по этому шоссе — оно шире. После нескольких реплик Настя пришла к заключению, что он тоже не знает ее имени. Казалось бы, что проще: она могла бы сказать — Анастасия Марковна, а он, например, ответить — Игорь Петрович. Но Настя не спрашивала.

Утром на планерке ей дали распоряжение ехать — и все тут. Зачем, для чего — на месте разберешься. В предпраздничные дни загородные больницы стремятся скинуть тяжелых больных в областной центр. Кому охота в праздники мотаться на работу, дергаться от вибрирующего поджуживания мобильного, или, избавь Боже, оформлять посмертную писанину. Вот уже четвертый день бомбили Москву из одной такой больницы — звонки, заявки, даже жена больного приезжала. Правда, Настя узнала об этом только сегодня утром. Люди, которые все дни вели переговоры и могли что-то прояснить о больном, отсутствовали. Один уехал на научную конференцию, другой — в отпуск, в теплые края. Известно было только, что требуются хирург и нефролог.

— Вы на Новый год дома? — обратился к ней нефролог.

— Хочу надеяться, — ответила Настя.

— Я тоже дома. Только две недели назад из путешествия вернулся. В Израиль с женой ездили. Очень-очень рекомендую. Такая поездка интересная. По святым местам.

— Я была в Израиле лет десять назад. И тоже по святым местам.

— Это давно было. Я советую вам сейчас поехать. Уверен, за это время там все изменилось.

— Думаете, изменилось? — рассматривая торчащие из пакетов как стволы орудий палки колбасы в соседнем автомобиле, машинально ответила Настя.

Палки колбасы навели ее на мысль о собственном холодильнике. Муж соглашается ходить по магазинам или на рынок только вместе с ней. Самостоятельно — в крайнем случае и по мелочи. Завтра у нее дежурство. Холодильник пуст. Неделию назад она наобещала и мужу, и сыну особенный, неповторимый праздник. Артем рвался помочь ей зашить утку, набитую яблоками... Муж, кажется, уже кого-то пригласил — из своих, институтских. А она, по-тихому, маму позвала. Валера ворчать будет — сборная солянка. Ужас. Ну, не сидеть же маме одной перед телевизором? А теперь этот больной на голову навязался. Вдруг оперировать, не дай Бог? Да еще и на осложнение нарвешься...

Нефролог продолжал свой рассказ, обращаясь уже не к Насте, а к водителю:

— Признаться, христианскими легендами особо никогда не увлекался, даже Библию не читал. Поднялся на Голгофу, а что и как положено там сделать — не знаю...

Настя смотрела на его говорящий затылок, кресло-торс, загорелую руку, вцепившуюся в поручень над дверью, крепкие пальцы, ухоженные ногти. Да, простой, хороший, не испорченный и не отягощенный ничем лишним, кроме самой жизни и ее течения, человек. Устает на работе, приходит домой, плотно ужинает и смотрит телик. Как же его зовут? Водитель вырвался из пробки, набрал скорость — машину мотало на скользкой дороге.

Вскоре они уже въезжали в ворота районной больнички. Машина остановилась у «Приемного отделения».

— У вас какая установка? — спросил нефролог, остановившись перед входом.

— Установка? — передернула Настя. — У нас всегда одна установка — в интересах больного.

— Это хорошо. А мне вот дали установку — не брать. У нас вообще-то ремонт намечается. Да и мест нет. Очередь большая... Ну, ничего, поговорим с ними, выясним, что к чему. У меня опыт большой — каждую неделю два-три выезда, — монотонно бубнил он, как будто заранее оправдывался или уговаривал на что-то себя, ее и тех врачей, которые их ждали.

Их встретила пожилая медсестра, внешность которой вызвала в Насте чувство смещения во времени. Халат с завязками сзади, белая косынка с мелким рисунком, подвязанная назад, спокойное морщинистое лицо без косметики — от всего этого веяло ароматом начала, или, по крайней мере, середины прошлого века. Узнав, что приехали врачи из Москвы, она заволновалась, засуетилась, как будто к ней, как минимум, нагрянули с проверкой из областной санэпидемстанции, и повела их по обшарпанному коридору. Облупившиеся крашенные стены (кое-где и штукатурка обвалилась), разъехавшиеся битые плинтусы с плотными ватными комками пыли в щелях, трещины на потолке... Должно быть, во все это вжились и не замечали — как люди, живущие в старинных замках, не замечают окружающей их древности.

Настя ждала, что когда они войдут в ординаторскую, нефролог представится, и она узнает, наконец, его имя. Вошли. Не представился. Сказал — здравствуйте, врачи из Москвы. К экстренному больному. Настю немного укачало, познабливало. Хорошо бы чаю. Может, предложат? Обычно всегда предлагают. Два врача невнятно поздоровались и тут же начали молча шарить по столам в поисках истории болезни. Один — высушенный, с испитым сероватым лицом, другой — молодой, рослый, рыхловатый блондин. Складывалось впечатление, что оба в замешательстве, не знают, как начать разговор и вообще готовятся к обороне. В эту секунду решительной походкой вошел маленький человек с большими, торчащими в разные стороны усами и такими же бровями, в белом халате и, не поздоровавшись, выпалил:

— Я вопрос ставлю так — забирайте или сегодня же перевожу в терапию! Пусть там! Доживает, умирает — что угодно! У меня койко-день пятнадцать дней. А он уже четырнадцать. Что мне — из-за него по шапке получать?

Настя почувствовала, что закипает. Сияясь быть сдержанной, она ответила:

— Позвольте, мы еще ни историю, ни больного не видели, а вы нам уже условия ставите. Может, мы решим его оперировать у вас? Или его вообще не нужно оперировать?

— Лучше не связывайтесь, молчите, — шепнул ей на ухо нефролог.

— Это вы мне не ставьте условия! — заорал маленький человек. — У меня койко-день! Завтра он будет в терапии! — и вышел.

— Заведующий? — спросил нефролог.

— Он самый, — ответил сушеный.

Нашлась история болезни. По анализам выходило, что оперировать нужно, но делать это можно только там, где есть гемодиализ. Замкнутый круг: с одной стороны, он ничей, с другой — всех. Если Настя от него откажется — ее никто не осудит. Во всяком случае, все будет объяснимо.

— Я, конечно, пойду, посмотрю для проформы, раз приехали, — едва слышно сказал нефролог. Они сидели бок о бок на драном, засаленном диване,

то и дело передавая друг другу историю болезни. — Но сразу предупреждаю: забирать не буду. А вы думайте, советов давать не хочу. Больной тяжелый.

В душной и вместе с тем холодной палате стоял смешанный запах сыра, колбасы, мочи, пота, курева.

Молодой врач подвел их к небритому, полулежащему в подушках человеку с бельмом на глазу.

— Вот, к вам врачи из Москвы приехали, — доброжелательно сказал молодой врач.

Больной заволновался, сел в постели, единственный глаз наполнился напряженным вниманием. Настя осмотрела его, еще раз взглянула на титульный лист истории — да, действительно, пятьдесят лет. Выглядит лет на пятнадцать-двадцать старше. Да, ему пятьдесят, и он очень хочет жить. С бельмом на глазу, с почти не работающими ногами и почками, в рваной майке — он хочет жить. Насте вспомнилось, как утром в метро две женщины обсуждали, когда будет конец света. Да, вот он — конец света. Его, собственный, личный, конец света. И если она оставит его здесь, если не даст шанс... Завтра Мишка скажет: «Опять кадавра привезла. Ну, тебя хоть не отпускай никуда». Женька добавит: «Конечно, все правильно. Я бы тоже так поступил. Но ты-то после Нового года — в отпуск, на лыжах кататься, а расхлебывать мне оставишь». И в воздухе повиснет болезненная ирония...

Брать — не брать? Надо брать. Кому он нужен? Не факт, конечно, что выживет. Но шанс есть.

И Насте вдруг стало страшно, страшно быть этим человеком, который не понимает, что с ним происходит, и за него должен кто-то принять решение — решение о его собственной, единственной и неповторимой, жизни. А этому кому-то, в свою очередь, может, по большому счету совсем и наплевать — откроет этот несчастный завтра утром глаза или нет. И, вообще, кому интересна чья-то чужая жизнь? Ее всегда волновал и мучил вопрос ценности абстрактной жизни, никак не связанной с тобой лично, с твоим субъективным восприятием действительности, на фоне конечности всего в мире. Настя посмотрела на нефролога. Ей хотелось сказать: «Вы не знали, что делать на Голгофе? Вот же она — Голгофа. Решайте».

Вместо этого она спросила у него упавшим голосом:

— Если после операции понадобится гемодиализ — поддержите?

— А вы что, хотите взять его? Ну, поддержим... — неуверенно пожал плечами.

Может, поддержат, а может и нет. Впрочем, куда они денутся — там, на месте?

— Я так и запишу, — холодно сказала она.

Они молча зашли в ординаторскую и начали писать. Сначала — нефролог, потом — Настя. Настя прочитала запись нефролога, подпись — абракадабра. Как же его зовут? Теперь уже совсем неудобно спрашивать. Усатый заведующий тоже все это время молчал и напряженно на них посматривал, опершись обоими локтями на стол и произвольно монотонно постукивая по нему ручкой. Так продолжалось минут двадцать. Настя в конце записи нарочито аккуратно вывела фамилию, инициалы, подпись. Поставила точку. Закрыла историю болезни.

— Готовьте выписку и привозите, как только будет реанимационная машина.

— Так вы что, берете его? — удивился заведующий.

Настя молча подошла к вешалке. Чаю никто так и не предложил.

— Где туалет? — спросила она.

Молодой врач ответил, что сейчас проводит. В коридоре он, пунцовый, торопливо, как будто за что-то извиняясь, бубнил:

— Спасибо вам. Мужика жалко. У него ребенок с детским церебральным параличом. Жена одна вкалывает. Мы тут даже обследовать-то его как надо не можем. Ничего нет. УЗИ-аппарат один на всю больницу, старенький, еле видно на нем, да и то в другом корпусе. И не повезешь его никуда. Везде — платно, а у него денег совсем нет.

Насте стало жаль этого располневшего раньше времени врача, жаль всего и всех, и не хотелось ни говорить, ни думать — только бежать отсюда, вдохнуть воздуха и забыть все.

На улице, возле приемного, та же пожилая медсестра из прошлого века, завернувшись в драную ватную душегрейку, крошила батон в серой плесени, скармливая голубям. Голуби в довольстве ворковали: «Ур-ур, ур-мер, у-мер, у-мер...»

Настя посмотрела на часы. Достала мобильник, набрала номер: «Мама, поезжай к нам, отнеси костюм Артема в детский сад. Я задерживаюсь... Когда? Часа через три-четыре».

Ехали молча. Настя вбирала в себя, в свою разбушевавшуюся головную боль дорожную гарь, сигарету водителя, сизо-сиреневый пейзаж вдоль дороги, и ее неотвязно преследовало слово «установка». Ну, какие могут быть еще установки или рамки, когда медицина имеет смысл и так только в рамках человеческой жизни... А вечность?.. сама вечность имеет смысл лишь увиденной через стеклышко человеческого сознания, наполненного койко-днями и палками колбасы.

Казалось, густое гуашевое небо, закрывшее солнце, вот-вот обрушится на землю и сомнет все, оставив только пустынную вечность, без людей.

Может, такое небо было на Голгофе... Или там его вообще не было?

Автомобильный рык раздирал молчание, мысли, чувства, напоминая, что жизнь продолжается.

Борис Слуцкий

Стихи и переводы



Двадцать лет назад

Двадцать лет назад
двадцатилетними
были те, кому сейчас за сорок,
между сверстниц вовсе не последними
в красоте,
в уме
и разговорах.

Двадцать лет прошли, запорошили
головы позёмкою седою
тем, кто стольким головы кружили,
молодой
блистая
красотою.

С каждым годом на одну двадцатую
убавлялось то, что не восполнишь,
и необратимую утрату
день
от полдня
двигался на полночь.

Но ещё до старости далече.
Может быть, её и вовсе нет.
И, внезапно распрямляя плечи,
стряхивают
двадцать лет.

Дальний автобус

Вход с трагической надписью:
«Выхода нет».
Касса с ценною насыпью
мелких монет.
Кресло с треснутой кожей
вместо жилья.
Окна. В них прохожие,
много людья.
Дорога, столбы, дорога,
столбы, провода.
Дороги очень много
у нас всегда.
Увалы, косогоры,
телеграфная нить.
Но скоро приедем. Скоро.
Здесь — сходить.
Значит — дальнего рейса
перелистана деств.
Дверь с командою резкой:
«Выход — здесь».

Петров-Водкин

Петров считал, что кривизна
земного шара
должна быть явственно видна
в любой картине.

И люди из его земли,
а также кони,
как будто пальцами росли,
как из ладони.

И в чине Водкина Петров,
в блаженном чине,

стоит меж прочих мастеров
по той причине.

Петрова-Водкина за то
менялась слава —
то — с безымянный, то —
с большой,
а то — с мизинец,

покуда, стиснувшись в кулак,
всей пятипалостью
не дербалызнула, да так,
что все слышали.

Перевозу Брехта

Я Брехта грузного перевозу.
Перевозу я Брехта неуклюжего.
Не расплету верёвочное кружево.
К его Пегасу не сыщу вожжу.

Часы уже долдонят полвторого,
а я на полпути.
Нет, не легко немецкую корову
из стойла в наше стойло увести.
Нет, не легко немецкую ворону
по-нашему заставить говорить,
в немецкую тупую оборону
непросто дверь тугую отворить.

Не поддается Брехт, словно Берлин.
Неужто в самом деле отобьётся?
А я в него гоню за клином клин,
а он не поддается,
не сдаётся.

Фонетика какая!
Треск и лязг!
А логика какая!
Гегель с Кантом!
Зато лирических не точит ляс.
Доказывает!
С толком и талантом.

Германия!
Орешек сей куда
как крепок, твёрд.
И счастье и беда
в нём прозвучали вещими стихами.
А Брехта многомудрые слова
под воем бомб ни разу не стихали
и стихнут ли когда-нибудь?
Едва ли.

* * *

Я вижу белые халаты
над синевою чертежа.
Вычерчиваются палаты,
где будет жизнь светла, свежа.

Архитектура начиналась,
на солнышке и на ветру
платановость или чинарость
над ней шумели поутру.

Обдумывался, как подсолнух,
дом, план его и матерьял,
чтоб спозаранок и спросонок
на солнце окнами стоял.

Прорезываем окна, входы
туда, где утро и листья.
Да, снова на восток, к восходу,
как солнце, так и зодчества!

«ДН», 1971, № 5

Первый день

Страдания людей и лошадей,
мучения столиц и деревушек
окончились. Умолкли рёвы пушек.
Сталь жаркая, надолго холодней!

В тот день, когда окончилась война, а я тот день запомнил поминутно, торжественно, официально, нудно звенела комариная струна.

В начале мая редкостен комар,
а, может, в Альпах правила иные,
а может, прежде,

сильные, стальные,

гасили струны

этой песни жар.

Но вслед за комаром луна взошла,

и тонкий, нежный звук её восхода
отчётливо прослышала пехота
и тотчас потряслась: «Ну и дела!»

Да этак мы дождёмся петуха,
собачий лай услышим и мычанье
коров

и даже, наконец, молчанье,
что предварит явление стиха!

И вот действительно петух запел,
глашатай утра, голосистый петел,
пёс забрежал,
и вслед за ними,
светел,
и звонок, словно колос,
стих поспел.

Время горы

Не теряет времени гора,
не теряет и не убивает.
Пропусту: с утра и до утра
существует, пребывает.

Видимо, изобретя часы,
зажил человек отнюдь не проще.
Не теряют времени овсы.
Времени не убивают роши.

Руку им не стянет ремешок.
Вечность их на миги не разъята.
И двенадцати ударов шок
им не бьёт подобием набата.

Торопиться некуда волне.
Не спешат по небосклону звёзды.
И не то что вам и мне,
всё равно им: рано или поздно.

«ДН», 1973, № 5

* * *

А в общем, ничего, кроме войны!
Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколько.
Она скрипит, как инвалиду — койка.
Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины.

А до войны? Да, юность, пустяки.
А после? После — Perezpełość, старость.
И в памяти, и в сердце не осталось,
кроме войны, ни звука, ни строки.

Война? Она запомнилась по дням.
Всё прочее? Оно — по пятилеткам.

Война ударом сабли метким
навек развалила сердце нам.

Всё прочее же? Было ли оно?
И я гляжу неузнающим взглядом.
Моё вчера прошло уже давно.
Моя война ещё стреляет рядом.

Конечно, это срыв и перебор,
и крик
и остаётся между нами.
Но всё-таки стреляет до сих пор
война
и попадает временами.

Радость памяти

В последний раз, а может быть, в единственный,
хочу взглянуть на дальний и таинственный,
удачно расположенный в раю,
край,
тот, в котором юность признаю.
Я понимаю, рук не дотянуть,
но, может быть, удастся хоть взглянуть.
Сейчас, когда полнеба охватила
густеющая возрастная мгла,
взглянуть бы мне, наверное, хватило,
поглядка бы, возможно, помогла.

О радость памяти! Она верней,
чем радость сытости, и лёгок её гнёт.
Прокоротать бы старость вместе с ней!
Пророкотать бы, что она шепнёт.
Да, коротать и рокотать. С годами
без сожаленья понижая тон.

Какие мне ещё нужны гаданья,
чтобы в решение утвердиться том?
И, вспомнив общежитие, траншею,
окоп полного профиля, блиндаж,
засматриваюсь, как на пейзаж,
и радостно вытягиваю шею.

Школа войны

Школа многому не выучила —
не лежала к ней душа.
Если бы война не выручила,
не узнал бы ни шиша.

Жизни, смерти, счастья, боли
я не понял бы вполне,
если б не учёба в поле,
не уроки на войне.

Объяснила, вразумила,
словно за руку взяла,

и по самой сути мира,
по разрезу провела.

Кашей дважды в день кормила,
водкой потчевала и
вразумила, объяснила
все обычаи свои.

Был я юным, стал я мудрым,
был я сер, а стал я сед.
Встал однажды рано утром
и прошёл насквозь весь свет.

Командиры

Дождь дождал — не переставая,
а потом был мороз — жесток,
и продрогла передовая,
и прозябла передовая,
отступающая на восток.
Всё же радовались по временам:
им-то ведь
холодней, чем нам.

Отступление бегством не стало,
не дошло до предела беды.
Были ровны и тверды ряды,
и, как солнце, оружие блистало,
и размеренно, правда, устало,
ратные

продолжались

труды.

А ответственный за отступление,
главный по отступлению, большой
чин, в том мерном попятном стремленье
всё старался исполнить с душой:
ни неряшливости,
ни лени.
Истерия взрывала колонны.

Слухи вслед за походом ползли,
кто-то падал на холодное лоно
не выдавшей

такое

земли

и катался в грязи и пыли,
нестерпимо и иступлённо.

Безответственным напоминая
об ответственности, о суде,
бога или же мать поминая,
шла колонна,
трусов сминая,
близ несчастья,
вдоль по беде.

Вспоминаю и разумею,
что без тех осенних дождей
и угрюмых ротных вождей
не сумел бы
того, что умею,
не дошёл бы,
не нашёл бы
то, что нашёл.

ДН, 1975, № 5

Геворг Эмин

С армянского. Перевод Бориса Слуцкого

* * *

...Там снова весна
И стелется пар
Над речкой Касах,
Что детством пропахла,
И зелень рождается на глазах,
И стужа куда-то исчезла, пропала.

Там старая мельница
Новое мелет зерно.
Там новые дети
Играют в те старые игры,
В которые игрывал я так давно.
И жизнь мне опять
Представляется юной и мощной,
А горе — немислимым,
Смерть — невозможной.

Седое дитя,
Не пора ли расстаться с чужбиной?
Что ты потерял
На чужих берегах?
Ведь пар
Белизны,
Чистоты,
Красоты
голубиной
Уже расстелился
Над речкой Касах!

* * *

О, кто мне вернёт
Нашей речки Касах
Утекшие воды,
Утекшие воды,
Минувшие годы?

Увяли давно
Цветы, что мне с детства цвели,
А детство ушло.
О, куда же, куда же оно?

Всё детское смолкло.
Куда вы,
Все детские песни, ушли?
И где вы,
Все крики ровесников, стихли?

Чему вы смеялись, ребята,
В той лучшей деревне земли,
Что детством зовётся?
Над чем вы печалились?
Куда вы ушли?

Свирель богоданную
Я обменял
На камешек круглый.
Какой же я глупый!

Зелёное солнце,
Стоявшее в голубизне
Над детством моим,
Над годами в родной стороне, —
О, кто же
Вернёт его мне?

«ДН», 1973, № 5

Дебора Вааранди

С эстонского. Перевод Бориса Слуцкого

* * *

Белёные овцы, белёные валуны, белёные облака,
все на одно лицо, все неподвижны, все круглы
на склоне холма,
обрамлённого пожухлой бородённой травой.

Стародавняя картинка из детской азбуки:
лошадь
и старик, согнутый в дугу над плугом,
и поле, полосатое от борозд,
мурлыча, тянется к порогам домов.

Позади всё дальше остаётся город —
на фоне неба он, как неведомый корабль.
Стальные мачты ловят ветра всего мира —
вавилонский галдёж, прогнозы погоды.

Напряжённые паруса города!
Я поплыла бы вместе с вами
к берегам,
встающим миражами
столетий.

И я не хочу думать об островах Рождества.

* * *

Потому что цветы жёлтые и белые
тихо напевают в зарослях
старенькие, трогательные песни хороводные.

Ореховые гусли,
сосновый перезвон
поют мне про мою белую,
про твёрдую и узкую,
про пылью побелённую,
от моря отсыревшую
дорогу моей юности.

Где тихий шорох велосипедных шин,
под сердцем стынет пьянящий холодок,
а шиповник не жалеет о том,
что цвет его осыпается на камни оград.

Бесконечно, плавно тянется дорога
сквозь сновидения и вожеления,
бескрайняя,
сырая от моря, белая от пыли:

«Вот рука моя, товарищ!
Поброди со мною рядом
по возлюбленной земле!»

«ДН», 1967, № 8

Роман Сенчин

Из тайных книг



Андрей Платонов. Чевенгур: Роман. — «ДН», 1988, 3—4.

Лет в тринадцать-четырнадцать (а это была самая середина 80-х), потеряв интерес к книгам для «детей и юношества» и еще не имея сил читать книги «для взрослых» (открывал их, но все казались мне скучными, какими-то не теми), я часто листал тома «Краткой литературной энциклопедии», которая была в нашей домашней библиотеке.

Там я находил немало заманчивого, такого, что никогда у нас, как я думал тогда, не появится, но которое наверняка бы стоило прочесть. Нередко приоткрывались некие тайные пласты литературы, и они очень к себе тянули (я даже записывал названия книг и фамилии писателей в тетрадке). Было, к примеру, такое: «В центре романа "Доктор Живаго" — интеллигент, родственник Спекторскому, стоящий на трагич. распутье между личным миром и обществ. бытием, связанным с активным действием. В романе выражено глубокое разочарование в идее революции, неверие в возможность социальной перестройки общества. Герой романа отвергает жестокость белогвардейского лагеря и не приемлет революц. насилия и жертвенного подчинения личности судьбам революции. С большой силой написаны страницы романа о жизни природы, любви героев.

Передача романа за границу, его опубликование за рубежом в 1957 и присуждение П. Нобелевской премии в 1958 — все это вызвало резкую критику в сов. печати, что завершилось исключением П. из Союза писателей и его отказом от Нобелевской премии».

Или такое, из статейки про неведомого мне тогда Набокова: «В прозе Н. ощущается влияние Ф. Кафки, М. Пруста; таков роман "Приглашение на казнь" (1935—1936, отд. изд. 1938), где Н. изображает кошмар существования маленького человека, окруженного чудовищными фантомами совр. мира. Таковы предпосылки, способствовавшие "денационализации" творчества Н.».

За десяток лет до знакомства с текстами Селина, Генри Миллера я познакомился с краткой и такой аппетитной характеристикой их книг. Селин, например, «в 40-е гг. продолжал цинично глумиться над жизнью и собой», а «творчество» Миллера «исполнено противоречий. Он отвергает бурж. цивилизацию с позиций гедониста, эксцентрика, предельного индивидуалиста. Его "пацифистский анархизм" в сочетании с раблезиански острым чувством жизни часто ведет к крайнему натурализму, граничащему с порнографией, и этич. беспринципности».

Было тайное в энциклопедии и про некоторых уже известных мне и даже читанных писателей. В том числе и в статейке об Андрее Платонове: «С 1926 П. работает над большим романом о революции — "Чевенгур" (опубл. отрывки и первые главы, составившие повесть "Происхождение мастера", 1929)».

Две-три книги Платонова были у нас дома, несколько рассказов я, по совету отца, прочел в рамках, так сказать, «детского». Помню, что мне не очень понравилось тогда. Точнее, не так. Слишком сильно было удивление составлению слов, непривычному, необычному. Неправильному, как я был уверен тогда. И даже отцу про это сказал, усмехаясь так, как усмеваются подростки ошибающимся взрослым. Отец ответил: «Это великий писатель. Потом поймешь».

Подрастая, периодически прошаривая домашнюю библиотеку в поисках тех самых нужных книг, я возвращался и к Платонову. Прочитал повесть «Происхождение мастера», а следом наткнулся на маленький рассказик «Кончина Копёнкина», где один из персонажей тот же Дванов, что и в повести... Рассказ без начала и конца, но такой яркий и сочный, страшный и быстрый, что именно он, наверное, открыл для меня Платонова. (Рассказ с бесцветным названием «Возвращение» — настоящий шедевр — я узнал позже.)

В «Кончине Копёнкина» встречалось слово «Чевенгур» из того моего списка тайных книг и писателей. Как можно было понять, Чевенгур, это город, который занят красными, и вот на них нападают белые¹. Происходит бой, красные проигрывают, гибнут, кажется, все, кроме Дванова, который спасается на огромном коне Копёнкина, которого зовут Пролетарская Сила...

Этот рассказ, явно отрывок из того почти мифического «большого романа о революции», заинтриговал меня, появилась надежда, что я прочитаю его целиком. Тем более что «тайные книги» как раз в тот момент начали становиться явными. Правда, приходили они не книгами, а в журналах.

Сегодня в своих репликах о литературе я нередко говорю, что во второй половине восьмидесятых, с возникновением «волны возвращенной литературы», тогдашнему литературному процессу, движению тогдашней литературы был нанесен серьезный удар, наверняка лишивший нас целого литературного периода, не позволивший развиться многим талантливым авторам. Дорога в толстые журналы, а потом и в издательства им была по существу закрыта на протяжении десятилетия.

По-моему, очень точно об этом сказал Андрей Немзер в статье «Замечательное десятилетие» (2000 год): «"Компенсаторная" стратегия времен перестройки была чревата дурными последствиями. То, что она невольно мешала сложившимся писателям идти вперед, — наименьшее из зол. Куда хуже, что она сказывалась на редакторском отношении к писателям, коих в России принято называть "молодыми". <...> ...современного нераскрученного сочинителя рассматривали как бы "при свете вечности"».

Но, с другой стороны, тот период был закономерен. Плотину должно было однажды прорвать, и ее прорвало. И понятно, почему публикацию тех произведений начали толстые журналы: в отличие от издательств с их планами на несколько лет журналы были мобильней. И нужно было торопиться — «гласность» могла в любой момент кончиться.

¹ См. рецензию О.Лебедушкиной в этом номере «ДН». — Прим. ред.

Мои родители с начала 80-х (а может, и раньше, но я не помню) выписывали два-три толстых журнала в год. То «Новый мир» и «Наш современник», то «Знамя», «Дружбу народов» и «Литературную учебу». Пытались угадать, где могут опубликовать стоящее прочесть... Года с 1986-го отец стал очень досадовать, что не может выписывать их все — не хватало денег, да и подписаться стало очень сложно.

Обменивались журналами с другими семьями, просили продавщицу в ближайшем к дому киоске оставить ту или иную газету, журнал. Продавщица чуть не плакала: «Привезут три экземпляра, а просят оставить двадцать человек!» В горбачевских очередях дрались не только за водку, но и за журналы, за книги...

Я не помню точно, что прочитал вначале — «Котлован» или «Чевенгур». «Котлован» оставил ощущение ужаса: расчеловечивание человека там было показано, наверное, ярче, чем в любом другом произведении литературы советского периода. Тем более что расчеловечивание происходит во время попытки создать великое, грандиозное...

С «Чевенгуром» же сложнее. По сути, этот роман до сих пор остается для меня тайной...

Слова из «Краткой литературной энциклопедии» не наврали — это действительно «роман о революции». И, по-моему, никакой в нем клеветы на революцию и на людей революции (что наверняка стало преградой публикации «Чевенгура» в конце 20-х) в нем нет. Сатиры, кажется, тоже.

«Чевенгур», по идее, вполне вписывается в ту литературу, что создавалась молодой советской Россией. Его можно поставить рядом с прозой тех лет Зазубрина, Сейфуллиной, Фадеева, «Железным потоком» Серафимовича, «Сорок первым» Лавренёва, со Всеволодом Ивановым и Леоновым, Булгаковым, Зощенко, Бабелем, с рассказами Ольги Форш, Артемом Веселым, первыми рассказами Шолохова, первыми вещами Гайдара... Я имею в виду не степень таланта того или иного автора, а ту ноту, что звучит почти во всех произведениях почти всех этих (да и многих других) авторов.

С другой стороны, Платонов стоит от них в стороне. По крайней мере, стилистически... Может, я ошибаюсь, но, по-моему, писатели 20-х взяли за основу своего языка язык Замятина, а Платонов, чуть ли не единственный, был ближе к Ремизову. Но сделал язык Ремизова механизированным...

Советская литература начиналась не с абсолютного, а со смещенного, сдвинутого реализма. И герои этой литературы тоже были не совсем, не абсолютно реалистичны. Тоже словно бы слегка смещены... Это, наверное, необходимо было сделать — рассудок самих авторов не выдерживал передавать на бумагу пережитое, увиденное ими один в один.

Их спасал стиль. И этот стиль — стиль прозы начала 1920-х — был свеж, нов, молод... Даже пожилой Серафимович в своем «Железном потоке» молод благодаря стилю.

Герои той литературы жестоки. Но эта жестокость оставляет большинство из них чистыми и наивными людьми, людьми, несущими в себе светлое... Жестоки и Копенкин с Двановым в «Чевенгуре», да и многие другие персонажи романа. Но в то же время они, как, к примеру, бандит Никиток, могли, просто так стрелнув по человеку, ранив его, тут же пожалеть. И это, видимо, не фантазия автора.

Почему «Чевенгур» не опубликовали тогда? Наверное, Платонов с этим

романом немного опоздал. Принеси он «Чевенгур» в редакцию году в 24-м — 25-м, скорей бы всего, напечатали. Но в 1927-м СССР как государство уже окрепло, и строилось, по сути, как традиционное государство. Поэзия революции становилась все менее нужной. Еще чуть позже она стала и вредна. Вредны стали и многие писатели, воспевавшие в свое время принцип: «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...»

Александр Блок в 1918 году писал в статье «Интеллигенция и революция»: «Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, потеряв их, народ не все потеряет. Дворец разрушаемый — не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, — не кремль. Царь, сам свалившийся с престола, — не царь. Кремли у нас в сердце, цари — в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой».

К середине 20-х большевики поняли, что разрушать до основания нельзя. В том числе и культуру. Пушкин, Толстой, Гончаров, Чехов, даже Достоевский были реабилитированы. Был взят курс на реализм без смещений (в том числе и стилистических). Так родился социалистический реализм, в котором первому поколению советских писателей, по существу, не находилось места. Писатели уходили в сказочники, сценаристы, функционеры, в историческую прозу... Мало кто смог перековаться.

Как разнятся хотя бы стилистически рассказы, первый том «Тихого Дона» Шолохова и дальнейшее его творчество. Но тот типаж героев начала 20-х появляется в позднейшей прозе постоянно, а Нагульников с Давыдовым вообще прямые родственники платоновским Копенкину и Дванову...

Честно говоря, я перечитываю Платонова нечасто (за исключением «Возвращения»). Платонов очень заразительный писатель. Прочитав две-три страницы его прозы, невольно начинаешь писать так же. А потом видишь, что написалось плохо, получилась неловкая пародия...

О языке Платонова написаны сотни статей, есть исследования его языка, лингвисты ломают голову, почему там-то или там-то он поставил такой-то союз, а не такой-то. Пытаются ставить правильный, и фраза ломается, приобретает другой смысл... Платонов остается загадкой нашей литературы, а «Чевенгур» — главная тайна Платонова. И наверняка еще многие поколения читателей будут биться над вопросами: что хотел рассказать нам автор, почему не победил Копёнкин, зачем Дванов ушел на дно озера... И почему Платонов ставил неправильные союзы вместо правильных.

Михаил Румер-Зараев

Возвращение на землю

История о том, как один крестьянин сто горожан прокормил

Огромная чаша зеленоватой или серой в зависимости от светоносности дня воды, набитой солями, лежит среди гор. Их коричневые морщинистые склоны разрезаны вадями — глубокими оврагами, на дне которых — каменистые русла высохших потоков, устремляющихся к морю, называвшемуся по-разному: в Библии — Степным, в Талмуде — Содомским, а в нынешние времена — Мертвым.

В синей дымке виден другой берег. Там горы Моава, Иордания. Если посмотреть на карту, то никаких условных знаков поселений на другом берегу не обнаружишь. Да и вообще, что там, на той стороне? Чем живет это Хашимитское королевство, так же как и Палестина, попавшее в двадцатые годы прошлого века под британский мандат, получившее независимость отнюдь не при таких драматических обстоятельствах, как Израиль, и ныне считающееся одним из самых бедных государств в арабском мире? Я представляю себе, как веет на том берегу тот же, что и здесь, сухой ветер, как величественно плывут по пустыне верблюды, и бедуины пасут библейские стада коз и овец. Там другой мир, другая цивилизация.

И неразрешимым кажется вопрошание — ну, почему, почему две соседние средиземноморские страны, с одинаковым климатом, землями, одинаковыми исходными условиями столь по-разному живут? Одна, практически не имея промышленности, а в сельском хозяйстве используя всего десять процентов пашни, не может прокормить себя, завозит продовольствие, живет на доходы от туризма, безвозмездные ссуды богатых нефтью арабских соседей да на денежные поступления работающих за рубежом иорданцев. Другая — обладая высокоразвитой промышленностью, индустрией высоких технологий, не просто кормит себя, но и экспортирует на полтора миллиарда долларов аграрной продукции. В одной — все то же сонное дыхание Востока, которое было сто лет назад и в

Румер-Зараев Михаил Залманович — прозаик, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Долгие годы работал в российских газетах и журналах: «Московская правда», «Сельская жизнь», «Огонек», «Век». Автор книг «Семейное поле», «По следам Смоленского архива», «Сошествие в ад», «Одиночество власти». В настоящее время живет в Берлине, где редактирует русскоязычную газету. Последние публикации в «ДН»: «Девять российских дней Теодора Герцля» (№ 8, 2010); «Эпизод из жизни ученого» (№ 6, 2011); «Столыпинский проект. Почему не состоялась русская Вандея» (№ 1, 2012); «Другая жизнь и берег дальний» (№ 11, 2012).

Палестине в ее доизраильский период, в другой — современная активная жизнь, наполненная, пожалуй, даже чрезмерным кипением политических страстей...

Некогда евреи-скотоводы, завоеывая Ханаан и не сразу изгнав из плодородных долин местных земледельцев, перенимали у них навыки растениеводства, использовали под земельные угодья склоны холмов, создавая там искусственные террасы и засаживая их масличными и плодовыми деревьями. Но постепенно хананеи уходили из долин, и израильтяне появлялись там во всеоружии приобретенного опыта, начиная сеять на более просторных землях злаки.

Однако, и в библейский период случались времена оскудения земледелия, заброса угодий. Так было при разрушении Первого храма и уходе в Вавилонское пленение, после возвращения из которого приходилось восстанавливать водостоки и террасы на склонах холмов, заново сажать виноградники и плодовые деревья.

В третьем веке до нашей эры придворный египетского царя Птолемея Аристей, посланный в Палестину за переводчиками на греческий язык Библии, пишет, что «страна густо усажена оливковыми деревьями и богата зерном и овощами, виноградом и медом». Но расцвет хозяйства вновь и вновь сменялся запустением, наступавшим после войн и восстаний, пока с приходом мусульман еврейские крестьяне не оставили землю на долгие столетия.

Державинский проект

Были ли в Российской империи евреи-земледельцы? Были. Память о них сохранилась в мемориалах на полях Южной Украины (стела черного мрамора — «посвящается памяти жителей Новозлатопольского района, расстрелянных фашистами за то, что они были евреями»). Или в интернет-переписке потомков колонистов, последних представителей этих крестьянских родов: «Я, внук Красика Менделя Айзиковича, колхозника колонии Межиречь, погибшего при эвакуации колхозного скота на Восток. Мой прадед, Красик Айзик Гилелевич, переселился в колонию "Межиречь" в 1846 г. из Белоруссии».

В Израиле живет Реувен Бесицкий, на девятом десятке жизни занявшийся исследованием своих семейных корней и посвятивший оставшиеся ему на этом свете годы истории еврейских земледельческих колоний. Он пишет об их жизни с эпическим лиризмом: «Украинская степь — зеленый ковер с яркими красками разноцветья и запахом полыни, запомнилась мне в мой первый приезд к дедушке в незнакомую колонию "Межиречь"».

В эту степь «с запахом полыни» предки Реувена Бесицкого двинулись в середине XIX века из болот и лесов Белоруссии. То была классическая переселенческая акция, далеко не единственная в последнее столетие существования Российской империи.

Картина передвижника Сергея Иванова «В дороге. Смерть переселенца»: на фоне пейзажа выжженной степи под белесым небом — покойник в придорожной колее с лицом, покрытым белым платком, на котором лежит икона. Рядом — распростершись ничком, раскинула руки в безутешном рыдании вдова и растопыренные, устремленные вверх оглобли распряженной повозки.

Это сюжет крестьянского переселения на восток, в Сибирь, которое достигло своего апогея в годы столыпинской реформы. А за век перед тем евреев начинали переселять на юг, в жаркие азовско-черноморские степи, завоеванные в ходе турецких войн екатерининского царствования. Впрочем, и то, и другое было этапами программы колонизации огромных пространств стремительно расширяющейся империи.

Их так и называли — колонисты. А создаваемые поселения — колониями. И трудно было себе представить людей менее приспособленных к крестьянскому труду, чем эти худосочные, чернобородые люди в изношенных лапсердаках, всю жизнь занимавшиеся в местечках и селах Белоруссии ремеслами, мелкой торговлей и шинкарством. Почему их надо было гнать за тысячу километров поднимать целину в пустынной южнорусской саванне? Ответ лежит в плоскости геополитической, в российской экспансии на юг и на запад, в результате которой к 39 губерниям империи прибавились еще 11: на юге — малонаселенная Таврическая, Херсонская и Екатеринославская, а на западе — многолюдные земли с центрами в Минске, Витебске, Могилеве, Вильно, Гродно да еще и Курляндия и Волынь.

Тут напрашивается аналогия с временами библейскими, когда судьба израильского царства попадала в русло геополитики того времени и в результате уводились в ассирийский плен десять колен, которые ищут до сей поры, или десятилетиями тянулось пленение вавилонское.

Но, пожалуй, это чрезмерное дежа-вю. Оставим ветхозаветную медь и вспомним, что присоединив в результате разделов Польши западные земли, которые были главным резервуаром восточноевропейского еврейства, екатерининское правительство на первых порах меньше всего думало о судьбе этого пришлого племени.

Однако, со временем разбираться с его судьбами пришлось. И первым это сделал не кто иной, как Гавриил Романович Державин, который, будучи не только русским пиитом, но и сенатором, а затем и министром юстиции, в павловское царствование отправился в город Шклов разбирать конфликт с местными евреями бывшего екатерининского фаворита Семена Зорича, наделенного царицей за сексуальные услуги поместьями в Белоруссии. Став владельцем Шклова, он начал чинить суд и расправу над еврейским населением, что и вызвало жалобы на высочайшее имя.

Проведя несколько месяцев в Белоруссии и основательно, как ему казалось, изучив ситуацию, Державин почувствовал себя специалистом по еврейскому вопросу, написав проект под названием «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, об их преобразовании и прочем», который стал фундаментальным пособием для последующей антисемитской литературы.

В этой записке помимо всего прочего «для обуздания корыстных помыслов» евреев предлагалось образовать среди них особый класс сельских поселян, который подлежал бы переброске на степные земли Астраханской и Новороссийской губерний. Цель, таким образом, преследовалась двоякая. С одной стороны — воспитательная: евреи отвращались от пагубных занятий шинкарством, арендой и торговлей, в которых виделись причины разорения белорусских крестьян, и приучались к земледельческому труду, полезному в нравственном и физическом

смысле. С другой же стороны, происходила бы колонизация завоеванных земель, что также крайне важно с имперских позиций.

Записка пошла в сенат, а затем в специально созданный в начале царствования Александра I Еврейский комитет, в котором либеральные вельможи из числа наиболее близких к императору вырабатывали основы еврейской реформы под лозунгом «сколь можно менее запрещений, сколь можно более свобод», характерным для «дней Александровых прекрасного начала». Куда привели эти благие намерения — разговор мог бы быть особый, отметим только, что выработанное в 1804 году этими добросердечными вельможами (там были и Адам Чарторыйский, и Виктор Кочубей, и первое время сам Державин в роли министра юстиции) «Положение для евреев» предоставляло им казенные земли и устанавливало некоторые льготы при платеже податей, которые всегда предоставлялись переселенцам.

Евреи были готовы заниматься земледелием, но только в тех местах, где они жили. Переселение же в жаркие причерноморские степи их никак не прельщало. Но правительство не хотело оставлять этих обуреваемых «корыстными помыслами» людей в Белоруссии. Более того, вскоре началось их выселение из сел и деревень. Массы людей скапливались в городах и местечках, не находя там ни занятий, ни средств пропитания своих многодетных семей. Ничего не оставалось, как ехать в Новороссию, там по крайней мере обещана была не только земля, но и жилье, а также пособие на обустройство. Вот и потянулись обозы в Херсонскую губернию, где уже к 1810 году в восьми колониях жили около 1700 еврейских семей. Через 90 лет их число удвоилось, как удвоилось и количество колоний, где насчитывалось около 19 тысяч человек.

К концу XIX века это были нормальные для того времени крестьянские хозяйства, жившие разве что побогаче, чем окружавшие их украинские. Также как и местные крестьяне, колонисты сеяли, в основном, зерновые культуры, собирая с каждого гектара своего среднего 10 — 15-гектарного надела по шесть-семь центнеров пшеницы. При посевной норме два центнера на гектар получалось сам-три — сам-четыре, что тогда считалось неплохо. Культура земледелия, судя по отчетам Еврейского колонистского общества, у них была такая же, как и у других местных крестьян — та же трехполька. Пропашные — картофель и кукуруза — необходимые для правильного севооборота практически не использовались. Подспорьем в хозяйстве служили ремесла, отхожие промыслы. В известного рода инициативности колонистам отказать было трудно, как, впрочем, и в трезвости, что, естественно, содействовало эффективности хозяйствования.

Но такое относительное благосостояние наряду с крестьянским опытом пришло не сразу. Жизнь первого поколения переселенцев была невыносимо тяжела, о чем довольно подробно рассказывает по результатам своих исторических штудий Реувен Бесицкий, исследовавший быт колонии «Межиречь», основанной его предками в середине XIX века в Екатеринославской губернии.

Надо только представить себе этот тысячекилометровый путь на подводах, месяцы скитаний, которые для многих переселенцев кончались так же, как на картине Иванова. Шесть тысяч человек из 22-х тысяч обитателей белорусских местечек, отправившихся в эту мучительную дорогу, умерли в первый же год от

голода, болезней, непосильного и непривычного труда. Их обещали поселить в готовых домах, но жить в предоставленных им плетневых мазанках, по заключению осматривавшего их петербургского чиновника, «по сырости, холоду и непрочности может заставить одна страшная нужда, которая не боится смерти».

Этот же чиновник, судя по всему то был смотритель колоний барон Штемпель, лишь на месте понял, насколько беспомощны вверенные его попечению люди, не умевшие не только обустроить свое подворье, но и пахать, сеять, молотить, ухаживать за скотиной. Весь крестьянский опыт, приобретаемый людьми обычно с детства, был для них тайной за семью печатями.

Для освоения этого опыта решено было поселить в еврейских колониях так называемых образцовых земледельцев, каковыми являлись немцы-менониты, представители весьма гуманного протестантского вероучения. На каждые десять еврейских дворов — один немецкий. Они-то и осуществляли крестьянский ликбез среди первого поколения колонистов. Может быть, поэтому первым колониям дали немецкие названия — Гуттеданкен, Миттельдорф, Гросс-Люцен, тем более, что обиходным языком евреев был идиш, близкий к немецкому. Но министру государственных имуществ графу Киселеву, чье ведомство занималось переселением, хотелось названий русских и к тому же, поелику возможно, назидательных. Поселения были переименованы и названы — Трудолюбовка, Веселая, Новый Златополь, Межиречь.

В конце XIX века Межиречь представляла собой довольно большую по тем местам деревню на полсотни дворов, в которых обитало 370 человек. Так что в среднем выходило по 7-8 человек на двор. По воспоминаниям последней в роду Забрацких, доживающей свой век в Филадельфии Лиляны Гинзбург, у ее прадеда Янкеля Забрацкого было пятеро сыновей и четыре дочери. Семья жила в глинобитном трехкомнатном доме, крытом соломой, на подворье имелись четыре лошади, пять коров, весь необходимый инвентарь. Забрацкие обрабатывали пятьдесят десятин пашни (десятина — 1,1 гектара). Это были все крепкие деревенские люди, родившиеся на этой земле и обладавшие всеми крестьянскими навыками.

От них пошло племя здоровых, сильных людей, склонных к авантюризму. Между прочим, Троцкий был сыном херсонского колониста Давида Леонтьевича Бронштейна, владевшего изрядным куском земли на хуторе близ села Яновка Елизаветградского уезда. Правда, родители сызмальства отправили способного ребенка в Одессу к интеллигентным родственникам, где он жил, учился и впитывал всякие передовые идеи того времени. Кто знает, может, если бы оставили при себе, одним хорошим земледельцем стало бы больше, а одним вождем мировой революции меньше. Но не нам судить замыслы Бога.

Родом из колонии Веселая был начальник контрразведки Махно Лев Задов, так карикатурно («вошел несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся, улыбающийся человек в короткой поддевке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты...») изображенный Алексеем Толстым в «Хождении по мукам». На фотографии же запечатлен двухметрового роста чубатый детина с пудовыми кулаками — стихийный анархист, человек отчаянной смелости, работавший после Гражданской войны в ЧК и расстрелянный в 37-м.

Особенно много этих молодых еврейских крестьян оказалось в отрядах Щорса — Богунском и Таращанском полку, о чем мне рассказывал сын

начальника разведки Щорса, уроженца еврейского села Кабаны, что под Киевом, откуда родом братья Кагановичи, с которыми он, кстати, был в родстве.

Этот человек получил в Гражданскую войну орден Красного знамени за то, что обезвредил танк, наводивший ужас на удалых красных конников, когда они шли в атаку. В свое время он заехал в морду офицеру, обозвавшему его, солдата-срочника, жидовской мордой и, спасаясь от расстрела, бежал ни много ни мало в Америку, где работал на заводе Форда. Вернувшись во время революции на родину, он воевал сначала у Щорса, а потом стал комиссаром кавалерийской дивизии. Танк не мог утратить его, понимающего, что это всего-навсего бронированная машина. Он подскочил поближе и выстрелил в смотровую щель. Я видел его в старости отставным генерал-майором и, помнится, подивился могучей старицкой стати и полноте сил в столь преклонном возрасте.

Участие колоницкой молодежи в Гражданской войне никак не спасало их отцов от погромов и грабежей. Впрочем, к насилию им было не привыкать. Любопытно, что Бесицкий считает погромы, которые учинили в Трудлюбовке, Нечаевке, Межиречи окрестные крестьяне после убийства Александра II в 1881 году, свидетельством благосостояния колоницков. Он полагает, что здесь срабатывала обыкновенная зависть к богатым соседям. Были бы колоницки нищими — никто бы, мол, на их имущество не позарился. Громили колонии и в Гражданскую войну — выгребали хлеб, отбирали скот, лошадей, что ни власть, что ни банда — то погром. И нередко убивали хозяев. Так погиб прадед Лилианы Гинзбург Янкель Забрацкий, представитель второго поколения переселенцев, уже родившийся и всю жизнь крестьянствовавший на этой земле.

Дальше досказывать немного — коллективизация, война, Холокост.

В сентябре 1973 года я ехал по обычным своим журналистским делам на райкомовском уазике по херсонской степи. По обеим сторонам дороги до самого горизонта виднелись ровные как стол поля, обработанные до самой малости — в черных полотнох зяби, в могучих зеленых стеблях клецвины или в пожелтевших кукурузных будылях — так что и скот пасся лишь по балкам, заросшим сухой жесткой травой. Мы въехали в село Давидов Брод, названное, как объяснил мне шофер, в честь корчмаря Давида, торговавшего водочкой у брода. «Уж и кости его истлели, а село живет».

— А еще есть у нас село Калинкино, — продолжил разговор секретарь райкома, — где была еврейская колония, вся со стариками и детьми расстрелянная немцами во рву — несколько тысяч человек. До сих пор есть этот ров, даже смотреть страшно.

«Гетто избранничества — вал и ров. Пошады не жди». Так и ушли в ров — в землю — еврейские земледельцы Украины. Это и было концом державинского проекта.

Подобные проекты снова и снова возникали в разных концах ойкумены. Колонии в середине XIX века начали создаваться и в западных губерниях Российской империи, но не так широко и просторно как на степном юге. Зато в Аргентине, куда под покровительством барона Гирша в конце XIX века направился очередной поток еврейских иммигрантов из России, семейные наделы, предоставляемые колоницким обществом, составляли по несколько сотен гектаров. К 1964 году 780 еврейских фермеров — потомков этих первых переселенцев — владели 450 тысячами гектаров земли, занимаясь на ней

скотоводством и выращивая зерновые культуры. Это получается в среднем около пятисот гектаров на ферму. Есть где разгуляться.

Интересно, как менялся облик еврея — и внешний, и внутренний — по мере его окрестьянивания, укоренения в земле диаспоры. Последние потомки херсонских колонистов сохранили воспоминания о дедах как о крупных, неторопливых, рослых мужиках с руками, раздавленными тяжелой работой.

На архивной фотографии — группа аргентинских скотоводов — стройных, в заломленных назад шляпах, в сапогах для верховой езды, с чертами красивых лиц скорее испанскими, чем еврейскими. Один с гитарой, другие с гордо скрещенными на груди руками. Пастухи из пампы — гаучо.

Артур Кестлер описывает сабров, среди которых он жил в Палестине в тридцатые годы, — сыновей и внуков первых поселенцев из Петах-Тиквы, Ришон-ле-Циона, Метуллы. Он видел «веснушчатых блондинов с широкими лицами и тяжелой костью, они были неуклюжими крестьянскими парнями, непохожими на евреев и слегка туповатыми... Типичной для них была крестьянская привязанность к земле, патриотизм школьников и самоуверенность молодой нации. Их называли сабрами — по имени колючего, довольно пресного плода кактуса: они тоже выросли на сухой и бесплодной почве и были жесткими и упрямыми, как он».

Вот мы и подошли к земле Израиля, к которой подкатывалась, не могла не подкатываться еврейская крестьянская волна.

Первопоселенцы

В начале XIX века под Цфатом существовала единственная в стране община евреев-земледельцев, насчитывавшая пятьдесят семей. Это был последний и причудливый реликт бесконечно далекого прошлого, символизирующий исчезнувшую связь с землей народа, в основном занимавшегося теперь на огромных пространствах диаспоры ремеслами, торговлей, финансовыми операциями — всем тем, к чему вынуждало их существование в рассеянии. В Палестине же в 1880 году среди полумиллионного разноплеменного населения насчитывалось 20-25 тысяч евреев, живших в четырех «святых» городах — Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне. В них обитали старики, приехавшие умирать на Святую землю, и благочестивцы, изучавшие Тору и существовавшие на пожертвования, собираемые в диаспоре.

Обращаясь к тем временам, снова и снова поражаешься причудливой взаимосвязи событий, разнесенных по месту своего происхождения на огромные расстояния. И словно в кинофильме с его возможностями монтажа эпизодов появляется перед мысленным взором набережная Екатерининского канала в Петербурге, первый мартовский день 1881 года и шахид того времени — двадцатипятилетний студент белорусского происхождения, бросающий бомбу в царскую карету и погибающий вместе с Александром II. И тут же в монтажный стык — первый еврейский погром в Елисаветграде: весенняя пасхальная ночь, на протяжении которой люмпенская толпа громит дома и лавки, и крестьяне с возами тянутся из окрестных деревень пограбить «жидивское» добро. А потом, как по сигналу, как по взмаху дирижерской палочки день за днем, ночь за

ночью — в Киеве, Конотопе, Херсоне, Николаеве, Одессе, Балте — пух вспоротых перин, звон разбиваемых стекол, гогот толпы, крики убиваемых. По Украине, по Новороссии идет забава молодецкая — еврейский погром. И слух гуляет по стране — это они убили царя-освободителя, а новый царь приказал громить их в отместку за убиенного отца.

Казалось бы, что тут нового? Со времен хмельнитчины и гайдаматчины вошли в еврейскую литургию заупокойные молитвы по мученикам города Немирова, по жертвам Уманской резни, в которых названия украинских городов вплетались в этих религиозных элегиях в библейский иврит. Но реформы Александра II, следствием которых было некоторое ослабление правовых ограничений еврейства, как и вся атмосфера либерализации первого периода его царствования, способствовали проникновению в иудейскую среду идей просвещения, надежд склонной к ассимиляции национальной интеллигенции на сближение с русским народом, с его культурой, на обретение родины-матери, а не злой мачехи.

«Буря с юга», как эвфемически называли погромную волну, и последовавшее усиление правового гнета, разбила эти надежды. Все распри между ортодоксами и сторонниками эмансипации, раздиравшие еврейское общество, утихли перед лицом грозной и страшной действительности ввиду осознания непреложного факта открытого и жестокого неприятия еврейства как властью, так и народом.

Историк Дубнов, в это время начинавший свою публицистическую деятельность в еврейской газете «Восход», пишет в своих воспоминаниях о споре, который шел на страницах этой газеты по вопросу «куда»? Куда ехать — в Америку или в Палестину? Интересно, что сто лет спустя, в конце века двадцатого, русские евреи задавались тем же самым вопросом. И выбор был тем же самым — в Америку или в Израиль?

Правда, в конце XX века Израиль пополнился почти миллионом репатриантов — остатками русскоязычного еврейства. В конце же XIX столетия основной поток направлялся в Соединенные Штаты. А Палестина? Вот что писал тогда Дубнов по этому поводу: «Для массовой иммиграции непригодна и Палестина с ее деспотическим турецким режимом и примитивным арабским населением, с ее еврейскими богомольцами, враждебно относящимися к современной школе и ко всякой попытке земледельческой колонизации».

И тем не менее эмиграция в Палестину начиналась, количественно несравнимая с американской, но принципиально иная по своей идейной сущности. Погромы породили у молодой еврейской интеллигенции, испытывавшей очарование русской культуры и идущей по пути ассимиляции, страх потери точки опоры в только что обретенном ею духовном пространстве. Россия глядела на них звериным лицом погромной толпы и жестокой холодной власти. Стать «русским Моисеева закона» не получалось. Надо было возвращаться к своему народу, к его религии, традициям, культуре, искать общий язык с ортодоксами, воссоздавать в себе национальное чувство, национальные надежды, в которых возвращение в Палестину всегда оставалось мессианской мечтой, воспринимаемой этими молодыми людьми в духе современного им романтизма.

Дальше, дальше разматывается лента взаимосвязанных событий, вовлекая в их ход все новые сюжеты и имена. В начале 1882 года на квартире

двадцатилетнего студента харьковского университета Израиля Белкинда собирается тридцать его товарищей, таких же студентов-евреев, и после бурной дискуссии приходят к решению создать союз еврейской молодежи под названием «Билу».

Билу — это аббревиатура слов пророка Исаяи: «О, дом Иакова! Придите и будете ходить во свете Господнем!» Взяв себе такой библейский девиз, выражавший необходимость репатриации в Палестину, билуйцы публикуют «Обращение к еврейскому народу», в котором провозглашаются основные цели союза. Это возвращение на историческую родину; создание там сельскохозяйственных поселений в качестве первого шага на пути возрождения нации и ее многовековой культуры.

Таков был один из многих палестинофильских кружков, которые начали возникать в послепогромной России как пролог к грядущему сионизму. Буквально за считанные месяцы в разных городах империи формируется движение «Ховевей Цион», что означает на иврите «Возлюбленные Сиона». И харьковские билуйцы оказались одной из самых деятельных ветвей этого движения. Они рассылают по городам и местечкам своих пропагандистов, которые апеллируют в первую очередь к молодежи, обращаются в еврейские благотворительные организации и просто к богатым соплеменникам с просьбой финансировать их проект, связываются с известным юдофилом и религиозным мистиком лордом Олифантом, который является давним сторонником возвращения евреев на историческую родину, — словом, развивают бурную деятельность.

Вскоре их союз насчитывает пятьсот человек. Предполагается добиться от турецкого султана фирмана на получение большого участка земли и создать там колонию на эти пятьсот человек — поселок светлого будущего. Но ничего из такого замечательного проекта не получается: повсюду отказы, нет ни земли, ни денег, нет ничего, кроме страстного желания добиться цели любой ценой.

Июньским днем 1882 года в Яффскую гавань, этот древнейший в мире морской порт, по легенде построенный сыном Ноя Яфетом (отсюда и название — Яффа), прибывают 14 молодых русских евреев (еще шесть человек приедут несколько позже), высадившихся здесь после утомительного морского путешествия из Одессы. Что ждет их в земле обетованной? Но прежде чем говорить о том, как сложатся их судьбы, напомним, что с того июньского дня, с этих четырнадцати молодых идеалистов начинается первая алия и, стало быть, новейшая история Израиля. Пожалуй, тех первых билуйцев можно уподобить пилигримам с «Мэйфлауэра», с приплытием которых началась история Америки.

Какова же была идеология этих новоявленных пилигримов? Она являла собой причудливый сплав мессианского национализма и русского народничества. Так же, как русские народники, они искали свое место в мире, свои корни на путях сближения с народом, возврата к земле, к продуктивному крестьянскому труду и нравственному очищению таким трудом, к существованию в рамках сельской общины. Только и народ, и земля у них должны быть другие, чем у россиян. Этот еврейский народ на земле Палестины лишь предстояло создавать, что, конечно же, казалось замыслом совершенно фантастическим. И если бы кто-нибудь сказал тогда, что подобного рода проект через семьдесят лет

осуществится, его могли счесть безумным мечтателем, каковыми, собственно, и считали тогда тех харьковских студентов.

Им надо было обуздывать интеллигентскую гордыню, опрощаться, привыкать к тяжелому физическому труду, вживаться в эту каменистую сухую землю, преобразовать пески и болота в плодородные угодья, весь день работать под палящим солнцем и засыпать в мучительном изнеможении. Предстояло учиться запрягать быков и лошадей, работать с мотыгой и плугом, ухаживать за плодовыми деревьями, пахать и сеять, узнавать все то, что крестьянин знает с детства, а им, детям городов и местечек, высоколобым интеллектуалам, размышляющим над библейскими текстами и постулатами Канта и Гегеля, приходилось осваивать сразу и теперь. Но они были люди идеи, и идеи их в значительной степени воспринимались с «русского голоса».

Спустя много лет израильский писатель Амос Оз, прошедший молодость в кибуце, анализируя психологию израильской интеллигенции и движение идей в еврейском обществе, напишет статью «Опаленные Россией». В ней он прослеживает влияние русской славянофильско-народнической традиции на сионистское сознание. «Еще одна идея, — пишет он, — дошедшая до евреев разными путями и усвоенная ими с "русского голоса" — связь между коллективным здоровьем, — самочувствием индивидуума и "простой жизнью". Всякий, кто оторван от земли, нравственно не здоров. Эта идея была весьма популярна в России в XIX веке. Жизнь в деревне идеализировалась русской интеллигенцией и противопоставлялась городской: по воззрениям славянофилов, город — это разложение; он загажен "немецкой" грязью, испорчен "влиянием Запада". Подлинное, исконное, истинное — это деревня. Корни народа — в почве. У евреев такой "почвы" не было. Отсюда в сионизме — особенно, русском, — так силен мотив "возвращения на землю" в самом прямом смысле слова. Кстати, сионисты Запада об этом возвращении почти не говорили. Для сионизма же российского — вернее, протосионизма (под протосионизмом надо понимать палестинофильское движение, к которому и принадлежали билуйцы. — М.Р.-З.) — все другие варианты были неприемлемы: все, что не связано с землей — болезнь и загнивание. Еврейскому народу необходимо вернуться на землю, вернуться к земле. А такое возвращение возможно лишь на СВОЕЙ земле — в Эрец-Исраэль».

Сразу же после приезда группа билуйцев, насчитывавшая в общей сложности двадцать человек, поступила учиться в сельскохозяйственную школу, созданную за двенадцать лет перед тем международной еврейской организацией «Альянс Израэлит» под многообещающим названием «Микве Исраэль».

Микве — это в еврейской традиции водный резервуар для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты, своего рода ритуальный бассейн. Так что название школы несло в себе идею очищения народа Израиля с помощью сельскохозяйственного труда. В этой микве харьковские ребята и получали свою первую сельскую закалку, трудясь, как наемные рабочие, и живя коммуной. То была первая коммуна, первая квуца — группа, отдаленный предшественник кибуцианского движения.

Но до кибуцев было далеко, а пока билуйцы батрачили в «Микве Исраэль», а затем в другом поселении — Ришон-ле-Цион (тоже название многозначительное — «Первый в Сионе»), только что созданном состоятельными палестинофилами из России. Его основатель Залман Левонтин считал, что еврейская

колонизация Палестины должна идти людьми, обладающими собственными средствами, нечего, мол, рассчитывать на помощь благотворителей. Собрал группу таких людей, он приобрел на коллективные деньги 330 гектаров земли неподалеку от Яффы и поселился там со товарищи.

Дальнейшая судьба этого поселения — сюжет особый. Заметим только, что собранные деньги скоро кончились, пришлось обращаться за помощью к Ротшильду, идти под начало его администрации... Впрочем, о роли Ротшильда в поселенческом движении разговор будет ниже, а пока скажем, что поработав в Ришон-ле-Цион опять же в положении наемных рабочих, билуйцы не выдержали тягот и бесперспективности их положения, кое-кто уехал в Россию, а к оставшимся пришло избавление в лице Иехиэля Пинеса, публициста и общественного деятеля, создателя комитета «Ховевей Цион» в Яффе. Это он на средства из фондов этого движения приобрел землю для билуйцев неподалеку от Яффы, где они и создали, наконец, свою колонию, названную Гедера, по имени древнего иудейского города, некогда расположенного в этих местах. Здесь они вместе с присоединившимися к ним впоследствии другими репатриантами пахали землю под зерновые, развели виноградники. Здесь же теперь небольшой живописный израильский город, который охотно посещают туристы.

Все рассказанное здесь о билуйцах, об их первых шагах на земле Израиля — лишь фабула, внешнее отображение их жизни. Сюжет был куда сложнее. Сойдя с корабля в тот июньский день 1882 года, они со всеми своими благими намерениями и идеалами попали в гущу событий, раздиравших ишув — еврейское население Палестины.

Для понимания этих событий придется отойти в нашем повествовании на несколько десятилетий назад, когда с одной стороны, среди молодой части ишува начало возникать стремление выйти из-под влияния идеологии халукки — финансовой поддержки диаспоры, дающей возможность религиозных занятий, а с другой — в европейском еврействе стал пробуждаться интерес к Святой земле. Проявлением этого интереса стали визиты знаменитого богача и филантропа, лидера английских евреев сэра Мозеса Монтефиоре, подкрепляемые щедрыми даяниями и инициативами, направленными на создание условий для продуктивной деятельности в общине.

Сэр Мозес возвел первый жилой квартал в Иерусалиме вне стен старого города, оборудовал ткацкую фабрику и ветряную мельницу, арендовал земли для поселений под Яффой, приобрел цитрусовую плантацию для обучения евреев сельскохозяйственным работам. Одновременно уже упоминаемый выше парижский «Альянс Израэлит» основал сельскохозяйственную школу «Микве Исраэль». А в 1878 году группа религиозных евреев из Иерусалима основала на равнине Шарона, неподалеку от Яффы первое сельскохозяйственное поселение в новейшей истории Израиля, названное Петах-Тиква, что означает Врата надежды.

В судьбе этого поселения как океан в капле воды отразились все будущие драмы и проблемы Израиля. Основателями поселка были еврейские интеллигенты, корнями вросшие в землю Палестины. Уже их деды переселились сюда, чтобы доживать здесь жизнь в молитвах и талмудических прениях. Внуки были также глубоко религиозны, но вместе с тем одержимы идеей сельскохозяйственного возрождения Святой земли. И дед, и отец лидера группы раввина Иоэля

Саломона являлись руководителями ортодоксальной общины Иерусалима. А сам Иоэль, обладая духовным званием, стал издателем и редактором первого в стране ивритского ежемесячника и одним из основателей компании, поставившей себе целью создание еврейских сельскохозяйственных поселений. Эта цель вызывала яростные нападки иерусалимского раввината, видевшего в хозяйственной активности нового поколения угрозу благотворительной помощи диаспоры. Но Саломона это не останавливало. Вместе с двумя своими единомышленниками Иегудой Раабом и Иегошуа Штампфером он купил участок земли под Яффой и в сообществе с другими энтузиастами основал Петах-Тикву.

Тридцатилетний Рааб был самый молодой среди основателей поселка, но вместе с тем у него одного имелся хоть какой-то сельскохозяйственный опыт, приобретенный в юности в Словакии, где он жил на селе, занимаясь овцеводством и виноградарством. И именно ему предоставили право торжественно провести первую борозду на пахотном поле нового поселения, что он и описал впоследствии в своей книге «Первая борозда».

Но торжества торжествами, а вскоре на смену им пришла грустная повседневность. Возник конфликт с соседней арабской деревней из-за пользования колодезем. Пришлось создавать охранный отряд, который возглавил молодой колонист из Новороссии Авраам Шапира. Этот удалец, унаследовавший от еврейских крестьян Украины тяжелую мужественную статью, умел не только воевать, но и находить общий язык с арабами, наводить мосты для примирения. Он прожил долгую, почти столетнюю жизнь, был почетным президентом ассоциации еврейских охранников, а его первый в стране отряд самообороны явился зародышем будущей Хаганы, которая превратилась потом в израильскую армию.

Впрочем, до Хаганы было еще очень далеко. Пока приходилось охранять горстку измученных малярией, полуголодных поселенцев, пытавшихся выжить из этой трудной земли хоть что-нибудь себе на пропитание. К приезду билуйцев в Петах-Тикве, которую позднее за ее первородство назовут «матерью поселений», насчитывалось лишь десять домов и 66 жителей. Билуйцы обосновались неподалеку, в Гедере, но уклад их жизни разительно отличался от строго ортодоксального существования первопоселенцев. В Гедере, как утверждали иерусалимские раввины, трудно было найти даже пару филактерий — кожаных коробочек с отрывками из священных текстов, которые религиозный еврей надевает на лоб и на руку во время молитвы. А ведь иерусалимские ортодоксы предостерегали, что ни к чему хорошему создание сельскохозяйственных колоний не приведет. И вот, пожалуйста, эти молодые «русские анархисты» пляшут вместе со своими девками, никто не соблюдает кашрута, никто не чтит день субботний, да разве это евреи?

Знать бы тем старым благочестивцам, как далеко проникнет «зараза просвещения» на Святой земле, как распространятся здесь социалистические идеи, и к каким политическим конфликтам, к какому расколу в обществе приведет соседство двух укладов — религиозного и социалистического...

Аграрная колонизация Палестины уже на первом своем этапе заставила раввинат столкнуться с древней и, казалось бы, забытой проблемой субботнего года. Закон Торы, записанный в книге Исход, требует от евреев оставлять землю под паром, не собирать виноград и плоды оливковых деревьев, чтобы «питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые». В

период Второго храма этот закон строго соблюдался, затем по мере исчезновения земледелия в Палестине он стал чистой теорией, но с началом аграрной колонизации снова приобрел практическое значение. Есть, правда, способ обхода древней заповеди — формально на один год продать поле нееврею и тогда обработка его возможна. Допустимо ли это? Ашкеназская община Иерусалима сочла, что — нет. Но колонисты не могли позволить себе один год из семи оставаться без урожая. Дискуссия шла весь конец XIX и начало XX веков, пока главный раввин Яффы Авраам Кук не разрешил формальную продажу.

В конце концов, эти первопроходцы так и погрязли бы в нищете, в малярии, которую извергали окружающие их болота, во вражде турецких чиновников и стычках с арабскими феллахами, так и растворились бы в трясине бед и злосчастия, если бы не помощь благотворителей, не пресловутое «еврейское золото», о котором трубили антисемиты всех стран и прежде всего Франции, откуда оно больше всего и шло.

У основателя династии Ротшильдов — Мейера Аншеля, этого «короля кредиторов и кредитора королей», было пять сыновей, которые создали банковские дома в пяти европейских странах. У главы французской династии Джеймса в свою очередь имелись три сына, младший из них барон Эдмон в отличие от своих братьев не занимался семейными банковскими делами, что не помешало ему в молодом возрасте унаследовать часть огромного состояния отца.

Это был такой своего рода плейбой — путешественник, альпинист, яхтсмен, знаток искусства. От него меньше всего ожидался благотворительный интерес к еврейским делам, который имелся у других членов семьи. И вот нате — долгие беседы с парижским раввином Цадоком Каном, с одним из основателей «Альянс Израэлит» Ицхаком Неттером, переписка с Дюма-сыном, герой пьесы которого призывает евреев вернуться на историческую родину и возродить там свое государство. Среди гостей его парижского особняка то молодой поселенец из Ришон-ле-Циона Израиль Файнберг, повествующий об энтузиазме и бедах билуйцев, то лидер религиозного направления в российском палестинфильстве раввин Шмуэль Могилеввер. Они рассказывают ему о погромной волне в России, о сотнях тысяч беженцев из Восточной Европы, взывая к его сочувствию, а точнее к его кошельку, который молодой барон, в конце концов, соглашается открыть. Он не сторонник массовой эмиграции в Эрец-Исраэль. Это может вызвать полный запрет ее турецкими властями или привести к голодной смерти переселенцев, от которой их не спасет никакая филантропия. Нет-нет — потихоньку, помаленьку, методом постепенной инфильтрации в страну небольшими группами при подготовке хотя бы минимальных условий для труда и быта. Вот какой он был трезвый постепеновец, этот знаменитый барон, которого сорок лет спустя назовут «отцом ишува». Но при всей своей трезвости он вложил к концу XIX века в колонизацию Палестины 40 миллионов франков, огромную по тем временам сумму, создав 19 поселений. На его деньги покупалась земля, осушались болота, разбивались виноградники.

В общем-то он был невысокого мнения о восточноевропейских евреях, которые составляли основной контингент поселенцев. Эти люди, конечно, не умеют хозяйствовать, они ленивы и нелюбопытны, так надо научить их выполнять приказы, соблюдать дисциплину — и трудовую, и религиозную. Им

надо учиться терпеливо и напряженно работать, а не заниматься демагогией и выдвигать политические лозунги.

Откуда у этого человека, рожденного в золотой клетке и проводившего жизнь в праздности и причудливых занятиях, такая жесткость и презрение к своим далеким единоплеменникам — сказать трудно. Он создал систему управления основанными им колониями, заставляющую вспомнить отцов-иезуитов, которые в XVII веке, посадив в Парагвае бродячих индейцев на землю, воспитывали их в поселениях с помощью жесткого отеческого попечения.

«Отец ишува» установил в палестинских колониях «режим чиновников» — присланных из Франции администраторов, специалистов-агров, учителей, которые, конечно же, делали очень много — обучали поселенцев, снабжали их сельхозинвентарем, семенами, осушали болота и прокладывали дороги, заботились о насущных потребностях новопривывших. Но при этом они лишали своих подопечных всякой инициативы и пытались жестко регламентировать их повседневную жизнь, требуя скромности в быту, обязательного соблюдения религиозных традиций, общения только на иврите.

Их воспитывали в духе предписанных из Парижа идеалов, также как иезуиты в XVII веке воспитывали своих краснокожих питомцев в духе христианского учения, и как райкомы, пытались прививать русскому крестьянству советскую атеистическую идеологию в веке двадцатом.

Легко себе представить реакцию свободолюбивых детей российского мещанства, впитавших в себя идеи Просвещения, на такую регламентацию. Одним из первых бунтовщиков стал лидер билуицев Израиль Белкинд, за что и был изгнан из колонии Ришон-ле-Цион. Массовые протесты против действий администрации Ротшильда происходили едва ли не каждый год. В результате зачинщиков вместе с семьями изгоняли из поселений, лишая средств к существованию.

Наверное, это раздражало «известного покровителя» (так, избегая рекламы своей деятельности, требовал называть себя Ротшильд). Он, внимая в свое время страстным пророческим речам раввина Могилевера, так распалившим его воображение, не думал, что колонизация Святой земли будет идти столь трудно и докучливо. К тому же и семья была недовольна столь активной вовлеченностью Эдмона в заведомо безнадежное, по их мнению, предприятие, всей этой возней с российскими оборванцами, далекими от западной культуры, западного образа жизни. Тем не менее, Ротшильд, отменяя всякие жалобы, поддерживал свою администрацию, утверждая, что не видит оснований ей не доверять.

Со временем конфликт, тянувшийся двадцать лет, все-таки утомил его, и он решил передать управление поселениями «Еврейскому колонизационному обществу», благотворительной организации, созданной другим «известным покровителем» бароном де Гиршем (видимо, баронский титул становился обязательным приложением к капиталу богатых евреев-благотворителей, в России бароном был Гораций Гинцбург) для колонизации Аргентины обитателями гетто Восточной Европы.

Гирш в отличие от Эдмона Ротшильда был *self made man*. Он сам составил свое состояние на строительстве железных дорог в Турции, превратив три миллиона франков, полученных в наследство от отца, придворного банкира баварского короля, в полтора миллиарда франков — сумму невероятную по тем временам. Но и размах его благотворительности был невероятен. Начав с

миллионного пожертвования на школы «Альянс Израэлит», он, потеряв в 1887 году единственного сына, отдал на добрые дела его долю в своем капитале, но и это, видно, не утолило его скорбь, он словно бы задался целью раздать свое состояние. Его агенты изучали положение дел в России, Румынии, Галиции, выясняли возможности приема изгнанников в Канаде, Соединенных Штатах, остановившись, в конце концов, на Аргентине, где были куплены огромные территории. Его фонды помогали иммигрантам на их пути в Новый свет, его школы обучали их продуктивным профессиям. Идеи Герцля Гирша не прельстили, тем не менее, после его смерти в 1896 году руководство «Еврейского колониционного общества» решило содействовать поселенческой деятельности в Палестине, и в это же время ЕКО было передано управление колониями, созданными на Святой земле Ротшильдом.

«Известный покровитель» стал президентом созданного при ЕКО «Палестинского совета», вручив ему «на зубок» 15 миллионов франков. При этом он как будто бы сделал выводы из конфликтов, будораживших колонии долгие годы. Говоря современным языком, там была проведена экономическая реформа — на смену «режиму чиновников», основой которого было административное регулирование жизни поселений, пришел экономический контроль. Колонисты получали кредиты, но деньги надо было возвращать, никто им не диктовал, как работать, они должны были сами отвечать за свою судьбу и жить на началах самоуправления.

Ротшильд чувствовал себя отцом, который выпускал детей в самостоятельную жизнь. Но дети не были готовы к ней. Если раньше их тяготила чрезмерная опека, то теперь они, уже привыкнув полагаться на сильную руку покровителя, боялись самостоятельности. И тем не менее все притиралось. Бросаясь из одной крайности в другую, система хозяйствования давала свои плоды.

В первом десятилетии XX века «мать поселений» Петах-Тиква насчитывала около двух тысяч жителей. Они владели двумя с половиной тысячами гектаров земли, на которых произрастали зерновые культуры, маслины, виноград, апельсины, миндаль. В поселке имелся кооператив владельцев апельсиновых садов, кредитное товарищество, две школы, детский сад, библиотека. А Ришон-ле-Цион стал центром виноделия Палестины. Разбитые по совету Ротшильда виноградники позволили построить винный завод, обширные погреба, и также как и в Петах-Тикве, создать полную инфраструктуру жизни поселенцев — народный дом, библиотеку, почту, аптеку, синагогу.

Сейчас все города — на сто-двести тысяч населения, которые за сто лет прошли немалый и бурный исторический путь, овеянный легендами. Так за фразой, стоящей в гербе Ришон-ле-Циона — «Нашли воду», стоит история первого колодца, выкопанного в поселении и жизненно важного для его развития. Ссуду на эти цели выделил Ротшильд, по его приказу был доставлен из Парижа бур — все это были серьезные памятные события в существовании поселенцев. Бурить пришлось на 48 метров, и восклицание: «Нашли воду» (сродни крику колумбового матроса «Земля!») так и вошло в герб города.

Израильский дневник: «Ган Шмуэль»

Из всех моих израильских путешествий это было самым странным, ибо я, старый русский еврей, представлял в нем Германию. Нас было девять человек — журналистов, рекламных агентов, представителей туристических фирм — приглашенных «на халяву, сэр» министерством туризма Израиля для демонстрации красот страны, ее отелей, гостевых маршрутов, еврейских и христианских святых мест с тем чтобы поддержать туристический бизнес. Я представлял свою выходящую в Берлине русскоязычную газету. Рядом со мной в автобусе сидел католический журналист из Баварии, через проход — работник турбюро из Ганновера и так далее — люди из разных городов и земель ФРГ.

Мы колесили по Святой земле, с юга на север — от Мертвого моря до гор галилейских. И весь день гудела в салоне разноязыкая речь — русская, немецкая, иврит, — отражая культурные слои и прошлое нашей разнородной компании. А за окном рыжели палимые нещадным солнцем скалы, обрывы песчаника, наплывы глины — и все более безжизненным, первобытным становился пейзаж, оживляемый разве что палатками бедуинов и их козами, которые бог весть чем питаются в этом безводье. Вверх — вниз, вверх — вниз. Из аэропорта в Иерусалим — это вверх («алия» означает «восхождение», и, следовательно, когда едешь в Иудейские горы — совершаешь алию), а потом снова вниз, в Иудейскую пустыню, к Мертвому морю.

Колеса по дорогам Галилеи, мы заехали в молодежную деревню — центр, где учатся и живут на полном пансионе триста детей в возрасте от 13 до 18 лет. Как они попадают сюда? Одни приходят из неблагополучных семей, другие с помощью сельскохозяйственной программы готовятся к поступлению в киббуц, третьи по программе молодежной алии приезжают сюда из постсоветского пространства.

Все в этой деревне было как и в других такого рода добропорядочных учреждениях — школьные классы, спальни, клуб, дискотека. Столовая, в которой мы не без приятного удивления не почувствовали обычного запаха кухни — пахло чистотой и свежестью, на столах стояли фрукты и обильная еда.

Меня окружили ребята из России — Ксюша из Ульяновска, Никита — из Москвы, Максим — из Омска... Одни только начинали свою жизнь здесь, другие были на выходе, кому-то предстояла армия. В этой толпе было немало нееврейских лиц. Мне объяснили, что алия подбирает из постсоветского пространства «половинок» и «четвертинок» — тех, у кого только отец или дедушка — еврей. Страна охотно принимает такую молодежь, «усваивает» ее, превращает в израильтян с нормальным национальным самосознанием.

— Да, — не без горечи вздохнул баварский журналист Вернер Ройтер, — все страны воспитывают у своей молодежи национальное самосознание, только не Германия.

Таково его — немца средних лет — ощущение. Но мы не углублялись в эту тему, она далеко завела бы нас.

Я предложил, чтобы мы, следуя по нашему маршруту, заехали в какой-нибудь киббуц. Мои коллеги не возражали, и мы отправились в расположенный

под Хадерой поселок Ган Шмуэль, откуда был родом сопровождавший нас берлинский представитель фонда «Керен ха-Иесод — объединенный израильский призыв» Уди Лехави.

С Уди — долговязым сухощавым господином, по внешности и манерам напоминающим типичного немецкого интеллектуала, я виделся в Берлине и уж никак не отождествлял его с кибуцниками, которые представлялись мне крепкими тяжеловесными мужиками с обветренными лицами... И вот поди ж ты, оказывается, он родом из кибуца и вскормлен здесь, в долине Шарона (вспоминается библейское: «Я роза Сарона, лилия долин»), выкупленной некогда у местных феодалов кременчугским евреем Иешуа Ханкиным. И пока мы едем мимо утопающей в зелени Хадеры — типичного израильского города на сотню тысяч населения — я припоминаю все, что знаю об Иешуа Ханкине, этом рыцаре «геулат ха-карка» — избавления земли.

«Геулат ха-карка» — один из лозунгов протосионистского движения «Ховевей Цион». Вызволить Святую землю, эту обитель божественного присутствия, из чужих рук, поселить на ней евреев — так легко отзывалась эта мечта в душах чахлах портных и одиноких шинкарей, отдававших для ее осуществления гроши, добытые ремеслом и мелкой торговлей. Мечтателями были и первые уполномоченные «Ховевей Цион», пытавшиеся скупать земли прежде всего известные по библейским сказаниям. Но они зачастую оказывались в горах, эти разрозненные участки, носившие громкие библейские названия. Надо было идти в долины, в прибрежную равнину, где и цены ниже, и территории больше.

Иешуа Ханкин и его отец Израэль-Лейб в восьмидесятые годы позапрошлого века были едва ли не первыми в ишuve профессиональными земледельцами, имевшими крестьянский опыт, приобретенный в колонии на юге Украины. Сын же еще гимназистом приобщился к революционному народничеству, что не помешало ему вместе с отцом в 1882 году переехать в Палестину, где они крестьянствовали на купленном у арабов участке земли сначала в Ришон-ле-Ционе, а потом в Гедере вместе с билуйцами.

Иешуа был, судя по всему, человек разносторонне способный и контактный, так как вдобавок к своему земледельческому опыту он освоил арабский язык и местные обычаи, сумел установить дружеские отношения с турецкими чиновниками, что позволило ему стать ключевой фигурой в «геулат ха-карка». Размах его деятельности поражает воображение. На приобретенных им землях расположены такие города как Реховот, Хадера. Он вел многолетнюю борьбу за Изреельскую долину, большей частью которой владела христианская семья Сурсук, приобрел побережье Хайфского залива, выкупал земли в нижней Галилее. Всего на его счету примерно 600 тысяч дунамов (напомним, дунам — десятая часть гектара), купленных для национального и колониационного фондов, групп переселенцев и отдельных инвесторов.

Во время Первой мировой войны его деятельность была признана противоречащей интересам Османской империи, и его выслали из Палестины. Но после войны он вернулся и действовал уже во времена британского мандата с удвоенной энергией. В 1926 году он разработал план приобретения в течение десяти лет четырех миллионов дунамов и создания на них поселений для 200 тысяч евреев. Он прожил долгую и бурную жизнь и умер почти восьмидесяти лет отроду, не дожив несколько лет до создания еврейского государства, в котором его именем названы улицы городов.

30 тысяч дунамов, где расположена нынешняя Хадера, он покупал в 1891 году. Долго торговался с владельцем этой болотистой пустующей земли Салимом Хури, но в конце концов сговорились. И вскоре здесь поселилась группа молодых евреев из Прибалтики, основав поселок, название которого произошло от арабского слова «аль-хадра», что означает «зелень». То была зелень болот, зелень малярии, от которой в первое десятилетие вымерла половина поселенцев.

И тут в наше повествование вступает еще одна фигура раннего протосионистского периода существования ишува — врач Гилель Иоффе, жизненный путь которого пролегал через Бердянск, где он окончил русскую гимназию, через Женеvu, где было получено медицинское образование и, наконец, через Хайфу, где он имел медицинскую практику. Иоффе стал первым маляриологом Палестины. Однако, будучи не только врачом, но и палестинофилом, он принимал близко к сердцу беды первых колонистов. Это он посоветовал использовать как средство от заболачивания почвы эвкалипт — дерево-великан, быстро растущее и впитывающее излишки почвенной влаги. Оно родом из Австралии, это там пронизанные солнцем, полные аромата вечнозеленые эвкалиптовые леса. Но где Австралия, а где Палестина... Тем не менее с конца XIX века саженцы эвкалипта начинают поступать в Хадеру и Петах-Тикву, а затем распространяться по стране, так что со временем арабы называли его еврейским деревом.

Но, конечно, одного этого еврейского дерева было мало. На средства Ротшильда в Хадере провели дренажные работы. На осушенной земле сажали миндаль, виноград, оливы, давили масло, создавали кооператив. Статус города поселению присвоили в середине прошлого века. Население его сейчас представляет собой пеструю этнокультурную смесь — сабры и арабы, ашкеназы и курдские, грузинские, азербайджанские евреи. Последние выступили с прелестной инициативой — назвать городской парк именем Гейдара Алиева. Мнится ли этому члену советского политбюро в его посмертном сне, что в городе, где один из районов назван Гиват Ольга в честь жены Иешуа Ханкина — местной акушерки и общественного деятеля, есть парк, носящий его имя?

Про расположенный поблизости от Хадеры кибуц «Ган Шмуэль», куда мы направлялись, наша экскурсовод сказала, что название это переводится как «сад Шмуэля». Был де некогда некий религиозный еврей по имени Шмуэль, пожертвовавший в начале прошлого века кибуцу свою цитрусовую плантацию, в результате чего в честь него и назвали поселение. Я не стал опровергать нашу всезнающую гидессу, но подумал о том, как в тумане времени рождаются легенды, смягчая и скрывая очертания событий.

Религиозный еврей... Да это ж она имеет в виду Шмуэля Могилевера, знаменитого раввина и одного из основателей движения «Ховевей Цион», в честь семидесятилетия которого здесь была разбита цитрусовая плантация.

Могилевер — это фигура особая. Облик пророка — высохшее лицо в окладе бороды, углубленный в себя, полный печали взгляд, ораторский дар, сотрясавший сердца. Как он построил свое выступление на первом съезде «Ховевей Цион» в Катовицах на образе «сухих костей» из видения пророка Иезекииля, где эти высохшие кости соединяются и умершие оживают... Так ему, человеку, воспитанному на библейских ассоциациях, виделось возрождение еврейской жизни в Святой земле. И как магнетически воздействовал рабби Шмуэль на

Эдмона Ротшильда в Париже, прося, да нет, скорее требуя помощи палестинским поселенцам. Он был одним из основателей религиозного сионизма — этого синтеза Торы и герцлевского «еврейского государства». И если вы сейчас видите на голове израильтянина вязаную кипу — знак принадлежности к религиозному сионизму, вспомните о рабби Шмуэле.

Не знаю, кто и как разбивал в 1894 году тот юбилейный цитрусовый сад, знаю только, что в 1921-м он оказался в собственности только что созданного кибуца, положив начало его специализации и будущему богатству.

Первыми обитателями «сада Шмуэля» стали два десятка молодых людей из халуцианского движения Рабочий батальон. Видимо, они неплохо овладели культурой выращивания цитрусовых, ибо это стало их основным занятием, которое разделяли все новые кибуцники.

В тридцатые годы коллектив пополнили представители молодежного движения Хашомер Хацаир, а после войны — уцелевшие после Холокоста польские евреи. Родители Лехави как раз и относились к этому послевоенному пополнению кибуца. Сейчас они лежат на местном кладбище, и Уди навещает время от времени их могилу, приходит на свою малую родину, целуется со стариками, перекидывается словечком со сверстниками. На сей раз мы вместе с ним ходили по улицам поселка, осматривая школу, детский сад, столовую, культурный центр и главный источник богатства — консервный завод, радикально изменивший жизнь кибуца и превративший его в современное агропромышленное предприятие.

«Ган Шмуэль» был одним из первых кибуцев, вступивших в промышленную эру. У большинства коммун это произошло в конце пятидесятых годов, а здесь консервный завод построили в начале сороковых, когда мировая война закрыла европейские рынки сбыта палестинских апельсинов, бывших до начала пятидесятых годов практически единственной статьей местного экспорта.

Легенда гласит, что цитрусовые завезли в страны Средиземноморья еще воины Александра Македонского во время похода в Индию. Во всяком случае, родина этрогового дерева, чей цитрусовый плод используется в ритуале праздника Суккот, — Индия. Потом крестоносцы лакомились лимонами, это уже известно достоверно. Культура апельсина, знаменитого яффского апельсина, проникла в Эрец-Исраэль из Португалии в начале XVIII века, а в начале XIX века здесь появились мандарины. В конце того же столетия на плантациях Петах-Тиквы были высажены первые деревья грейпфрута. К тому времени эти культуры стали, говоря советским языком, «политическими», так как одной из первых акций зарождающегося сионистского рабочего движения стала борьба за еврейский труд на цитрусовых плантациях, владельцы которых предпочитали нанимать более дешевых арабских рабочих.

В «Ган Шмуэле» этой проблемы не было. Свою стогектарную цитрусовую плантацию кибуцники обрабатывали сами. Но вот когда построили завод по производству соков и цитрусовых концентратов, пришлось нанимать работников со стороны. Нужны были специалисты-консервщики, да и рабочих не хватало. Сейчас из 220 занятых здесь работников только 105 кибуцники. Но это был лишь первый шаг по пути капиталистического развития хозяйства. Завод наращивал производство — выпускал джемы, пюре-полуфабрикаты, кооперировался с другим кибуцем, становился акционерной компанией, создавал дочерние фирмы в Испании и Южной Африке, завоевывал все новые рынки.

В середине первого десятилетия нынешнего века это было крупное современное предприятие, перерабатывающее около ста тысяч тонн цитрусовых и 70 тысяч тонн томатов и поставляющее свою продукцию в сорок стран мира. Доходы от сельского хозяйства составляют теперь лишь десять процентов от прибыли кибуца размером в 250 миллионов шекелей. Немалую прибыль коллективу приносит крупный торговый центр. А из чисто аграрных отраслей этого многопрофильного предприятия Уди назвал кроме цитрусового сада еще разведение прудовой рыбы и молочную ферму на триста коров. Вот коровы-то меня интересовали больше всего.

Работая в советские времена в аграрной газете и объездив сотни колхозов и совхозов, я, конечно, слышал об успехах израильского молочного скотоводства, о котором в России ходили легенды. И музыка звучит в израильских коровниках для подъема настроения животных, и для каждого имеется отдельное меню, а под кожу внедряется электронный чип с передающим устройством. Такого рода байки порождались поражающей воображение цифрой: средний годовой удой коровы в Израиле превышает 11 тысяч килограммов. И это в сухом жарком климате при практическом отсутствии пастбищ. Для сравнения скажу, что российская корова в куда более пригодных для животноводства климатических условиях дает 2,5-3 тысячи килограммов молока в год.

Уже первые кибуцники, эти осваивавшие азы сельского хозяйства горожане, в начале тридцатых годов получали по 3700 литров в год. В то же самое время арабская корова давала 500 литров. В 2002 году Израиль держал мировое первенство по надоям — 11 тысяч литров. На втором месте были США — 10 тысяч, на третьем — Голландия — 8,3 тысячи.

В кибуце «Ган Шмуэль» корова дает 12 тысяч килограммов молока. Я с уважением и интересом смотрел на этих огромных черно-пестрых животных, лениво и важно лежавших в открытом коровнике. Скоро им придется подняться и отправиться в доильный зал, похожий скорее на больничную операционную своим белым кафелем, чистотой и различными трубами, колбами и проводами. Дояр вымоет им вымя струей воды, протрет тряпкой с йодом и наденет доильный стакан.

Конечно, никакой музыки и чипов, вживленных под кожу, здесь нет. Но браслет на ноге, высокотехнологичный ошейник и приборчик у челюсти — так называемый «жвачкомер» — круглосуточно сообщает животноводам о физическом и психическом состоянии коровы. Полные данные о ней есть и в центральном компьютере ассоциации животноводов Израиля.

Когда я на следующее утро завтракал свежайшим творогом, то вспомнил, что Израиль выпускает более пятисот видов молочных изделий, конечно же, удовлетворяя свои потребности в них. Но по объему производства животноводство работает на треть своих возможностей. Можно было бы поставлять его продукты на экспорт, но по ценам Израиль не выдерживает конкуренции на мировом рынке.

Что это я так разговорился о коровах? Пора переходить к людям. Но ведь это разговор и о людях, о народе, который на протяжении десятков поколений был оторван от земли, от сельского хозяйства, и, получив возможность вести это хозяйство, ставит мировые рекорды.

Уроки рынка

В декабре 1953 года в кибуце «Сде Бокер», расположенном в центре пустыни Негев, появился новый работник — приземистый коренастый старик с венцом белоснежных волос вокруг крупной лысеющей головы. Как и все другие члены кибуца, он каждый вечер останавливался у доски объявлений у входа в столовую, чтобы узнать, какая работа ему поручена на следующий день. Сначала он развозил навоз и вносил его в лунки деревьев, а потом, когда выяснилось, что это ему тяжело, пас овец и присматривал за маленькой метеостанцией, с помощью которой определяли погоду на завтра. Появлению этого человека, которому суждено было прославить кибуц, предшествовали следующие события.

За полгода перед тем — весной 1953 года — в этом только что созданном поселении, представлявшем собой несколько бараков и сотню гектаров осваиваемой земли, появилась небольшая кавалькада машин. Премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, возвращаясь из Эйлата, остановился здесь ненадолго. Он расспрашивал молодых поселенцев об их планах, их прошлом, узнавая, что они служили здесь в армии во время войны за независимость, и потом решили остаться и создать кибуц в этом жарком пустынном краю.

Кавалькада отправилась дальше по дороге на Тель-Авив, и в этом мимолетном визите не было бы ничего необычного — возглавляемое Бен-Гурионом социалистическое правительство уделяло большое внимание кибуцному движению, — если бы не тогдашние обстоятельства жизни премьер-министра. К этому времени 67-летний Бен-Гурион начал испытывать усталость после многих лет невероятного напряжения, связанного с руководством сначала ишувом, а потом созданным им государством. Он был бессменным лидером нации, власть которого, несмотря на всевозможные политические баталии, сопровождавшие наиболее важные его решения, считалась неоспоримой. Но он понимал необходимость преемственности этой власти, передачи ее более молодым лидерам из числа воспитанного им окружения во время пока он еще жив и может как-то влиять на ситуацию.

Мысль о добровольном уходе в отставку постепенно вызревала у него, но хотелось вместе с тем и своим уходом как-то послужить сионистской идее, осуществлению которой он отдал жизнь. Поселение в кибуце да еще расположенном в сердце Негева, этой огромной пустынной территории, освоение которой он считал главной задачей развивающегося государства, должно было стать знаком ухода в будущее, поданным стране и миру, достойным завершением жизни, отданной служению халуцианской идее.

И вот 14 декабря 1953 года охранники и секретари грузят в машины чемоданы и узлы, книги и папки с документами, отправляя своего теперь уже бывшего шефа с женой на новое место жительства, куда его сопровождает армия друзей и журналистов. Так кибуц «Сде Бокер» приобретает пастуха, а страна теряет своего многолетнего лидера.

Конечно, в этом были элементы театра — «отец нации», который добровольно уйдя от власти, удалившись от дел, подобно библейским предкам пасет овец в пустыне, как завещал один из самых обаятельных идеологов халуцианского движения Аарон Давид Гордон, этот создатель религии земледельческого труда.

Бен-Гурион внешне доволен, он поздоровел, загорел, ведет себя подчеркнуто скромно, просит окружающих независимо от их возраста называть себя Давид. Но по вечерам к скромному кибуцнику Давиду потоком устремляются государственные деятели, молодежные делегации, журналисты — всем нужны его советы, его точка зрения на те или иные события, те или иные реалии израильской жизни. Да и недолго длится его уединение — чуть более года. Уже в начале 1955 года он возвращается во власть с тем, чтобы еще через восемь лет уйти от нее окончательно и завершить свои дни в «Сде Бокере», в доме, который после его смерти стал музеем.

Эта буколическая история — одно из многих свидетельств неразрывной связи израильского истеблишмента с кибуцным движением. Все первые премьер-министры, почти все известные военачальники были родом из кибуца. Бен-Гурион, Леви Эшкол, Голда Меир в разные годы жизни прошли эту школу, формировавшую их мировоззрение. Дочь Голды Меир жила в кибуце Ревивим, расположенном сравнительно недалеко от Сде Бокер, и Голда, будучи министром иностранных дел, а потом и премьером, как только у нее высвобождался день, устремлялась в Негев понынчить внуков. Моше Даян и Игаль Аллон — эти генералы-победители первых войн, а потом и Эхуд Барак, лидер более поздних времен — уроженцы кибуцев. И естественно, что после создания государства все, что нужно движению, давалось безотказно, но вместе с тем и на началах взаимной помощи. В войнах, в освоении новых территорий, в приеме иммигрантов — кибуцы были надежной опорой молодого государства. И оно, в свою очередь, платило им всесторонней поддержкой, предоставляя ссуды, воду, землю, благо, государственный земельный фонд резко вырос за счет территорий, которые были под контролем британской администрации, и угодий бежавших арабов. Теперь уже создаваемым коммунам не надо было осушать болота и очищать от камней террасы, да и старые коллективы округляли свое землепользование за счет новых пригодных для земледелия участков.

Все послевоенные кибуцы создавались по одной и той же схеме. Формирующийся чаще всего из новоприбывших коллектив предоставлял в «Еврейское агентство» хозяйственную программу, в которой оговаривались объемы аграрного производства — сколько зерновых будет выращиваться, сколько садов разведено, сколько скота и птицы содержаться. Под эти объемы агентство выделяло долгосрочные, низкопроцентные ссуды, определяло территорию и нормы потребления воды. Строй жилье и производственные помещения, покупай технику и — вперед по пути к осуществлению коммунистического принципа: от каждого по возможностям, каждому по потребностям.

Многие кибуцы в первые годы, а то и десятилетия своего существования прибыли от хозяйствования не получали, что зарабатывали, то и проедали, но, в конце концов, особенно по мере приспособления к требованиям рынка, освоения не только аграрного, но и промышленного производства начинали работать более рентабельно, выплачивать ссуды, богатеть, наращивая потребности.

Первое десятилетие существования государства было периодом кибуцного бума, за это время было создано 80 новых коммун при том, что за всю предыдущую историю ишува их организовали 135. Правда, потом стали преобладать мошавы — кооперативные сельскохозяйственные поселения, основанные на совместном владении техникой и общем сбыте продукции, но при индивидуальном землепользовании и частной собственности на имущество. Такое изме-

нение форм хозяйствования было связано с иным характером алии. Начиная с пятидесятых годов в Израиль переселялись не столько идеалистически настроенные молодые ашкеназы, воспитанные на халуцианских идеях, сколько выходцы из стран Азии и Африки — сефардские торговцы и ремесленники, которым были органически чужды принципы коллективного труда и свойственные патриархальные семейные ценности. Естественно, мошав, где кооперация оказывалась минимальной и основной хозяйственной ячейкой становилась семья, был им ближе, чем киббуц.

Тем не менее, призыв, с которым Бен-Гурион обратился к киббуцам сразу же после завершения войны за независимость — принять новых иммигрантов и увеличить производство продуктов питания, — восприняли во всех сельскохозяйственных поселениях. В нем были отражены две главные задачи, возникшие в ходе мирного строительства молодого государства. Эти две взаимосвязанные задачи были беспрецедентны в человеческой истории. Ни одно государство не сталкивалось со столь массовым наплывом новых граждан в такие короткие сроки. В момент провозглашения Израиля в нем насчитывалось 713 тысяч евреев и 120 тысяч арабов. И за последующие три года еврейское население страны удвоилось.

Первое, что провозгласил Кнессет, было право на алию евреев, подразумевавшее отмену всех ограничений иммиграции, введенных режимом британского мандата, право, за которое ишув боролся десятилетиями. Теперь оно было воплощено в «Законе о возвращении». И уже во второй половине 1948 года в Эрец прибыло сто тысяч новопривывших. В следующем году их стало 240 тысяч, потом в течение двух лет по 170 тысяч.

Представьте себе эти пестрые разноязыкие человеческие потоки, хлынувшие на узкую полосу земли у Средиземного моря. Обитатели лагерей перемещенных лиц, пережившие Холокост, чешские, польские, болгарские евреи, экзотические обитатели Турции, Ирана, Марокко, Йемена — разный облик, жизненный опыт, ментальность. Их объединяли разве что религия да древняя кровь, не растворившаяся среди окрестных народов за тысячелетия галута. Этим людям надо было безотлагательно предоставить хлеб, работу, жилье. Создание сельскохозяйственных поселений — киббуцев и мошавов — теперь уже было не просто одним из идеалов сионизма, а средством абсорбции новопривывших и решения продовольственной проблемы, предельно обострившейся в условиях бурно растущего населения.

Я, человек, выросший в советской России, где продовольственная проблема всегда была первоочередной, где воспоминание о дешевой вареной колбасе до сих пор томит воображение стариков, пытаюсь понять, каким образом страна, начинавшая с введения карточек на продукты питания и одежду, сумела за считанные годы не просто накормить население отечественной едой, но и экспортировать продовольствие. В чем причины того, что называется «израильским сельскохозяйственным чудом»?

После этого вопрошания меня неотвратимо уносит к теме жратвы — того изобилия продуктов, которое породило в стране своего рода культ еды, ставшей в соответствии с известным афоризмом еврейским национальным видом спорта. В самом деле, пишешь о России, о бытовых, социальных аспектах ее общественного бытия — не уйдешь от темы водки — пьянства как формы жизни, питья, как спутника любого ее проявления. Ну, а в Израиле не пьют, но зато как едят!

Что касается питья, то «русский миллион», конечно, внес в него свой вклад.

Но лет двадцать назад, помнится, как мой друг детства, у которого я жил в Хайфе, сказал после нашего совместного посещения поселка интеллектуалов, где мы ходили по разным компаниям в пятничный вечер: «Ты все-таки здорово обрусел». — «Что ты имеешь в виду?» — «Пить стал». — «Пить? Да я за весь вечер выпил не более ста пятидесяти граммов коньяку». — «А ты видел, чтобы кто-нибудь кроме тебя пил коньяк? Не жалко, конечно. Но ведь ты один его пил. А остальные — вино».

Или разговор с сыном другого моего приятеля, выросшим в Израиле демобилизованным офицером о жизни в армии. Этот парень в общем-то неплохо говорил по-русски, хотя некоторые нюансы, в частности, разницу между понятием «пить» и «выпивать» мне приходилось ему разъяснять в контексте нашего разговора. Я спросил, пьют ли в армии. Он кивнул: «Пьют». — «А что пьют?» — «Кофе». — «Подожди, подожди. Ну, вот пришли вы из патруля, кругом опасность, нервы напряжены, стресс надо снять?» — «Надо». — «Наверное, выпить надо». — «Надо» — «Пьете?» — «Пьем». — «А что пьете?» — «Кофе». Так ни до чего и не договорились. А уж когда я его о «дедовщине» пытался расспрашивать, он вообще ничего не понял, просто не понял, как такое может быть.

Ну, да бог с ним, с питьем. Поговорим о жратве. Включая русскоязычный израильский телеканал в чайнии новостей или аналитических передач и наталкиваюсь каждый раз на целый букет однотипных программ: «Хочу все съесть», «Есть готов!», «Наша кастрюля». Оно, конечно, и в России Иван Ургант в программе «Смак» с легкой руки Андрея Макаревича каждую неделю превращает телестудию в кухню, призывая к плите всяких популярных людей. Но здесь на одном канале, да в трех, если не в пяти разных передачах с таким сладострастием жарят, парят, едят, привлекая к этому действию своих знаменитостей, и в том числе нашего «знатока» Леонида Каневского, что порой просто невмоготу становится.

Так было не всегда. Страна знала, что такое голод, недоедание. Голда Меир, начинавшая свою палестинскую жизнь в кибуце «Мерхавия», рассказывает в мемуарах, как они питались в 1921 году. «Наш рацион состоял из прокисших каш, неочищенного растительного масла, некоторых овощей с бесценного кибуцного огородика, мясных консервов, оставшихся после войны от британской армии и еще одного неопишуемого блюда, которое готовилось из "свежей" селедки в томатном соусе».

Я, было, посочувствовал бедным идеалистам, которые в ходе реализации своего утопического проекта вынуждены были питаться прокисшей кашей да британскими мясными консервами, но вспомнил, что в России, где другие идеалисты пытались осуществить свою коммунистическую утопию, в том же 1921 году был такой голод, что в селах, по свидетельству писателя Михаила Осоргина, работавшего во «Всероссийском комитете помощи голодающим», людоедство стало обыденным явлением, а число умерших от голода в стране достигло пяти миллионов человек.

Дальнейшее сравнение быта двух стран — плацдармов великих утопий — дает сочные подробности того, как ели-пили. Вот председатель послевоенного российского колхоза Ананий Егорович из очерка Федора Абрамова «Вокруг да около» возвращается домой, измученный неразрешимыми проблемами своего хозяйства, и садится ужинать. «Он потыкал вилкой сухую картошку, потыкал грибы — и со вздохом отодвинул тарелку». Затем, так и не поужинав, он в отчаянии уходит в чайную, где и напивается с мужиками до потери сознания.

У героя рассказа Моше Шамира «Пока не забрезжил рассвет», распределителя работ Кафри (есть в кибуце такая руководящая должность) тоже неважное настроение в октябрьский вечер 1945 года. Его хозяйство, как и колхоз Анания Егоровича, накрыл дождь, он запутался с графиком работ, понервничав, обидел друга. Словом, причин чувствовать себя измученным немало, да и поужинать он в этой круговерти забот забыл, но придя поздно вечером в столовую, убедился, что ужин его ждет на плите.

«Ужин оказался вкусным. Котлеты еще горячие — он сразу почувствовал по запаху. Жареная картошка мягкая, румяная, пропитана жиром, как он любил. Под котлетами хорошо прожаренный омлет. На плите стоял кофейник, над которым вился легкий пар, а на столе — миска со свежими овощами, ломти хлеба, маргарин и творог».

Кафри ужинает, пьет кофе. Все в соответствии с воспоминаниями сына моего друга о его военной жизни: «Надо снять стресс — пьем кофе». Такое сочное описание ужина, такое отношение к еде — не следствие ли это прошлого народа, где в голоде и недоедании вырастали многие поколения обитателей местечек?

Создание государства Израиль в корне изменило продовольственную ситуацию в стране. Надо сказать, что и ранее еврейские сельскохозяйственные поселения лишь на 35 процентов покрывали потребность жителей в продуктах питания. Остальное покупалось у местных арабов и в соседних странах — в Сирии и Ливане. Но после войны за независимость связи с этими странами прервались, да и сельскохозяйственное производство местных арабов вследствие бегства части из них и экспроприации их земель также уменьшилось. Арабский сектор продолжал играть заметную роль лишь в разведении маслин и соответственно — производстве оливкового масла, а также в овощеводстве и овцеводстве. Пришлось ратационировать потребление продуктов, вводить карточки и другие ограничительные мероприятия, которые назывались «режим аскетизма».

Этот режим продержался десять лет. В 1959 году карточки были полностью отменены. За десятилетие производство молока в стране увеличилось в 3,5 раза, яиц — в 3,8 раза, куриного мяса более чем в 9 раз, говядины — в 12,5 раза, картофеля — в 3,3 раза, пшеницы — вдвое. Теперь доля продукции местного производства составляла 70 процентов потребления. Заметим, что еще десять лет спустя, в семидесятые годы эта доля достигла 90 процентов, что полностью решает проблему продовольственной безопасности. По международным стандартам, сельское хозяйство считается высокотоварным, если один занятый в нем может прокормить от 30 до 50 человек. В Израиле сейчас это соотношение 1 к 100. Используя парафраз знаменитого рассказа Щедрина, можно обозначить эту ситуацию следующим образом: как один крестьянин сто горожан прокормил.

Успех уже первого десятилетия существования государства стал следствием коренных структурных изменений в аграрном секторе экономики, стимулированных тем же государством. Страна, у новоявленных жителей которой, казалось бы, на протяжении десятков поколений был генетически вытравлен вкус к работе на земле, использовала интеллектуальный потенциал своего населения для освоения самых современных организационных и технологических методов ведения хозяйства.

Помню, как меня, спецкора российской аграрной газеты, повидавшего мелиоративные системы во всех регионах Советского Союза, в начале девяностых годов поразило капельное орошение, практиковавшееся в Израиле с начала

пятидесятых годов. Вода подавалась специальными крохотными капельными дозаторами малыми дозами прямо в прикорневую систему растений, так что зря не расходовалось ни капли, и это во времена, когда в советской Средней Азии в ходу был кетмень, прокладывающий дорогу мутным потокам арыков, где едва ли не половина воды бесплодно уходила в почву. Тут же не только сбережение воды получалось, но и экономия труда, удобрений, предотвращение эрозии почвы, да и урожаи получались более ранние.

Я это видел в мошаве в секторе Газа, где выращивались изумительные цветы, в тот же день уходившие на рынки Европы. Что-то теперь случилось с этим хозяйством, с этой оросительной системой? Говорят, арабы все, что осталось в секторе от израильтян — дома, синагоги, мелиоративные системы — разрушили с яростью, с которой уничтожают наследие врага.

В те же пятидесятые годы, когда создавалась эта система орошения, в Израиле была введена государственная система страхования от неурожая, произошел отказ от традиционного многоотраслевого хозяйствования и переход к специализированному развитию отраслей с учетом климатических условий, почв, размеров угодий. Американские займы, экономическая помощь диаспоры, средства германских репараций, вокруг которых разгорались столь ожесточенные споры в стране (как можно брать деньги за кровь и пепел Холокоста!) — все формировало финансовые источники кредитов, уходивших на ирригационные проекты, создание новых поселений, средства механизации труда.

На каких условиях предоставлялись кибуцам эти займы? Кредиторами были государственные ведомства, инвестиционные фонды кибуцных федераций и банков, «Еврейское агентство», которое после образования государства давало ссуды на 25-30 лет при норме ссудного процента 3-3,5 процента да еще при отсрочке начала их погашения на десять лет. Если учесть, что уровень инфляции с начала сороковых годов не опускался ниже пяти процентов, то эти займы были более чем беспроцентные. Но «Еврейское агентство» не могло обеспечить все финансовые потребности кибуцев. Банки же давали кредиты не на столь льготных условиях — учетная ставка составляла 8-10 процентов, а срок погашения был 10-15 лет.

Надо сказать, что эти средства использовались весьма эффективно. Показатели производства росли как на дрожжах. Надой молока в стране между 1949 и 1984 годами увеличился в десять раз. Израильская корова стала мировым рекордсменом по этому показателю. Среднегодовая урожайность пшеницы в семидесятых годах составляла 29 центнеров с гектара (в Советском Союзе в это время собирали вдвое меньше — 14-15 центнеров). По темпам роста аграрной продукции на одного работника Израиль вошел в число самых передовых в сельскохозяйственном отношении стран мира. При этом доля кибуцев в общей стоимости сельскохозяйственной продукции в 1960 году составляла 31 процент.

Роман кибуцного движения с государством не мог продолжаться вечно. Он длился до той поры пока у власти стояло правительство социалистов-сионистов, то есть без малого тридцать лет. В 1977 году произошло то, что в истории современного Израиля называется переворотом. В результате выборов в Кнессет число депутатов левых партий уменьшилось до 41, а правых и центра увеличилось до 62 и формирование правительства было поручено главе блока «Ликуд» Менахему Бегину, много лет находившемуся в оппозиции.

Почему это событие обозначено как «переворот», ведь смена правительства и уход правящей партии в оппозицию — дело обыденное, каждые несколько лет

происходящее в любом демократическом государстве? Здесь нам придется напомнить читателю, что на политической арене Израиля еще со времен ишува действовали две главные силы, отражающие левое и правое идеологические течения сионизма, две главных ветви этого дерева, посаженного Теодором Герцлем.

Одна ветвь возникла в результате прививки на это дерево социалистической идеологии. Такую прививку совершил в России в начале прошлого века публицист и общественный деятель Бер Борохов. Стремясь найти выход из противоречия между сионизмом и социальной революцией, он выдвинул концепцию, согласно которой еврейские массы, вытесняемые в диаспоре капиталистическим развитием и экономическим антисемитизмом, должны концентрироваться в Палестине. Именно им предстоит создавать национальную экономику, которая станет основой классовой борьбы еврейского пролетариата.

Такого рода идеология воплощалась в партии, которая на протяжении почти столетия меняла название, будучи, однако, верной своим основополагающим принципам. Сначала это название звучало как «Поалей Цион» — Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Рабочие Сиона», потом, вбирая в себя другие близкие политические течения, она обрела имя «Мапай» — Рабочая партия Эрец-Исраэль. И, наконец, в наше время стала партией труда — «Авода» — оставаясь левым крылом сионизма. И это крыло, сформированное представителями первой и второй алии, до семидесятых годов прошлого века занимало лидирующее положение в обществе, во власти, создав модель государства со всеми его слагаемыми, среди которых была и Федерация профсоюзов — «Гистадрут», и армия (в ишuve подпольная — «Хагана», а потом — в рамках государства — «Цахал»), и, наконец, — кибуцное движение. И не случайно, лидер «Мапай» Бен-Гурион был первым и многолетним главой правительства Израиля.

Но у сионизма имелось и правое крыло, в центре которого находилось движение сионистов-ревизионистов (имеется в виду ревизия политической линии руководства Всемирной сионистской организации двадцатых годов), созданное другим знаменитым лидером Зеевом Жаботинским, идеологию которого наследовала партия «Херут» («Свобода»), а в девяностые годы — блок «Ликуд».

Жаботинский и его последователи исповедовали взгляды, альтернативные социалистическому мировоззрению левого крыла, обвиняя его в двойственности сознания, в стремлении совместить национальные и классовые цели. Для ревизионизма национальные интересы превалировали над классовыми, групповыми и в соответствии с этим принципом, выраженным в формуле «хад нес» — «только одно знамя», резкой критике подвергался «Гистадрут» как выразитель интересов рабочих в трудовых конфликтах, кибуцное движение, получавшее финансовую поддержку вопреки запросам частных фермеров, и ряд других проявлений классового подхода. Соответственно идеология этого движения включала в себя поддержку свободной экономики, основанной на частном предпринимательстве и конкуренции, отрицание классовой борьбы в период построения еврейского государства, неприятие забастовок — трудовые конфликты, по мнению ревизионистов, должны разрешаться путем принудительного третейского арбитража.

Это противостояние социалистического и националистического начал в тридцатые годы выливалось в жаростные столкновения вокруг забастовок и рабочих демонстраций, доходившие до физических драк. Но при всем том

социалисты плотно держали бразды правления страной в своих руках, следуя своему экономическому и политическому курсу вплоть до середины семидесятых годов, когда произошел пресловутый переворот.

Он произошел не сам по себе. К этому времени в обществе накопилось раздражение господством левых, их засильем в политике, культуре, экономике, просчетами в безопасности страны, обнаруженные «войной Судного дня», постоянно выявляемыми фактами коррупции партийной элиты. И вот правые побеждают на выборах в Кнессет и «вечный оппозиционер» лидер «Ликуда» Менахем Бегин становится премьер-министром, формируя коалиционное правительство. Это правительство и провело реформу, целью которой было уменьшение государственного регулирования и либерализация экономики. Были отменены налоги на импорт и прямые субсидии на экспорт, сняты практически все ограничения на операции с валютой, произошла отмена фиксированного курса лиры, отныне он определялся балансом спроса и предложения. Предполагалось ограничить расходы бюджета, но это не удалось, что привело к росту инфляции. Одновременно уменьшились правительственные ссуды на развитие производства, субсидии на основные продукты питания, что повлекло за собой их резкое удорожание.

Все это не могло не отразиться на кибуцной экономике, формировавшейся в условиях наибольшего благоприятствования и государственной поддержки. Освобожденный от государственного регулирования рынок породил растущий диспаритет цен, тот самый диспаритет, который так убийственно отражается на российской аграрной экономике, когда цены на горючее, удобрения, технику растут куда быстрее, чем на сельхозпродукты. В Израиле это явление привело к сокращению посевных площадей. Почти вдвое за десятилетие уменьшились хлопковые поля, значительно сократились цитрусовые плантации, дававшие традиционную продукцию палестинского экспорта. Израильским апельсинам и лимонам стало все труднее конкурировать с испанскими, алжирскими, марокканскими. Дошло до того, что в 1983 году пришлось уничтожить 150 тысяч тонн цитрусовых, не нашедших сбыта на мировых рынках. Все как в советских пропагандистских фильмах тридцатых годов, показывавших «ужасы» капитализма. Правда, и в этой ситуации израильские кибуцы и мошавы проявляли определенную хозяйственную гибкость. На смену цитрусовым как предмету экспорта приходили цветы. Продукция расширившихся цветочных оранжерей находила сбыт на рынках Европы.

Другим испытанием жизнеспособности кибуцев стал конец эпохи дешевых денег. Теперь ставки ссудного процента росли год от года, достигнув в середине восьмидесятых годов своего пика — 85 процентов годовых. В то же время росла и банковская задолженность кибуцев. Для того чтобы платить проценты по долгосрочным займам, они вынуждены были брать краткосрочные ссуды под высокие проценты. Долговая спираль раскручивалась. В конце концов, в середине восьмидесятых годов расходы по обслуживанию долгов превысили валовую прибыль кибуцев, часть которых оказалась на грани банкротства. Банки начали отказывать им в кредитовании. Казалось, близится финансовая катастрофа.

Спасение пришло, как и в прежние годы, от левого крыла сионистского движения. В конце 1988 года социалистический блок «Маарах» частично вернулся к власти, было создано правительство национального единства, в котором пост министра финансов занял старый мапаевец Шимон Перес. Он, собственно, и стал инициатором решения проблемы кибуцных долгов. Через год

после бурных дебатов было принято трехстороннее соглашение кибуцного движения, банков и правительства, в соответствии с которым один миллиард шекелей долгов был просто списан, а погашение 650 миллионов шекелей министерство финансов отложило на неопределенный срок. Более того, для продолжения хозяйственной деятельности кибуцы получили заем на 3,5 миллиарда шекелей сроком на 25 лет при 4,5 процента годовых ссудного процента.

Разматывая клубок российских ассоциаций, неизбежных при анализе истории кибуцного движения, я вспомнил, как в конце тех же восьмидесятых годов я присутствовал на сходе общины поволжского села Малячкино, в жизни которого в силу своих журналистских интересов принимал участие. Дело в том, что малячкинцы решили отделиться от совхоза, объединявшего десяток деревень, и создать свой сельский колхоз, что было для них естественнее и удобнее, чем входить в крупное хозяйственное формирование. Этот шаг тогда, на закате советской власти казался революционным именно вследствие своей самостоятельности. Как? Без соизволения властей, на свой страх и риск создавать новый колхоз?.. Такого еще не было. Но именно это самовольство и привлекало меня, и я поддерживал общину через свою довольно влиятельную тогда в России газету.

Сход обсуждал возможности инвестиций в хозяйство. У общины нашелся сильный покровитель — нефтеперерабатывающий завод, который готов был провести полное социальное и экономическое переустройство села при условии, что колхоз станет подсобным хозяйством предприятия.

— Так как нам быть? — спрашивал недавно избранный председатель. — Самим поднимать хозяйство или стать аграрным цехом, подразделением завода?

В зале наступила тишина.

— Может все-таки самим? — раздался голос. — Набрать кредитов побольше, а там посмотрим. Может, и спишут их нам. Раньше-то списывали.

— Теперь не спишут, — отозвался другой крестьянин. — Ты газеты-то почитай.

Он оказался прав — этот сельский читатель газет. После многих десятилетий, когда власть, отняв у колхозов право самостоятельного хозяйствования, сама решала, кому бедствовать, а кому богатеть, и по своему усмотрению списывала кредиты, освобождая колхозы от долгов, которые они все равно не могли выплатить, после десятилетий этого административно-партийного террора власть, став уже новой и во всяком случае некоммунистической, вернула селу экономическую свободу, предоставив колхозам право умирать в тисках финансовых обязательств.

И я, разъезжая по российской глубинке уже в девяностые годы, сколько ж видел сел, где колхозы исчезали, прекращали свое существование, не имея возможности расплатиться с банками и отдав все свое общественное имущество — скот, технику, производственные сооружения — на распродажу в счет долга, сколько крестьянских дворов, хозяева которых после исчезновения колхоза жили только за счет личного подсобного хозяйства.

Вернувшись в Израиль, скажем, что бросив спасательный круг кибуцному движению, государство вместе с тем преподало ему жестокий и внятный урок: надо жить по средствам, уметь хозяйствовать в условиях рынка, отвечать за долги, рассчитывать на себя, а не на политическую власть. И урок пошел впрок.

Можно даже сказать, что рынок преподал урок кибуцу, который, усвоив

его, вынужден был отказываться от базовых ценностей коммунистической идеологии.

Весной 2010 года в Израиле отмечалось столетие киббуцного движения, начало которого исчисляется от создания в 1910 году первой коммуны «Дгания». По такому случаю в поселении состоялось торжественное собрание, на котором, как и положено на подобных юбилеях, подводились итоги, приводились цифры. Сейчас в стране насчитывается 273 киббуца, в которых живет 126 тысяч человек. Они производят (данные 2006 года) треть всей сельхозпродукции страны в стоимостном выражении — около половины мяса и молока, треть зерновых культур и овощей. Все остальное приходится на долю мошавов и фермерских хозяйств.

Лидирующее положение киббуцев, как по объему продукции, так и по уровню технологии, несомненно. Но одним только халуцианским идеализмом, свойственным первопроходцам этого движения, объяснить поразительные успехи аграрного производства в стране трудно. Скорее в основе сельскохозяйственного чуда Израиля лежит другой фактор — сосредоточенность на такой малой территории (весь Израиль меньше Тульской области) населения с высоким интеллектуальным потенциалом. Реализация этого потенциала позволила развить как высокие технологии, которыми славится страна, так и индустриальное сельское хозяйство, ориентированное на экспорт.

Возвращение на землю Израиля и освоение этой земли, которое сначала происходило по канонам жизни, предписанным отцами-основателями сионизма, проповедниками аграрного социализма, все больше оказывалось под воздействием рынка. Киббуцы теряли свой аскетический коммунальный запал, превращались в агропромышленные объединения, пользующиеся наемным трудом. Земля давала лишь десятую часть поступлений в их бюджет. Но высокая производительность работы на этой земле, освоение инновационных технологий позволяют развивать аграрное производство и гибко реагировать на запросы мирового рынка.

Уже поселенцы начала прошлого века вынуждены были отвечать на вызовы суровой палестинской природы — жаркого климата, заброшенных горных террас, безводья, — мелиорируя земли, отвоевывая поля у болот, прокладывая каналы. Почти половина территории нынешнего Израиля — засушливая пустыня, а на другой половине — горы, холмы и леса.

И, стало быть, приходилось обращать тяготы этой природы, этого климата в достоинства — выводить сорта помидоров, орошаемых соленой водой, выращивать экологически чистую клубнику, поднимая ее на метровую высоту, получать под специальными сетками столь ранний виноград, что он при попадании на зарубежный рынок не имеет конкурентов. А хлопок, который поливается канализационной водой, прошедшей несколько степеней очистки, хлопок, собираемый без участия человеческих рук, хлопок — коричневый или зеленый — в расчете на причудливый вкус зарубежного потребителя, экзотические черные арбузы, красные бананы, кабачки в форме блюда. За всем этим — высокий уровень развития биотехнологии и других отраслей науки, работающих на аграрный процесс.

Стал ли Израиль аграрной страной? Пожалуй, что нет. Но урок истории состоит в том, что люди вернулись на эту землю, живут и работают на ней, используя каждый плодородный ее клочок, проникая в пустыню, которая становится резервуаром грядущего расширения и освоения территорий.

Лиана Алавердова

Ехали-ехали и куда же мы приехали?

Социалистические Штаты Америки глазами эмигрантки

Написала подзаголовок и испугалась: не сгущаю ли краски?

Неожиданно вспомнился Хрущев. В своей книге воспоминаний Ричард Никсон писал: «Тридцать два года назад в Москве Хрущев высокомерно предсказал мне: “Ваши внуки будут жить при коммунизме”. Я ответил: “Ваши внуки будут жить на свободе”. В то время я был уверен, что он неправ, но не был уверен в своей правоте. В результате новой советской революции было доказано, что я был прав. Внуки Хрущева теперь живут на свободе». Комментарии излишни? Или?..

«Что плохого в социализме?» — спросила меня как-то моя коллега по работе, американская библиотекарша. Я набрала в легкие воздуха и... промолчала. Недаром у англичан, да и у американцев, самое безопасное и надежное — разговор о погоде. О политике говорить не рекомендуется, о религии ни-ни, чтобы не оскорбить ненароком чьи-то чувства, а о сексуальной ориентации вообще — боже упаси! Для моей сотрудницы, которая, спустя некоторое время, объявила мне ничтоже сумняшеся, что она вообще-то социалистка, вопрос был вполне риторическим. Она искренне убеждена, что плохого в социализме ничего нет, только хорошее. Эта же коллега сочувствовала участникам движения «Оккупируй Уолл-Стрит», захлестнувшего Нью-Йорк в 2012 году. Тогда разношерстная толпа, часть которой принадлежала к среднему и даже состоятельному классу, к белой образованной элите, и которая была изрядно разбавлена молодыми бездельниками, наркоманами, хулиганами и безработными, разбила палаточные стойбища в центре Манхэттена. Протестующие возмущались тем, что финансовые круги недостаточно пострадали от недавнего финансового кризиса и тяжесть пришлось на средний класс и бедные слои населения. Между тем большинство пожертвований в фонд этого мероприятия поступило

Лиана Алавердова родилась в Баку, закончила исторический факультет АзГУ. Работала в Институте философии и права Академии наук Азербайджана. С 1993 года живет в Бруклине, работает в Бруклинской публичной библиотеке. Автор поэтических сборников, эссе, статей, переводов с английского и азербайджанского языков, которые неоднократно публиковались в журналах, газетах и альманахах в Азербайджане, России и Соединенных Штатах.

от верхушки среднего класса. Никакой внятной программы у них не было, так что движение, просуществовав год, сошло на нет. «Мы — 99%!» — гласил один из лозунгов «оккупантов», имелось в виду, что они солидарны с 99% американцев, но не с 1% самых богатых людей страны. В то время как владельцы близлежащих кафе и жители окрестных домов, которым не повезло оказаться в эпицентре событий, жаловались на загаженность своего жизненного пространства (шум, грязь, теснота), прекраснодушная американская интеллигенция сочувствовала охламонам, а не стражам порядка. Борьба за равенство! Egalite! О, чудный лозунг Французской революции, во имя которого летели головы и лилась кровь с эшафота! Да что там Французская революция, когда во имя этого лозунга — и Ленин, и Хо Ши Мин, и Че Гевара, и океаны крови пролиты, а идеал по-прежнему недостижим... Более того, он переключался из относительно реальной сферы в потусторонние дали. Пока худо-бедно существовал Советский Союз и страны социалистической системы под его слабеющим протекторатом, у западной интеллигенции было раздвоенное отношение к этому реальному феномену: ей мучительно не хотелось верить в ужасы реальных репрессий и человеческих страданий, стоявших за благородной вывеской высоких целей, но ориентация на гуманистические идеалы все же заставляла признать самим себе в очевидном несоответствии показной безобидности (для внешних и внутренних оппонентов) вышеназванных режимов и их истинной сути. Сейчас же, после распада социалистического блока, островки Кубы и Северной Кореи являют собой поистине жалкое зрелище, а монструозный Китай, гибрид социализма и капитализма, непонятен, и будущее его темно.

Многим в Америке, особенно молодежи, на ее счастье не выдавшей радостей социализма, борьба за социальные блага и справедливое распределение и перераспределение кажется благородной и нужной. По опросу общественного мнения Расмуссена, проведенному в апреле 2009 года, только 53% американской публики верит, что капитализм лучше, чем социализм, 20% считают наоборот, а 27% не определились со своим мнением. Что касается молодежи до 30 лет, то 37% стоят за капитализм, 33% за социализм и 30% не определились с мнением. Такие молодомысленные настроения не случайны. Помню, как-то в верхнем Манхэттене в районе Колумбийского университета ко мне подступили молодые люди, распространявшие брошюры с социалистической пропагандой. Так я (чур меня!) отшатнулась от них, как от бесовщины. Но не таковы молодые американцы, которым, калькируя здешнее выражение, «промыывают мозги» сызмальства. Со школьной скамьи они усваивают комплекс вины белого человека и слышат о том зле, который несут миру американские корпорации и американский пресловутый военно-промышленный комплекс. Оказывается, советская пропаганда весьма живуча и пережила реинкарнацию в самой сердцевине Америки, под носом у простодушного дяди Сэма. Администрация многих вузов, получающих федеральную помощь, не допускает представителей министерства обороны рекрутировать молодых людей в армию, то есть приглашать добровольцев. Да что там безымянный молодняк! С тезисом о зле американских корпораций недавно выступила предомной младшая дочь, только начавшая свой путь обучения в американской высшей школе. Более того, она была очень удивлена тем, что я смею возражать против этой аксиомы! То ли еще будет, когда она станет магистром, а то и доктором наук, как грозит! Что бы делали она и ее друзья, которые жизни не представляют себе без своих компьютеров, мобиль-

ников и других современных игрушек, ставших доступными благодаря частной инициативе и пресловутой капиталистической погоне за наживой?

Другая дочь, приступая к учебе на социального работника в Нью-Йоркском университете, услышала на ориентации для новичков: «Кто за социальную справедливость?» Большинство рук взметнулось вверх. «Кто не поднял руки, идите в школу бизнеса. Вам не место здесь», — провозгласил оратор. По свидетельству одного профессора из университета Среднего Запада, дававшего интервью журналисту и пожелавшего остаться неизвестным по вполне понятным причинам, безотносительно к предмету изучения, «студентов учат одному и тому же снова и снова: радикальной критике социальной структуры Америки, осуждению капитализма, антихристианской пропаганде и превосходству коллективизма над индивидуализмом» (Jack Kenny «Higher Education: Brainwashing 101», July 24, 2013 www.thenewamerican.com). По результатам опроса двадцати четырех тысяч студентов, который провела Ассоциация американских колледжей и университетов, было обнаружено, что только 30% выпускников колледжей были полностью согласны с утверждением «Безопасно иметь непопулярные взгляды на территории университета». Более того, только 16,7% преподавателей согласились с этим утверждением. Как видим, пришел конец интеллектуальной свободе в американской высшей школе, увы. Левая идеология не уступает правой в воинственности и нетерпимости.

Идея справедливого распределения мила сердцам и миллионам легальных и нелегальных эмигрантов, включая многих наших бывших соотечественников. О, как они обожают то, что можно обозначить сладко-тошнотворным словом «халява»! Как говорит популярный радиоведущий Davidson Radio Вадим Ярмолинец, не успевает государство объявить о том, что раздает нечто бесплатно, будь то помощь жертвам урагана, возврат денег с налоговых поступлений или еще что-либо, как тут же протягиваются руки со всех сторон: «Мне! Мне! Мне!» И чем больше западные страны наводняются пришельцами из третьего мира, тем громче будут голоса миллионов, зависящих от государственной поддержки. США не является исключением.

Колумб думал, что приплыл в Индию. Мы летели в США, а прилетели? Мы попали в многоцветье: расовое, национальное, лингвистическое, культурное, во все возрастающей степени наполненное выходцами из стран третьего мира, не говоря уже о втором (то есть, из бывших социалистических стран). Они не имеют «прививки» от социализма и к лозунгу Обамы «spread the wealth», что по сути является призывом разделить богатство, относятся благосклонно. Все эти пришельцы верят в государство больше, чем в самих себя, и американский индивидуализм, благодаря которому эта страна вымахала в супердержаву, слабеет, хиреет и теряет почву под ногами. Пресловутая «американская мечта» не умерла, но съежилась и отдалилась. Некогда она состояла в том, чтобы собственными силами выстроить свой дом, семью, свой бизнес, добиться успеха и т.д. и т.п. — кому что подсказывало богатство фантазии. Однако этой мечте (в основании которой лежит семейный диккенсовский идеал, не так ли?) наступает на пятки любовь к халяве при отсутствии каких бы то ни было амбиций. Как пародия на «американскую мечту» — шаровой ее вариант у многих иммигрантов, состоящий из сменяющих друг друга видов социальных пособий в зависимости от возраста и трудоспособности.

Обложить большими налогами богачей — и страна решит свои финансовые

проблемы? Именно к этому призывает нынешний президент-популист. Если бы все решалось так просто! В реальности даже если содрать с миллионеров и миллиардеров три шкуры — все равно нельзя погасить огромный растущий американский долг. Бюджетный дефицит США составляет 900 миллиардов, и государственный долг в декабре 2012 года впервые превысил валовой национальный продукт. Как ни богата Америка, но и ее фондов не хватает, чтобы утолить растущие аппетиты масс. И вот уже богатая Калифорния со своими знаменитыми на весь мир Голливудом и Силиконовой долиной, становится штатом-банкротом. Почему? А потому, что даже этот богатый штат не может справиться с девятым валом эмигрантов, в основном из Мексики, которые тут же становятся налоговым бременем, претендуя на бесплатную медицину, образование для детей вплоть до окончания средней школы и массу других льгот. Все меньше людей платит налоги и все больше людей эти налоги проедают. Поколение бейби-бумеров (те, кто родились в США с 1945 до 1959 года, когда солдаты вернулись с войны и стали обзаводиться большими семьями) стареет и выходит на пенсию, а у их детей семьи поменьше и трудностей побольше. Зато постоянный приток свежей рабочей силы осуществляется за счет эмигрантов.

Между тем, эмиграция для США — это благо, напоминающее троянского коня. Никогда в истории на Америку не накатывала приливная волна иммиграции подобной силы: 40,4 миллионов иммигрантов, включая 11,1 нелегальных, проживает в США в настоящее время. Для сравнения — в 1990 г. их было около 20 миллионов. Сегодняшнее количество эмигрантов в США превышает число всех эмигрантов, попавших на нынешнюю территорию страны со времен Колумба. Что касается России, то она стабильно продолжает поставлять в США эмигрантов: с 1986-го по 2012 год новоприбывших насчитывалось 476 306 человек, а если мы к ним прибавим 306 203 новичков с Украины и добавим другие республики бывшего СССР, то получим миллион русскоговорящих эмигрантов, прибывших в Америку относительно недавно. Но и эта цифра покажется каплей в иммиграционном море, где превалирует Мексика, давно уже уяснившая для себя преимущества перекачивания рабочей силы в США и выкачивания денег оттуда же. Такую разнородную массу никакой стране невозможно было бы переварить, не испортив желудка. Современные политические и интеллектуальные элиты США, давно сменившие концепцию «плавильного котла» на плюралистическую «мозаику», перед собой такой задачи даже и не ставят.

Без сомнения, многие эмигранты тяжело работают, но в еще большей степени происходит перекачивание денег из государственных и городских фондов в поддержку эмигрантов и их семей. Все это считается в порядке вещей и государственной идеологией не ставится под сомнение. Выскажи другое мнение — воспоследуют обвинения в расизме и ксенофобии, то есть ты будешь предан анафеме.

Может ли страна справиться со своими проблемами без эмигрантов? Такой эксперимент немисливо поставить в современных условиях. Эмигранты же в большинстве своем нуждаются во всех видах бесплатных услуг и помощи от государства. По подсчетам Heritage Foundation, в среднем семья нелегальных эмигрантов потребляет на 14 с половиной тысяч долларов в год больше, чем вносит налогами, а содержание нелегальных эмигрантов в целом обходится стране в 54 миллиарда долларов в год. Предложенная иммиграционная реформа

дела не поправит, так как она только увеличит стоимость содержания семей иммигрантов в недалеком будущем, когда они смогут воспользоваться всем спектром правительственной помощи.

Любопытна в этом отношении психология наших иммигрантов. С одной стороны, всеми фибрами души и прошлого опыта они за халяву, следуя затверженной сызмальства логике (не от хорошей жизни, само собой): дают — бери! С другой стороны — будучи обогащены опытом жизни при социализме, они скептически настроены по отношению к государственной машине и либеральной пропаганде. То есть, ближайшие экономические интересы склоняют их в сторону демократов, а политические симпатии больше — к республиканцам, например, они в большинстве своем стоят за смертную казнь. Исключением является право на аборт. Наши эмигранты — решительные сторонники этого права, в отличие от большинства религиозно настроенных американцев, будь то протестанты или католики. Не нравятся им также идеи Affirmative Action, системы, берущей свое начало со времен правления президентов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Призванная смягчить экономическое неравенство, эта система склонила чашу весов в другую сторону, при приеме на работу и поступлении в престижные учебные заведения отдавая предпочтение представителям расовых меньшинств, главным образом афроамериканцам (которых только так и дозволено называть, а никак не иначе!). Позднее к системе особых льгот и преимуществ присоединились американские индейцы и латиноамериканцы. Против подобного подхода возражают многие на том простом основании, что справедливость должна подразумевать отсутствие дискриминации, а не систему квот и поправок. В идеале обществу следует быть colour blind, то есть «слепым к цвету».

Мы выросли под сенью советской идеологии с ее идеями социалистического интернационализма. Дети советских эмигрантов росли в США под сенью идеологии мультикультурализма и священных прав меньшинств. Не поймите меня неправильно: я за права всех без исключения, в том числе всяческих меньшинств: расовых, сексуальных — каких угодно. Но я за *равные* права, а не за предоставление преимуществ по причине цвета кожи или половой принадлежности.

В Советском Союзе было правилом назначать в союзных республиках на ответственные должности представителей коренной национальности. В США стараются компенсировать историческую несправедливость по отношению к женщинам и расовым меньшинствам. То и дело раздаются голоса: «Почему мало афроамериканцев среди начальников пожарной охраны? Почему мало женщин на руководящих должностях?» А то, что профессия пожарного не является среди чернокожих столь же притягательной, какой она издавна была у ирландцев и итальянцев, и что далеко не все женщины стремятся к карьерному росту, — это мелочи, не стоит обращать внимания! Главное — чтобы статистика была в ажуре. Между прочим, не успели афроамериканцы добиться равных прав, как тут же стали требовать преимуществ и льгот при устройстве на работу, приеме в университеты и пр. Страна же всегда проповедовала принцип meritocracy, то есть чтобы человек получал продвижение по службе только исходя из его персональных качеств и заслуг, а не потому, что у нас мало женщин или расовых меньшинств в руководстве — давайте, мол, «разбавим» его немного! Дошло уже до того, что интересы общественной безопасности оказались под угрозой, когда

правозащитники стали судиться с полицией Нью-Йорка по поводу практики «Останови и обыщи» на том основании, что полицейские почему-то больше всего останавливают на улицах не белых старушек, а молодых афроамериканцев или мексиканцев. А то, что они составляют основной контингент тюрем — это мелочь, статистика. Главное, чтобы, не дай тебе Боже, не были задеты тонкие чувства меньшинств и их общин! Поэтому Голливуд кормит нас фильмами, где представляется идеальная картина мира: чернокожие начальники, непременно изображенные в положительном свете, поучают неразумных белых подчиненных, и даже библейский Самсон — тоже чернокожий (почему бы и нет?), американские индейцы, в противоположность белым безжалостным пришельцам, представляются исключительно мудрыми друзьями природы, заботящимися об экологическом равновесии, а женщины побивают храбростью и сметливостью мужчин — в общем, мир творится по законам вывернутых наизнанку стереотипов, которые постепенно станут принимать за единственную реальность. Что там говорил Геббельс по поводу пропаганды? То-то и оно...

Советская идеология провозглашала гегемоном рабочий класс и зачастую создавала рабочий статус наибольшего благоприятствования (в учебе, получении квартир и т.д.), а в США расовые и религиозные меньшинства не просто пользуются защитой, что было бы вполне оправданно, но являются эдакими «любимцами» элит. Когда идеология подминает под себя здравый смысл, туго приходится всем.

Между тем, согласно недавним результатам опроса общественного мнения Pew Research Center, 75% испаноязычных американцев придерживаются мнения, что большое правительство предпочтительнее, чем малое, причем у новоприбывших иммигрантов эта цифра достигает 81%, и только у испаноязычных иммигрантов третьего поколения она опускается до 58%. По контрасту, в целом 41% американцев стоит за большое правительство. Что касается афроамериканцев, то они в целом возлагают больше надежд на правительство, чем белые американцы. Согласно опросу этого же центра, только двое из десяти белых американцев верят, что правительство в Вашингтоне поступает правильно либо всегда, либо по большей части. Среди чернокожих это соотношение — четверо к десяти.

По категоричному мнению Рональда Рейгана, «правительство — это не решение нашей проблемы. Правительство и есть эта проблема». Первоначальной причиной финансового кризиса 2008 года, вызванного кризисом рынка недвижимости США, было правительственное вмешательство в экономику, когда правительство стало давить на банки, чтобы они давали нестандартные ссуды на жилье как можно более широкому числу людей (включая тех, кто не мог их обеспечить) в наиболее бедных районах с высоким уровнем задолженности по ссудам. Из желания якобы народного блага и быстрого воплощения «американской мечты» возникла огромная финансовая проблема, а две субсидировавшиеся правительством компании недвижимости — Фанни Мэ и Фредди Мак — чуть было не провалились в тартарары. Но правительство их спасло от банкротства, и они еще больше выросли, что в конечном счете ни к чему хорошему привести не могло.

Сама концепция спасения больших компаний от провала, по мнению многих экономистов, неверна, так как дает большим компаниям несправедливое преимущество вместо того, чтобы дать им пройти через нормальный процесс

банкротства и реструктуризации. Во время избирательной кампании популярным лозунгом Обамы был: «Осама бен Ладен мертв, а компания “Дженерал Моторс” жива!» Обама ставил себе в заслугу то, что спас «Дженерал Моторс» от банкротства, дав государству выкупить большую часть акций, но так ли уж нужно было это «спасение»?

Недавно я познакомилась с книгой известного консервативного комментатора Джона Стосселя «Нет, они не могут. Почему правительство все проваливает, а частные лица преуспевают»¹. Шаг за шагом на многочисленных примерах упорный Стоссель развенчивает миф о благотворной роли правительственного вмешательства во все дела. Жизнь учит, возражает Д. Стоссель, что никто не знает достаточно для того, чтобы планировать общество.

«Чем больше власти мы даем правительству контролировать бизнесы, тем больше бизнесов ищут возможности контролировать правительство. Вместо увлеченности изобретением лучших продуктов, они увлечены тем, чтобы устроить теплые отношения с политиками и законодателями». Вместо того, чтобы «исправить» американскую экономику, президент Обама снизил уровень экономической свободы, и США впервые в истории в 2012 году оказались на десятом месте в мире. Почему? Когда правительство субсидирует компании, приобретает долю в них, когда оно облагает высоким налогом корпорации (в США налог на корпорации самый высокий в мире), ни к чему хорошему это не ведет. В Гонконге автор смог начать свой бизнес за один день, в штате Делавер на это ушла неделя, в Европе — месяцы.

В октябре 2013 года, когда демократы не могли договориться с республиканцами о бюджете — нижняя палата конгресса не одобряла бюджет, предложенный правительством, — Белый дом демонстративно объявил о приостановке работы ряда государственных ведомств. Мы в это время собирались путешествовать по американскому Западу и пребывали в неопределенности: сбудется ли моя мечта, увижу ли я Большой каньон и Йосемитский заповедник? Нам повезло, заповедник открыли буквально за один-два дня до нашей поездки. Но многие туристы пострадали. Пострадали также ветераны, которые не могли пройти на закрывшееся кладбище, где захоронены их товарищи. Правительство намеренно давило на больные точки публики, чтобы та винила упрямых республиканцев в перебоях работы государственных служб. В конце концов те дрогнули... и бюджет был утвержден, несмотря на нерешенную проблему сокращения долга.

Идеи коллективизма так же стары для Америки, как сама Америка. Плимутская колония сектантов-пилигримов целых три года, с 1620 до 1623 года просуществовала на этих принципах и... прогорела. По иронии судьбы, именно инвесторы, которые вложили деньги в нее, боялись, что погоня за частной выгодой приведет к их разорению, и настаивали на этом эксперименте. Уильяму Брэдфорду, руководителю колонии, понадобилось три года, чтобы убедиться в провале эксперимента. Он раздал земли в частные руки — и дело закипело!

Следует пояснить, впрочем, что когда американцы говорят о социализме, они не имеют в виду бывшие страны советского блока или Северную Корею. Их они называют «коммунистическими странами». Полная благих намерений американская интеллигенция видит лишь желанный пример социал-демократи-

¹ No, They Can't. Why Government Fails — But Individuals Succeed. Threshold Editions. New York, 2012.

чешских стран Европы вроде Дании и Швеции. Она думает о государственной медицине в Канаде или Германии. Как там хорошо, боже мой! А то, что врачу в Германии надо принять 70 пациентов в день — это мелочь, так же, как мелочь и то, что в Канаде с ее государственной медициной надо ждать операции гораздо дольше, чем в Америке, поэтому многие канадцы приезжают лечиться в США. Медицина там, хоть и стоит на высоком уровне, но отпускается по рации. Скандинавские страны и близко не тратят столько на оборону, сколько США. Поэтому они могут себе позволить такую щедрую «социалку». Но это все мелочи в глазах просвещенной американской интеллигенции. Она давно очарована социализмом (хороший Че Гевара, плохой Кастро, мир читаем, войну пропускаем!), революциями и борьбой за социальную справедливость. Не случайно новая постановка «Отверженных» стала в Америке таким хитом: в фильме воплощается дух борьбы за социальную справедливость, и на церемонии вручения того «Оскара» очень впечатляюще выглядели главные звезды кинофильма, поющие песнь французских баррикад.

Сознание американской элиты раздвоено. Оно и знает, и не хочет знать правду о социализме. Мне запал в память эпизод, который приводила Александра Толстая, дочь Льва Николаевича, в своих воспоминаниях. А. Толстая, убежавшая из коммунистической России через Японию в США, писала о своей встрече с Элеонорой Рузвельт, женой Франклина Делано Рузвельта, тогдашнего президента США. Как ни пыталась Александра Львовна рассказать своей собеседнице о том, что творилось в СССР (о репрессиях, преследованиях и собственном горьком опыте), ее собеседница просто игнорировала сказанное и переводила разговор на другую тему. Та самая Элеонора Рузвельт, на которую буквально молятся американские левые как на воплощение благородства. Но кто пишет учебники сегодня? Левые интеллектуалы, которыми заполнены учебные и научные заведения США. Именно поэтому супруг Элеоноры Рузвельт, президент США, сегодня рисуется как воплощение мудрости и прозорливости, особенно за то, что при нем страна вышла из Великой депрессии, а Ричард Никсон изображается преимущественно в негативном свете уотергейтского скандала. Одни утверждают, что Франклин Рузвельт спас страну от голода, другие (не такие популярные, разумеется) — что методы, какие он использовал, ограндиозив роль государства, были не самыми лучшими. В Америке, безусловно, нет единой государственной идеологии, поскольку тут как минимум две партии, но своя идеологическая «мода», включающая определенные табу и идолы, есть.

Так уж вышло, что наши люди идентифицируют социализм лучше, чем американцы. У наших — историческая память, вьевшаяся в кости! Хочу оговориться, что в основном речь идет о людях среднего и преклонного возраста, тех, кто приехал сюда после сорока, чья психология была сформирована в Советском Союзе. Но, неся на себе родимые пятна советскости, наша община, тем не менее, неоднородна. «Я вам не скажу за всю Одессу», оставляя молодежь за скобками данной статьи, но даже и без нее наблюдается разница в политических симпатиях и предпочтениях. Так оно, собственно, и должно быть...

Вот Обаме долго аплодируют члены Конгресса, а у меня тут же угодливо просыпается воспоминание о докладах наших генеральных секретарей. «Это мы уже проходили», — говорит мне внутренний голос.

Эффективность работы городских учреждений и частных компаний — это,

как говорится, две большие разницы. Если хотите поменьше стресса, гарантированные прибавки за стаж и работать от звонка до звонка, — идите в городское или федеральное учреждение. Туда, кстати, многие эмигранты и устремляются, включая наших; на эти работы, руководствуясь системой Affirmative Action, охотно принимают представителей расовых меньшинств. Сотрудник городского учреждения обсуждает своего начальника-бездельника (за глаза, конечно)? Что он, с ума сошел? Начальник его — плоть от плоти родного советского бюрократа, который не торопился принимать решения и брать на себя ответственность, а откладывал его изо всех сил: авось рассосется! К тому же у начальника есть надежная броня — он член профсоюза, и родственник его работает на самом верху. Прямо прелесть, до чего все узнаваемо! В частной компании, которая будет нести убытки, вряд ли кто-то будет держать своего нерадивого родственника, по чьей вине эти убытки происходят. А в городском учреждении — сойдет. Стаж работы, прежние заслуги и надежные связи сыграют свою роль. На том и стоим.

Городские библиотеки экономят на карандашах и бумаге и в то же время нанимают административный вспомогательный аппарат, который растет, как на дрожжах. Каждый из этих чиновников зарабатывает в три раза больше, чем уборщик, но там, наверху, нуждаются в подмоге, а то, что уборщиков и охранников не хватает — для них дело не столь важное. Главный закон бюрократии при любом строе гласит: основная цель — сохранение и воспроизводство, желательно расширенное. Прямо чистая биология! Второй закон бюрократии: за неудачные реформы несут ответственность только неугодные начальству чиновники. Третий: сопротивляться переменам нельзя, это сродни нашему «плевать против ветра». Нужно принимать все перемены с бодрым лицом и идти вперед. Четвертый: как можно меньше решений принимать самостоятельно, как можно больше решений отправлять вверх по инстанциям. Короче говоря, «не высываться». Я могла бы множить эти законы, сиречь нехитрые житейские правила, но все это до боли узнаваемо и потому малоинтересно.

О номенклатуре, господствующем классе Советского Союза, писал Михаил Восленский, который в свою очередь опирался на работу Милована Джиласа, югославского историка, утверждавшего, что основой реального социализма является существование нового правящего класса — номенклатуры. М. Восленский показал в своей книге «Номенклатура», что государство при социализме лишь выполняет волю господствующего класса чиновников, или номенклатуры, то есть является его аппаратом. Номенклатура не просто правящий, она — эксплуататорский класс, присваивающий себе дополнительные блага, произведенные трудящимися. Она стремится сохранить существующий режим, то есть свою власть, всеми пропагандистскими и даже силовыми методами и по натуре своей стремится к экспансии. (М. Восленский говорил тридцать лет назад о распространении идей и практики социализма, мы же можем говорить о том, что современная бюрократия стремится расширять свои ряды для усиления собственной власти и повышать личное благосостояние путем государственного субсидирования, увеличения фондов, зарплат и пенсий (законно) и взяточничества (незаконно)).

Как совершенно точно отметил Восленский, главное для номенклатуры — не собственность, а власть. Хотя и в отношении зарплаты американские бюрократы о себе не забывают. Зарплаты госслужащих, с учетом многочислен-

ных привилегий, вполне могут соперничать с зарплатами в частном секторе. Средняя заработная плата в Вашингтоне, округ Колумбия, то есть там, где сосредоточена государственная элита, — \$73 000. Американская публика возмущена, что конгресс ежегодно повышает себе зарплату с учетом инфляции и ныне (на момент написания статьи) она составляет \$174 000 в год — это в 3,4 раза больше, чем средняя зарплата по стране.

Конечно же, как любая бюрократия, правительственные структуры не выдают своих секретов и покрывают собственные ошибки. Взять хотя бы череду скандалов в обамовской администрации. Как ни доискивается конгресс правды, узнать ее практически невозможно. Кто виноват в том, что оказалось незащищенным американское посольство в Ливии и в результате погибли американский посол и еще несколько человек? Кто виноват в том, что сотрудники налоговой службы чинили препятствия при регистрации консервативных общественных организаций? Кто виноват в том, что велось прослушивание телефонных переговоров, выродившееся в слежку за гражданами, включая деятелей СМИ, которое может осуществляться только с санкции суда? Если под предлогом борьбы с террором государство вторгается в частную жизнь — это скользкая тропа, по которой мы уже ходили: в Советском Союзе органы правопорядка тоже на словах защищали нас от врагов народа, а на деле подавляли инакомыслие. Еще одним скандалом, сильно уронившим обамовский рейтинг, явился провал его реформы здравоохранения, в результате которой миллионы американцев, имевших индивидуально приобретенные страховки, их потеряли несмотря на данное Обамой обещание: если вам нравится ваша прежняя страховка, то вы, мол, сможете ее сохранить.

Правительство, созданное в идеале для того, чтобы защищать жизнь, свободу и собственность граждан, вмешивается абсолютно во все сферы жизни и растет, растет, растет, причем любой кризис используется для усиления власти и контроля. Когда-то все функции социальной помощи лежали на религиозных институтах и благотворительности. В XX веке многие из них взяло на себя государство. Президент Линдон Джонсон объявил войну бедности в 1964 г. Но (странное дело!) процент бедняков не уменьшился, хотя были затрачены триллионы долларов. При этом растут аппетиты и потребности населения, все более и более зависящего от государства, растут государственный сектор и федеральный бюджет, растут зарплаты госслужащих, то есть возникает пузырь, который не может раздуться до бесконечности и когда-нибудь лопнет. Сенатор из Южной Каролины Джим Де Минт заявил, что Соединенные Штаты сползают к социализму. «Мы дошли до того в Америке, что около половины населения получает помощь от правительства, а другая половина за это платит». Традиционные американские ценности — индивидуальная ответственность, умение человека опираться на самого себя, а не ждать помощи от кого бы то ни было, предприимчивость и дух соревновательности — были основой роста и процветания страны. Америка, стоящая с протянутой рукой перед правительственной кормушкой, — это бедствие и начало упадка.

Томас Джефферсон сказал: «Правительство, достаточно большое, чтобы дать вам все, что вы захотите, велико настолько, чтобы отобрать у вас все, что вы имеете». Эти пророческие слова широко известны в Америке. Страны западной демократии, включая США, все острее ощущают, что скатерть-самобранка общественных благ имеет свои пределы...

Вообще, если гипотетически представить себе, что Америка разделится на две части, где одной половиной будут заправлять демократы, а другой республиканцы, то получится очень интересная картина. Вначале, привлеченная поблажками, большая часть населения (47%, как неосторожно проговорился Митт Ромни во время предвыборной кампании, за что на него средства массовой информации спустили всех собак) ринется на демократическую половину, но так как условия для бизнеса там будут не столь благоприятны, то эта половина вскоре разорится, и тогда произойдет отток населения в республиканскую часть. Нечто вроде Восточной и Западной Германии, но без Берлинской стены, а как два сообщающихся сосуда. Но это, конечно, всего лишь полет фантазии...

Америка дрейфует как огромный океанский лайнер, и мощные течения идеологических влияний относят ее в сторону идеалов, которые не были приоритетными для нее изначально и противопоказаны для ее процветания в настоящем и будущем. Американская образованная элита вкупе с представителями международных корпораций то подражает «старушке Европе», которую США приходилось вырывать из двух мировых войн, не говоря уже о других кризисах, то возлагает нереальные надежды на Организацию Объединенных Наций, в подавляющем большинстве состоящую из государств с авторитарными режимами. Большинству наших эмигрантов чужды эти настроения и эти иллюзии, но наша эмиграция в количественном отношении не так репрезентативна, и влияние ее на американскую политику ничтожно.

Не буду отрицать очевидного: социалистические идеалы обладали, обладают и будут обладать огромной притягательной силой для великого множества людей. Но при всем благородстве намерений, как мы знаем, они просто не работают как система, вернее, попытки претворить эти идеалы в жизнь ведут к возникновению авторитарной власти, фактически владеющей всем тем, что на словах объявляется государственным и общенародным.

Понятие социализм имеет несколько аспектов, в том числе и вмешательство государства в развитие общества и экономику, это и позволяет мне предположить, что США как никогда близки к социалистической модели развития. Идеи равенства и справедливости прекрасны, если они воплощаются снизу, через народную инициативу, а не через диктат политических и культурных элит. Конечно, я не верю, что США превратится в ближайшее время в Советский Союз или Северную Корею. Но то, что растущее влияние и вмешательство государства во все поры общественной жизни вкупе с идеологическим прессом может склонить американское общество в сторону, неблагоприятную для частной инициативы, свободной мысли и предпринимательства, с моей точки зрения, бесспорно — и это уже происходит.

Возвращаясь к предсказанию Никиты Сергеевича. Похоже, социалистический вектор развития, напрогноченный им Америке, был указан правильно: логика чисел или чистая демография в конечном счете сделают свое дело. К 2050 году белые американцы окажутся в меньшинстве и, как ни противоречит мое утверждение азам политкорректности, все же скажу: тогда прощай, Америка, бастион капитализма! Здравствуйте, Социалистические Штаты Америки!

Евгений Абдуллаев

Семиградье

Семь поэтических сборников 2013 года

Кто читает сборники современных поэтов?

Не по службе и не по дружбе, а *mir zur Freude* — «себе на радость» (по Рильке)?

Недавно главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский обратился в своем ЖЖ с «вопросом к залу»:

«Назовите, пожалуйста, лучшую или одну из лучших новых поэтических книг 2013 года издания»¹.

«Зал» у Андрея Василевского большой. Читают его ЖЖ многие, одних френдов почти три тысячи.

Откликаются на вопрос — шестеро. Называются пять сборников: Цветкова, Горбовского, Дубина, Булатовского, Свищёва.

Один из ответов: «Я над всем, что сделано, / ставлю "nihil"».

Сборники, тем не менее, выходят.

Интересные, достойные внимания, разные. Только в издательствах, целенаправленно публикующих современных поэтов, за 2013-й их вышло с сотню.

Четырнадцать сборников — во «Времени». Одиннадцать — в «Водолее». Девять — в «Воймеге». Восемь — в поэтической серии «Русского Гулливера». Пять — в серии «Новая поэзия» «Нового литературного обозрения». Пять — в книжном проекте журнала «Воздух». Три — в «ОГИ».

За пределами Москвы ситуация поскучнее. Что-то выходит в Питере. Два сборника в «Пушкинском фонде». «Лениздат» выпустил восемь книг новой серии «Поэт» в обложках, несколько напоминающих фотообои. Подзаголовок («Лауреаты премии "Поэт"») позволяет надеяться, что серия, пока существует сама премия, ежегодно будет прирастать хотя бы одним сборником.

Целенаправленно издает современную русскую поэзию нью-йоркский «Айлурос». В основном, поэтов, живущих в США. Двенадцать сборников.

Наконец, в киевском «Лаурусе» стала выходить новая серия «Числа»: сборники русских и украинских поэтов, в названии сборника должна присутствовать цифра. Пока вышло четыре.

¹ См.: <http://avvas.livejournal.com/7283891.html#comments>. 11 ноября 2013 г.

Возможно, что-то пропустил. Не все издатели внятно сообщают — на сайтах, в социальных сетях — кого из современных поэтов издают. (Хотя эту, почти благотворительную, деятельность можно уже приравнять к помощи голодающим или к спасению больных детей.) Не все знакомые поэты при встрече дарят сборники. Некоторые почему-то даже не здороваются.

Перехожу к отобранным книгам. В этом году решил сгруппировать по географическому признаку. Семь книг поэтов из семи городов. Барселона, Копенгаген, Москва, Петербург, Ставрополь, Тула, Улан-Удэ. Город — сборник.

Тула. Важны детали

Алексей ДЬЯЧКОВ. Государыня рыбка: Стихи. — М.: Водолей, 2013. — 108 с. Тираж не указан.

Государыня-рыбка устала исполнять желания. Ушла на дно. Вымерла как вид. На обложке — ее отпечаток в камне.

Остался мир, в котором чудо уже невозможно. Никакое. Но ребенок — главный лирический герой стихов Дьячкова — об этом не знает. Или не хочет знать. И продолжает видеть под серой коркой этого мира *другой*. Яркий, неожиданный. Даже когда ему плохо (а может — как раз именно тогда).

Бежал от июльского ливня домой.
От волка под плед залезал с головой.
Мурлыкала бабушка баюшки.
Когда в детский сад меня хмурой зимой
Тащила — держала за палец пустой
Оранжевой вязаной варежки.

«Картина без рамки»

Предметы Дьячков выхватывает с зоркостью фотографа, представляет с обостренностью визионера и подает с виртуозностью живописца. И мастерством стихотворца, разумеется.

При общей со многими современными лириками пастернаковско-мандельштамовской родословной у Дьячкова чувствуется и влияние метаметафористов, Парщикова и Ерёмченко. В заостренной визуальности, парадоксальности отдельных образов.

«И овчарка сидит, освещённая солнцем, / И горит, как костёр, на морском берегу».

Или:

Как «Сулико» «Маяк» шипел,
и сосны наливались суриком.
Как робко куталась в шинель аэростата туша в сумерках.
Сиял в кувшине шар воды, сверкали радужные полосы.
И медлил сигаретный дым, в лучах расслаиваясь розовых.

«Взовьётся на ветру бельё...»

Суриковые сосны. Розовые лучи. Нечастое в современной поэзии разноцветье. И оно — почти в каждом стихотворении.

Наслаждение называть вещь не только по имени, но по цвету.

В густой листве горит кирпич простенка,
Плывёт над ржавой крышей алый дым.
Нет синей краски нужного оттенка,
И небо остаётся голубым.

«Август»

Не случайно единственный художник, упомянутый в книге — Ван Гог.
«Я выйду под ветви ван-гоговских звёзд / Во тьму золотую, как рыбка»
(«Поэт»).

Открытый цвет, пульсирующий пастозный мазок — все это чувствуется в стихах. При всей условности аналогий между живописью и поэзией.

И все это средиземноморское буйство красок разыгрывается в средней полосе. Не в какой-то Ultima Thule, а — в Туле, где живет поэт.

Тула напрямую в книге не названа. Не угадывается и сам город. Один-два топонима. В детском сознании город распадается на предметы — важные, большие, игрушечные. *Важны детали*, как сказано в одном стихотворении.

Озноб простудный. Иней на стекле.
В разводах пыль на мебели старинной.
Порвался целлофановый пакет.
Рассыпались по полю апельсины.

Узор ковра. Квадратное окно.
Орнамент и оранжевые пятна.
На счастье нам зелёное дано.
А что с бордовым делать?.. Непонятно...

«Начало»

Яркая образность и простота имеют и свои соблазны. Иногда простота оказывается чреватой общими местами. «И та же смутная печаль, / Как боль глухая без причины». Или: «Травой дорожка садовая / На даче моей заросла».

Иногда образность вредит точности. «И сосна, раскачавшись, как крестик нательный, / Хвоей рыжей на небе рябит». Удачное сравнение становится сомнительным: хвоя (на крестике?) зарябила явно не к месту.

Откликаясь три года назад на первый сборник Дьячкова — «Райцентр» (М., 2010) — я посетовал на некоторую приедающуюся пейзажность¹. В новой книге «чистых» пейзажных зарисовок меньше, да и сама природа стала ярче, экспрессивнее. И все же некая однотемность, одноголосность чувствуется и здесь. Особенно там, где названия стихотворений — «Отец Павел», «Шахтёр», «Поповский сын», «Детдомовец» — предполагают разную оптику, психологический рисунок. Однако все эти персонажи думают, чувствуют, говорят совершенно одинаково; на одной элегической ноте, появляясь — и растворяясь в пейзаже.

Но ставить это в упрек автору как-то не хочется. Уж больно хороши детали.

...Как долго мой поход на север длился.
На солнечной поляне встал без сил,
Листом в траву густую завалился
И грудью землянику раздавил.

«Поповский сын»

¹ См.: Книжная полка Евгения Абдуллаева // Новый мир. 2011, № 4. С. 229.

Копенгаген. Все эти люди которые

Арсений РОВИНСКИЙ. Ловцы жемчуга. — М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013. — 88 с. Тираж 300 экз.

«Голос из хора», как называл когда-то свою вещь Синяевский. Но хора больше нет, хор рассыпался. Вместо натужного унисона звучат сотни, миллионы анонимных голосов. Безымянных имен.

четвероклассник говорит смотрите как они танцуют
некоторые из них до сих пор танцуют вот так и вот так
окружены стеной невнимания

все эти люди которые
появляются и исчезают на моём пути
они не такие как ты или тётя Ада
им просто некуда отойти

Кто такая тетя Ада? Никто. Тетя Ада. Ад потока, в котором появляются — танцуют — исчезают.

Арсений Ровинский живет в Копенгагене с 1991 года.

Копенгагена в книге тоже нет. Есть десятки, сотни людей. Прощание с прежним сквозным персонажем Ровинского — с затейливым именем Резо Схолия — пошло на пользу. Стих стал полифоничнее, оброс голосами. Тетя Ада. Джамиля. Таня Попова. Фарида. Женя Шевченко. Некто Вакабаяши. Начал считать количество персонажей; сбился на тридцать каком-то.

только напротив его фамилии чёрточка
совсем небольшая галочка
в точности как в голове бывает

Коля и сам всё понимает —
ветер, зима, зимой всегда некогда

Имена иногда пишутся с большой, иногда с маленькой. «серёжа». «гача». *Ловцы жемчуга* (йогурта, путешествий, денег, секса, черешни). Все — *окружены стеной невнимания*. Кроме мгновенного луча — как просвечивание в огромном аэропорту — лирического взгляда.

Одно из часто повторяющихся мест — самолет. Пространство случайности контактов, комфорта и близости небытия.

вылет в 13.20 прилёт в 19.05 в домодедово
чай подаёт стюардесса похожая на медведева
а внизу пустота то есть нет никого как если бы все
побросали всё и тоже улетели уехали

что же ты что же ты серёжа серёжа
руки твои ледяные и очень неловкие
волосы жёлтые-жёлтые почти что белые
какие-то тёмные пятна на свитере

Почти все стихи — семь-восемь строк.

Где-то после третьей или четвертой проходит невидимая линия разрыва, смена ракурса, монтажный стык.

Незаконченность мысли, действия, речи. Все это создает ощущение хрупкости — и абсурдности мира.

«Абсурдность» — слово изрядно захватанное; уточню. Восходя к обэриутам и Заболоцкому, она дает сегодня разные стилистические регистры. Ироничный — у Дмитрия Тонконогова. Наивный, близкий детским стихам Хармса, — у Павла Гольдина. Игровой — у Павла Лукьянова (о его книге пойдет речь ниже).

Абсурд в стихах Ровинского возникает — и нарастает — от множества рациональных действий и понятных, «человеческих» (даже слишком) мыслей. Умножаясь, накладываясь друг на друга, они создают в сумме ощущение бессмысленной суеты, абсурдности всех усилий. Перед стеклянной стеной невнимания. Перед пустотой за бортом. Перед зимой и ветром. Перед финалом.

жизнь она навсегда говорит Фарида
Лёня увез меня в Полинезию он
работал на органы а в 90-м
стал заниматься коммерцией вот результат

Вы как великий художник вдохните
в эту скульптуру хоть и надгробную
побольше жизни

Абсурд не знает катарсиса. «Голоса из хора», пузыри из ртов «ловцов жемчуга», маленькие комедии и крошечные трагедии следуют — звучат, всплывают, мигают — с быстротой клипов. Под конец книги возникает легкое утомление: энергия читательского ожидания ни во что не может разрядиться. Всем этим героям, имена которых уже перестаешь воспринимать, действительно *просто некуда отойти*. Они слишком «здесь и теперь».

И все же — не в самом конце, но где-то ближе — на страницу точно падает случайное солнце. Нет, не хэппи-энд. Но ощущение, что выход все же существует.

Жора выползет из-под обломков и смотрит вокруг
повсюду одни виноградники видимо это юг
видимо всё приключилось на самом деле
вспоминает как огромные челюсти сомкнулись и
заскрипели

пауки и бабочки всё это видит как будто впервые
его окружают хлопают по плечу ну что живые
кричат живые а где Ашот

Да. Ещё бы вот Ашот нашёлся...

Барселона. Выйдя в себя из себя

Павел ЛУКЬЯНОВ. Бред брат: Вторая книга стихотворений. — М.: Воймега, 2013. — 52 с. Тираж 900 экз.

Первый сборник Лукьянова был ярко-желтого цвета и назывался «Мальчик шёл по тротуару, а потом его не стало» (2008). Лицо автора было на каждой странице. Черно-белая фотография, изо рта — текст:

на меня — пауки и звёзды,
кирпичи ледяной воды,
голубые салаты неба,
надувного железа мосты.

Сборник запомнился. Стихотворцев с таким веселым зрением у нас не так много.

В новой книге портрет Лукьянова — только на обложке. Зато цветной и в трех вариантах.

Лукьянов живет в Барселоне.

Первая часть называется l'emigrant.

Привычно emigrant'ского и в первой части не так уж много. Несмотря на эпиграф. «Dolça Catalunya, / patria del meu cor...» Следов новой патриии я не обнаружил. Прежняя идет в полосе сновидения, мерцания существ, воспоминаний.

помешай мне в груди поварёшкой уральского тела,
чтобы жизнь поднялась проварилась и закипела.
приходи и руками худыми меси моё тесто,
чтоб проснулась душа и, как зверь, появилась из леса.
...
жестяное ведро застучало запрыгнувшей жабою,
нож по пояс в бревне: пауки заползают и падают.
золотые часы возле хлеба прожорливо тикают,
за кустами — река, и слышно, как в воду заходят и прыгают.

«косые стихи»

Литературная родина ощущается здесь сильнее географической — Олейников, ранний Заболоцкий. От них — обостренное внимание к земле, к тому, что возится и шуршит на самой ее поверхности. К насекомым.

комар, отдирающий ноги от плоскости талой воды,
глядит, задыхаясь на небо глазами надеждой полны.

жуков шестилапых рояли поехали грохать к земле,
паук поплевал на ладони и — с богом — забегал в траве.

«зима — это точное время...»

По сравнению с первым сборником — игры, веселой возгонки бессмыслиц стало меньше. Удлинилась строка, элегичнее зазвучал стих.

вика валяет (дурочку) вареники, наклоняясь в окно из окна,
в чёрные снега в собаках, выгуленных дотла.
длинные, если задуматься, фары тянутся вдоль забытья,
снежность по крохе спадает в рот из небесного рта...

«вика валяет (дурочку)»

Бред остался, но вырос. Повзрослел. Уже не мальчик, как прежде («Мальчик шел по тротуару...»), а брат. «Бред брат».

руки тyani, брат, я раздаю суп,
мокрых волос бекрень, мясо твоих губ.
стыки, ремонт, лифт, тратишь себя на жизнь,
чтобы поехал вверх гроб, а потом вниз...

«руки тyani, брат...»

Макаберный юмор первого сборника сменился какой-то совсем уж тоской. И веселые стихи новой книги, со всякими каламбурами, новой книги не радуют. Даже при всей изобретательности и меткой афористичности («чем православнее погода, / тем миноретнее дома»). А застревают в сознании — после прочтения сборника — вообще две небольших лирических эпиграммы, почти без всяких изысков. Про собаку («но спасает вовсе не одёжка...») и:

сам не свой:
мам, открой!
а она —
тишина.

Москва. Имена предков

Галина КЛИМОВА. В своем роде. — М.: Воймега, 2013. — 56 с. Тираж 500 экз.

Не частый в современной поэзии случай исповедальной лирики. Авторское «я» стало редким гостем в стихах. Предпочитает присутствовать незримо.

Климова говорит от себя. О себе. О семье. О своем роде.

Отец. Мама. Бабушки: одна, вторая. Дед.

Умер в 38-м.
И время-то выбрал какое!
На поминках трёхлетнего крестника Юры
мой дед умер от перепоя.

Роман Иванович Орешкин —
случай стихийной натуры.

На спор махнул поллитровку белой,
пока его жёнка пела со святыми упокой.
Синий рот синей рукой
подобрал:
— Возьми меня, Юрка, к себе,
жутко, поди, одному в червивой избе...

«Умер в 38-м...»

Нет, реминисценций сегодня хватает. Папы и мамы и прочие родственники никуда из лирики не выписались. И почти во всех книгах, о которых здесь пишу, присутствуют. Но — в основном, в детских воспоминаниях. Что психологически понятно. Менее понятно, куда родня исчезает потом. Вымирает? Самоликвидируется? Нет, просто не присутствует как тема.

Род, родные у Климовой — самостоятельная лирическая величина. Почти каждый — со своей биографией. Со своим характером. Со своей старостью. С курсивом прямой речи. Мать (врач): *«покажите язык, — говорит, — /рельеф как на географической карте...»*. Бабушка (дочь деревенского скрипача): *«...выпив стопку, вытирала глаза: /хватит баклуши бить, егоза, /заводи "Перепёлку"!»*. Отец:

В переходном возрасте, после 85 годов,
налегке залетев ко мне — ранняя птица, —
в воздух выпалил:

ну, я готов,
доча, я готов креститься!..

«Мой папа — Даниель»

Это внимание к чужой жизни, жизни рода сближает книгу Климовой с «Семейным архивом» Херсонского. Проглядывает и общий «материковый слой» — Борис Слуцкий, с его замечательно подходящим для жизнеописаний дольником. Херсонский, однако, эпичнее, сдержаннее; сам автор, его я отсутствует — он лишь неспешно перекладывает фотографии, подолгу вглядываясь в лица. Напротив, у Климовой — при всей полифонии родовых голосов — все от первого лица.

Детские воспоминания тоже присутствуют. Игра в дочки-матери. Коммуналка. Походы в баню.

Каждый четверг в моём детстве был чистым —
женский день в городской бане:
шайки казённые, краны с присвистом...

«Географическая номенклатура»

Присутствует Москва. Прежняя и современная. Улица III Интернационала. Новоспасский монастырь. Клязьма. Подмосковье с «мусорными» чайками.

В белых спецовках,
похожих на майки,
на месте соития с Минкой Можайки,
на 73 км
вылетают на встречу навстречу зиме
болотные чахлые чайки.

Усердные мусорщики, мигранты...

«Откуда здесь эти птицы голодные...»

Важная — в этой книге — метафора: чайки, оторвавшиеся от моря. Люди, выпадающие из своего рода. Себя лирическая героиня Климовой тоже сравнивает — в другом стихотворении — с чайкой («Кем я была? / Охотничья чайка...»). Род разлетается. Чайки, пусть даже забыв о море, еще держатся стаей. Но идет время, и стая распадается на одиноких, не помнящих родства, особей.

...когда дети, перестав прятать глаза,
ввалятся как на именины
с икрой, цветами и фруктами
(живой натюрморт малых голландцев)
накроют тебя и твою больничную одиночку
нестерильной волной мажора...

...

или бросятся расходовать налево-направо
дорогие учётные поцелуи,
как обезболивающее последнего поколения,
стиснув при этом твою вялую руку,
а своей — рисуя воздушные мосты
в обратной к тебе перспективе
и уже в дверях зазубривая
имена предков, их жён и побочных детей...

Значит,
луна твоя на ущербе,
а солнце вот-вот скроется из виду.

Это — последнее стихотворение книги. Печально как-то.

Петербург. Поздний свет

Алексей ПОРВИН. Солнце подробного ребра: Книга стихотворений. — СПб.: ИНАПРЕСС, 2013. — 224 с. Тираж не указан.

«Какие-то слишком сделанные стихи», — бросил знакомый поэт, пролистав сборник.

Спорить я не стал — чтобы сберечь энергию несогласия для рецензии.

Стихи Алексея Порвина могут не нравиться; но они — узнаваемы. Скажу больше. Порвин — пожалуй, единственный из нынешних «тридцатилетних» (родившихся в начале 80-х) — поэт с голосом, который не спутаешь ни с чьим другим. Своя интонация. Своя строфа, изрезанная внутренними паузами и сменами дыхания. Свое видение.

Если поэзия Дьячкова — поэзия цвета, то Порвина — света.

Встречать обветренным лицом
себя, забытого августовским светом —
в затишье что делать ещё верфяном,
в пейзаже, навек перегретом?..

«Встречать обветренным лицом...»

Световые образы пронизывают стихи поэта, отражаясь в заглавиях книг. Первая книга — «Темнота бела». Книга переводов на английский — «Live by Fire» («Жить у огня»). Нынешняя — «Солнце подробного ребра».

Это солнце центонно возникает из трех строк: «Полукружье корабельного ребра / это ли рассказ неподробный / о солнце временного нутра». Кстати, это же стихотворение — из шестнадцати, предвещающее сборник, — дает и названия заглавия частям книги. Строка — заглавие. И вся книга состоит (только) из четырехстрочных стихов. Продуманная композиция.

Свет — темнота. Звук — молчание (тишина). Эти пары движутся порой отдельно, порой вступая в семантическое бракосочетание.

Летит слезящийся свет в глазу
над молчаньем всего, над словами:
так долго видят девушки внизу
ужас воды, притиснутой льдами...

«Обнажение»

Лирика Порвина метафизична, она наполнена понятиями (*кончетти* поэтов-метафизиков). Молчание, ответственность, многообразие, обобщение, время, высота... («Себя оценишь, высота? / Нынче слеза твоя пуста...») Кажется, нет абстракции, которая не могла бы легко возникнуть в этом стихе. И — начать двигаться и улыбаться, как ожившая мраморная аллегория.

Людское примиренье кому солжёт:
ходить по стеночке вдаривших в небо красот —
в силах не всякий, а здешних молчаний —
что может быть безымянней?

Сровняли не с зёмлей, а с небесным днём
(жестом таким не заменится имя)
к садам едва ли примкнёт тишина соловьём,
слова не будут иными.

«Людское примиренье кому солжёт...»

Примирение, тишина, жест, имя — все это вместе с лирическим, почти косноязычным *лепетом* дает совершенно свежее, неожиданное сочетание. Знакомое в русском стихе разве что по ранней лирике Пастернака («Наследственность и смерть — застольцы наших трапез...»). Бродский — земляк Порвина — был метафизичен без косноязычья («разбавителем» абстракций и категорий у него служило суггестивное — на грани ритмизованной прозы — многословие).

Кстати, о Питере и «питерскости». В более ранних стихах Порвина Петербург скорее угадывался — по светотеневому рисунку — чем присутствовал. Было даже ощущение сознательной отстраненности от города, слишком протравленного русской поэзией. В «Солнце...» город проступает и приближается. «Петроград». «Лиговские крыши». «Крестовский остров». «Балтийское побережье». «Сенатская площадь». Однако оптика — та же, нечеткая, нефиксируемая в одной точке, сквозь запотевшую и забрызганную линзу.

Листья зря прилипли к старой меди,
а теперь о словах прошуршат,
замолчанных в речной давнишней беседе
(Что — правда? Не скажет сад).

Важно: кем всё сказано под вечер
(содержание слов ни при чём?)
Торговым светом наш гранит обесцвечен?
Твоим омутнён стыдом...

Не сгодись для чистоты последней
(лишь промоешь пылящийся звук)
а мутный полусвет очистится сплетней,
упавшей из царских рук.

Уровень воды к шагам придвинув,
оставляй на асфальте зазор,
где отражённые огни магазинов —
смывает лиственный сор.

«Сенатская площадь»

Нет, «деланности» здесь я не вижу. Мне, как профессиональному сангвинику, порой не хватает разнообразия стилистических регистров. Порой начинает казаться, что, умножаясь, кончетти могут превратиться в конфетти, в украшение, во что-то не слишком обязательное.

Но — нет, донце стиля пока не открылось, язык пластичен; «солнце подробного ребра» светит своим — а не искусственно-рентгеновским светом.

Ставрополь. Фотокарточка на полке

СтаниславЛИВИНСКИЙ. А где здесь наши? — М.: Воймега, 2013. — 48 с. Тираж 400 экз.

Ливинский младше Дьячкова на год (1972-го) — но его лирический герой старше дьячковского — где-то на пять-шесть лет. Успел отслужить в армии. Поработать фотографом. У него уже есть женщина, которая ждет и машет в окно.

Я так люблю, когда в халате
рукою машешь мне в окошко;
когда ты надеваешь платье
и трётся кошка;

когда в хоккей играют лихо
по телику и, оторвавши
взгляд от шитья, ты спросишь тихо —
а где здесь наши?

«Нас из одной лепили глины...»

Я не большой любитель такой лирической «теплоты», да и шитье это я, кажется, уже в чьих-то руках видел. И кошку (рифмующуюся с окошком). Про заезженность «люблю» в четырехстопном ямбе с женской рифмой даже статью написал.

А все же — стихи подкупают. И не только психологической точностью. Поэт неожиданной — сегодня — некрасовской ноты.

Ждать, на досуге рожать — вот она, бабская доля.
Стряпать, на стол подавать, сильно глаза не мозоля.
Мамой свекровь называть, всё о супружеском долге...
Мужа любить. Провожать, думать — и мне уж не долго.

Выпьет, заладит одно — как же ей жить надоело,
как вот такая оса к ним перед смертью влетела,
как он в Сочи ей купил кружку с дельфином вот эту
в семидесятом году. Выпьет и ляжет одетой...

«Ждать, на досуге рожать — вот она, бабская доля...»

На вопрос «А где здесь наши?» хочется ответить — «Везде». И те, и эти. Ливинский наделен даром жалости к своим героям. Не сентиментальной — спокойной, слегка отстраненной.

Иное что-то в смысле естества.
И ты, не призывая к падшим милость,
Выкладываешь буковки, слова.
Отходишь посмотреть, как получилось.

«А если начинали, то с конца...»

Дар не милости, но — жалости. К одинокой старухе. К одноклассникам-неудачникам. К солдатику, повесившемуся в бане. Даже к старшине, который «орал, как сука». Ко «всем нам», от которых останутся «пепел и примятая трава», а «дома — фотокарточка на полке». Даже к стульям и столам.

Казалось бы — только обжился, привык,
нагрел, полюбил это место,
а нужно съезжать, нанимать забулдыг,
вытаскивать стулья и кресла.

...
И пепел сбивать на затоптанный пол,
в сердцах объясняя рабочим,
что самое главное — бабушкин стол,
что — ножка замотана скотчем.

«Переезд»

Умение видеть деталь, предмет. Не в цвете (цвет почти не называется). Не в наплывах света и тени. Взгляд фотографа — человека, думающего прежде всего о портретной — и фактурной — точности. Это стало ясно из стихов, еще до того, как, дочитав, увидел на обложке: «После окончания школы получил профессию фотографа. Служил в армии, работал фотокорреспондентом...»

Вот и всё. Листопад, журавли, дембеля.
Из горла. Не горит. Не иначе — палёнка.
После третьей качнется и вздрогнет земля.
Щёлкни, что ли, на память на фоне Кремля.
Оп! Ну, я так и знал, что закончится плёнка...

«Вот и всё. Листопад, журавли, дембеля...»

Еще подозревал участие в КСП. В биографическом столбце об этом не оказалось. Но песенное начало — близкое традиции городского романса — и его развития в авторской песне — в книге чувствуется. На фоне прозаизации современной профессиональной поэзии (в любительской, разумеется, гитары до сих пор не смолкают) — это, скорее, достоинство. Поэтическое слово не то что должно вернуться в музыку (по Мандельштаму), но хотя бы — не забывать туда дорогу.

Улан-Удэ. Головою в космосе

Амарсана УЛЗЫТУЕВ. Анафоры. — М.: ОГИ, 2013. — 76 с. Тираж 300 экз.

Свои стихи Амарсана Улзытуев рычит. Когда его слушаешь, становится жарко (я даже снял свитер).

А в сборнике читаешь — ничего страшного. Стихи. Интересные.

Улзытуев — сын известного и рано ушедшего поэта Дондока Улзытуева. Улзытуев-старший писал по-бурятски; его книгу перевел Евтушенко.

У Амарсаны Улзытуева есть сын Дондок — в честь деда, наверное. «Озеро Щучье, купаюсь с моими детьми, / Оленьке — девять, сыну Дондоку — шесть».

На Щучьем озере я не был; вообще не бывал в Бурятии. Почитав Улзытуева — жалею.

Жить в небе и наблюдать облака здесь удобнее,
Жимолости вкус, горчинки — здесь в Бурятии жить,
Где коровы жуют эдельвейс, цветок альпинистов,
Где головою в космосе гуляешь по городу...
«Ноготь небожителя»

Анафора — слово, как известно, не бурятское. Хотя звучит почти как анаграмма имени автора — *Амарсана*.

Анафора у Улзытуева — это то, что Квятковский называл звуковой анафорой. У Пушкина, например: «Грозой снесённые мосты, Гроба с размытого кладбища».

«Чтобы белый стих не превратился в аморфное образование типа западного верлибра... я и применяю в своих опытах анафору и переднюю рифму как систему. Ранее использовавшиеся лишь окказионально в русской поэзии, они образуют новую форму поэтического большого стиля. Возможно, когда-нибудь эта форма придет на смену конечной рифме».

Это из «Вместо предисловия» Улзытуева к сборнику. С подзаголовком «Из авторского манифеста "К вопросу о конечном и бесконечном в русской поэзии"»¹.

Действительно — анафоры. Действительно — интересно.

Слон, вселенноподобный, купается в мутной от ила реке,
Словно самое первое слово в начале времён,
Весь коричнево-бурий, местами похожий на землю в безвидной воде.
Весел в воде колыхается, хоботом плещет, играется.

«Купание слона»

И все же, нерв стихов Улзытуева — не в анафорах. Напрашивается другой, не менее филологический — но, возможно, более точный термин. *Оксиморон*.

Не как соединение противоположного, а как столкновение предельно далекого.

¹ Этот манифест анафорической поэзии был опубликован года три назад в «Арионе» (2011, № 2). Правда, он был помещен без этого несколько претенциозного названия, и доводы в пользу анафорического стиха были приведены другие.

Слово (да еще и русское) — и слон. Причем здесь слон? Притом.
Или похороны — и веселье.

Гроб, ай да гроб смастерил брат твой Эрик, плотник великий,
Гром тамтамов, музыку сфер, вопль черноокой вдовы
Заслонила огромная рыбина с серебряной чешуёй,
Заполонила хижину бедного рыбака.

...

Рыбу-гроб несут пьяные друзья его и понарошку дерутся,
Ибо любил Эдди выпить и, конечно, подражаться.

Оп! и рыба слегка накренилась и двинулась вспять,
Окрики сзади: Вертаемся, Эдди что-то дома забыл — духи велят!
Так движется траурная процессия то вперёд, то назад,
То распевая чёрные псалмы, то приплясывая...

«Похороны Эдди»

Если появляется шаман — то почему-то итальянец.

Шаман бледнокожий, похожий на редьку,
Шаром земным он пользуется как бубном,
Простой кулинар-итальянец в прошлом,
Трусой вокруг жертвенного огня он скачет...

«Шаман»

Оксиморон. Парадоксальное соединение вещей не просто далековатых — в чем, по Ломоносову, и состоит суть поэзии, — но и несовместимых.

Путь рискованный. Не всегда несовместимое желает совмещаться, а совмещившись — становится поэзией. Иногда комбинаторика становится несколько умышленной, «придуманной». Как, например, в «Разделке барана». Помянуты и «трансцендентный путь», и «второй закон термодинамики»... И «от кишок отделяются Солнце и Млечный путь», и «сотворяются суша, эфир, мировой океан».

Ощущение, что разделку барана осуществлял как минимум авторский коллектив «Мифов народов мира».

Но в лучших стихах сборника это соединение мифа с логосом, Востока — простите за избитое сочетание — с Западом происходит легко и органично. Без цитатных стежков на швах. Одним из таких стихов — «Нобелевская премия (Памяти Иосифа Бродского)» — и завершу.

До слёз трогает обряд скандинавский —
Одаривать деньгами мысли циолковские,
Помню в детстве обычай бурятский —
За то, что я ребёнок, совали целковые.

Стоит король шведский с хадаком шёлковым
Благодарности человечества и улыбается,
И с ним вся родня его, языками цокая,
Тебе, вечному ребёнку, радуются не нарадуются...

Ольга Лебедушкина

Странствие как анти-travel

В прошедшем году, если судить по его удачам, одно из первых мест в русской литературе по-прежнему крепко держали травелоги. Достаточно вспомнить «Три путешествия» Ольги Седаковой, «Ошибки в путеводителе» Михаила Айзенберга, «Невозможность путешествия» Дмитрия Бавильского, «Книгу перемещений: пост(нон)-фикшн» Кирилла Кобрин, «Вернись и возьми» Александра Стесина.

Жанр «писем русского путешественника» во всех его видах и модификациях востребован, это уже своего рода литературное комильфо, не иметь собственной книжки путевых заметок современному русскому писателю вроде как-то и неприлично.

Но вот что обращает на себя внимание: все лучшие травелоги — или вовсе не травелоги, или включают в себя элементы жанровой рефлексии.

«Три путешествия» Седаковой — не столько само странствие, сколько — метафизика странствия, книга не о пространстве, а о времени.

По точному наблюдению Ольги Балла, «записки Кирилла Кобрин о перемещениях (из одной точки экзистенции в другую) при всей общности их

внешних примет с травелогами — анти-травелоги, а то, что в них описано (запротоколировано? — тут напрашивается какое-то суховатое, принципиально необживаемое, что ли, слово), по существу, антиперемещения. Антипутешествия»¹.

Путевые очерки и фрагменты Дмитрия Бавильского снабжены добротным экскурсом в историю жанра — от Радищева и Карамзина до Битова и от Гете и Стендаля до Эрве Гибера. И снова — «невозможность путешествия», вынесенная в название.

Во всем этом чувствуется какая-то усталость жанра. А возможно — и усталость от жанра.

Сегодняшний читатель избалован и легок на подъем. Вместо того, чтобы читать чужие рассказы на тему «как я ездил в Париж (Венецию, Рим и т. д.)», он, скорее, сам поедет в Венецию или Париж, а недостающую информацию отыщет если не в сети, то — в умном путеводителе, которых сейчас выпускается немало. Одних только новых книг об Иерусалиме за несколько ближайших месяцев приходилось видеть четыре (речь, конечно же, не про замечательный «Город заката: травелог» Александра Иличевского, который не попал в наш список в начале только из-за ограниченности 2013-м годом издания), а «Венеций» было и того больше —

Василий Голованов. К развалинам Чевентура: Рассказы, эссе. — М.: Новое литературное обозрение, 2013;

Мариуш Вильк. Путем дикого гуся / Перевод с польского И. Адельгейм. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014;

Олег Ермаков. Вокруг света: Походная книга. — «Новый мир», №№1—2, 2014.

¹ Ольга Балла. Подготовка к исчезанию. / <http://www.svoboda.org/content/article/24996797.html>

не то семь, не то восемь. И все хорошие, солидные издания, не только с иллюстрациями, но и с серьезным научным аппаратом — настоящие исследования по страноведению, истории, культурологии, урбанистике.

Путевая проза — изначально и путеводитель, и пособие по географии, и авантюрное повествование о приключениях в чужих землях, и только затем индивидуальное переживание пространства — на сегодня на глазах теряет все свои привычные функции, кроме той, которая упомянута последней. Но здесь тоже обнаружилась ловушка: акцент сместился с переживания на пространство. Уникальность взгляда — это, конечно, хорошо, но уникальность пространства — интереснее, а нехоженых троп и неразведанных маршрутов остается все меньше, и все эти возможные траектории перемещений по миру уже вовсю делят между собой туроператоры. В этом смысле «письмам русского путешественника» приходится конкурировать с постами на Фейсбуке и фотоотчетами в Instagram с их скоростями и эффектом присутствия. Так что литературному путешественнику, открытому всем этим ветрам современности, приходится меняться: он перестает быть путешественником, и путешествие окончательно перестает быть путешествием.

«Знаете, чем путешественник отличается от странника? Пути первого всегда ведут к какой-то цели, будь то открытие истоков Амазонки, "поединок с Сибирью", изучение племени хуту или тайского секса, — пишет Мариуш Вильк, польский писатель и журналист. — А для странника — сам Путь и есть цель. Поэтому путешественник в конце концов из своих путешествий возвращается, а странник упорно движется вперед... И если даже задержится на мгновение в какой-нибудь глухомани, очарованный ее красотой, это вовсе не означает, что странствие подошло к концу. Ибо стран-

ствие (в отличие от путешествия) есть душевное состояние, а не деятельность — профессиональная или любительская».

Глухоманию, очаровавшей странника Вилька, стала заброшенная деревня Конда Бережная на берегу Онежского озера. Мгновение растянулось более чем на десятилетие. С начала 2000-х Мариуш Вильк подолгу живет в простом деревенском доме, без интернета и мобильной связи, вдали от цивилизации, и ведет свой «Северный дневник». «Путем дикого гуся», очередной, четвертый по счету, его том, из которого становится ясно: странствие — не только душевное состояние, но и особый способ письма, и здесь есть два пути: «Первый — напрямик: опираться на известные факты и смириться с тем, что картина останется неполной или даже искаженной. Так поступает большинство авторов. Второй — неторопливые блуждания, порой заводящие в тупик. К сожалению, времена нынче неподходящие для странников. То издатель подгоняет (рынок требует новинок), то читатели возмущаются (я пишу медленнее, чем они читают). Мир набирает скорость, а я спешить не люблю.

Я люблю — странствовать! Все равно, в пространстве или во времени, по городу или по тундре, от человека к книге или наоборот. След моей тропы — самый настоящий меандр: очередной поворот открывает неведомые горизонты, случайная встреча — новый круг знакомых, одна книга — дюжину других. Иногда приходится останавливаться — то паром подведет, то человек опоздает, а то нужной книги не окажется на месте и приходится заказывать ее в другой библиотеке, в другом городе. Никогда не надо переть напролом, спешить. Странствия учат терпению».

Новый том страннической эпопеи Вилька — пожалуй, самый динамичный. В «Северном дневнике» автор-повествователь статичен, он по большей части домосед и созерцатель. Здесь,

помимо вслушивания в тишину в доме над Онего, есть реальные перемещения — поездка в Петрозаводск и в Нормандию, следование «синим Путем» Кеннета Уайта, то есть описания событий, которые придают «Северному дневнику» сходство с травелогом. Но стоит заметить: каждое перемещение в пространстве — это следование за книгой, использование текста как бесконечно разворачивающейся топографической карты. Петрозаводск Вилька начинается с Паустовского, продолжается повестью забытого местного историка Тихона Баландина и далее — от текста к тексту. Банальная метафора «чтение — странствие», «письмо — странствие» обращается неожиданным перевертышем: «странствие есть не что иное, как чтение, следование путем странника — не что иное, как создавать тексты». Такое слияние пространства и текста, странствия и литературы (мифа, мысли) заставило бы вспомнить основателя геопоэтики Кеннета Уайта, даже если бы Вильк не был его учеником и последователем. Но именно истории знакомства с Уайтом посвящена срединная часть книги.

Неслучайно глава об Уайте и встречах с ним есть и в книге Василия Голованова «К развалинам Чевенгура». Отечественная школа геопоэтики (вместе с Головановым никак нельзя не вспомнить его коллег, друзей и товарищей по экспедициям Дмитрия Замятин и Андрея Балдина) имеет почти двадцатилетнюю историю, но все же случай этого автора — совершенно особый.

Василий Голованов писал свою удивительную прозу задолго до того, как в отечественном культурном обиходе появились термины «геопоэтика» или «гуманитарная география». Голованов — вообще писатель вне тенденций и моды, при полном, казалось бы, им соответствии. Россия была его главной темой, независимо от того, насколько патриотическая идея была или не была вос-

требована обществом и властью. Он ездил по стране и писал о своих поездках задолго до повального увлечения жанром травелога. Голованов выбирает для поездок и очерков не привычные туристические маршруты, а такие места, о которых обычно говорят «что ты там забыл» — например, лес в 70 километрах от Осташкова, или городок Вессьегонск, или степи Верхнего Дона. И вдруг выясняется, что именно здесь самое главное забыли все мы. Пока кто-то говорит и пишет о возвращении к абстрактным истокам, Голованов находит настоящий исток — маленький ручеек, с которого начинается Волга. Пошехонье, придуманное Щедриным, оказывается для автора землей предков. Но самая впечатляющая часть книги — история о том, как вымышленный платоновский Чевенгур обрел реальную топографию, как в топонимах постепенно начали проявляться имена героев, а в лицах жителей степных деревень Верхнего Дона — их лица.

Эта «намагниченность Платоновым», которая постоянно ощущается в тексте, стала поводом для экспедиции «с целью радикального прочтения главного платоновского романа "Чевенгур"». «Чевенгур», помимо прочего, понятие географическое, город утопии. Оконтурировать географически месторасположение Чевенгура, привязать его к уцелевшим топонимам, а если удастся — то и к образным сгусткам романа, к его метафорическим «развалинам», а в случае успеха — обнаружить и наследников духа, породившего этот роман-лабиринт, — такова была цель экспедиции... Путешествие «к развалинам Чевенгура» тоже было своеобразной формой прочтения платоновского произведения заново: в путешествии нам хотелось ощутить дух романа органами чувств, буквально прочувствовать его «живьем».

Конечно, это путешествие с книгой, как с картой и компасом в руках, в

терминологии Мариуша Вилька оказалось бы странствием. И это еще одна постоянная «геопоэтическая» тема Василия Голованова — взаимное прорастание пространства и текста — литературного, культурного, мифологического — то, как пространство и текст отражают друг друга, как путешествие становится чтением, чтение зовет в дорогу, хотя, если речь о странствии, в конечном счете неважно, находится ли сам странник в движении или в состоянии покоя: он все равно проходит свой Путь.

То, что опубликованная в двух первых номерах «Нового мира» «походная книга» Олега Ермакова — скрытый «анти-травелог», то есть — еще одно «странствие», по Мариушу Вильку, становится понятно после прочтения уже нескольких страниц. Название обещало «кругосветку», пусть и не за восемьдесят дней, а вместо этого нам подбрасывают текст о метафизике фотографии, о «письме посредством света»: сидит себе человек в палатке, на лесном острове, с фотоаппаратом, ловит осеннее солнце в объектив: «А миф о вечном возвращении сам напрашивается, когда ты занимаешься ловлей света, солнечной секунды, светописью, сиречь фотографией, и с каждым щелчком затвора осознаешь, что эта частица света, упавшая в мир, что мир в ней — неповторимы. Каждый миг словно катастрофа, все повисает на острие — и обрывается, рушится. Рушится мироздание — и тут же возникает снова и снова. И гениальность его в бесконечном многообразии. Хотя это невозможно проверить, как и мысль о вечном возвращении».

Возможно, прочитавшим Голованова и Вилька и в этой свободной прозе Олега Ермакова постепенно станут видны контуры нового жанра, дающие

себя знать на ощупь как «анти-жанр». Как у Вилька — одинокое созерцание мира, освоение пространства как книги, которая пишется и читается одновременно: неслучайно фотографии у Ермакова тоже «пишутся». Вместо головановского Платонова у Ермакова — Твардовский, неспешное путешествие по родным местам поэта, по его жизни и стихам. Все — по законам геопоэтики: «К Твардовскому меня привела местность, ее дороги и реки». Причем, никакой изначальной «намагниченности», никакой влюбленности в текст, наоборот — сначала полное равнодушие к стихам, которые только с продвижением рассказчика в пространстве и времени напитаваются светом, сами становятся светописью.

Так или иначе странствие, перемещение в пространстве еще раз становится метафорой литературного творчества и самой литературы: «Я проецировал эту схему¹ на ситуацию в литературе. В самом деле, не засуха ли сейчас?

Литераторы советской выделки, оставшиеся неизменными, вымерли; другие стали кочевниками — следуют за читателем, ну, пишут, например, детективы и статьи в гламурные журналы. Старая вера в слово как нечто большее, — усыпляющая вера? пояс муссонов? И здесь бродят толпы литераторов средней волны, они обречены.

И один из них — ты».

Этот «один из них» у Ермакова, опираясь на «посох»-штатив, у Вилька — слушая тиканье старых часов в доме над Онего, у Голованова — колеса на пыльной «ниве» по донским степям, на самом деле идет своей трудной дорогой к слову, как на свет.

¹ Речь о концепции возникновения цивилизаций А. Тойнби (см. *Олег Ермаков. Вокруг света.* — «Новый мир», № 1).

Олег Хлебников

«В своей ежедневной стране»

Эта замечательная, по-моему, строчка — из новой книги Л. Газизовой «Люди февраля».

Чем меня заинтересовала живущая в Казани поэтесса с цветочным именем Лилия? Прежде всего — редкой сейчас в потоке модной остроты и метафорической затуманенности — искренностью поэтического высказывания и — неожиданным жестом, за которым не только темперамент, но и как будто на твоих глазах случившееся переживание.

Вот вроде бы совсем простое, короткое стихотворение. Верлибр, как и все остальное в этой книге:

Я думаю о том, какие мысли
В голове у очень толстого ребёнка.
И часто ли ему бывает грустно...

Я думаю, что толстого ребёнка
Намного чаще обижают,
Чем худого.

Ещё я думаю о том,
Что в каждом из нас
Плачет толстый ребёнок.

Плачет, плачет... Это стихи из тех, которые должны были быть написаны. Может быть, красивее, в рифму, мелодраматичнее... А зачем? Здесь и так все есть. Этакая стволовая клетка поэтического высказывания — бери ее и клонируй целую драму в стихах, только опять — зачем?

Кстати, эти стихи для поэтессы отнюдь не умозрительны. Наоборот, по-

чти биографичны, безусловно, прочувствованны — не потому, что была толстой (чего нет, того нет), а потому, что много лет проработала детским врачом. Будучи поэтом.

А сейчас — почти теоретическое отступление (от правил рецензии).

Свободный стих или верлибр в русской поэзии — тема непростая. Рифменные возможности в русском языке, в отличие, например, от французского (с фиксированным ударением на последнем слоге), далеко не исчерпаны. Розы могут рифмоваться не только с морозами, но и с розгами, и с ризами, и, уж конечно, с росами... Кроме того, рифма может быть вообще мерцающей, как в «Слове о полку Игореве», и тем более осмысленной и яркой.

Мне больше других нравится определение рифмы, сформулированное Андреем Черновым: «метаморфоза смысла при сходстве звучания» (это, впрочем, только про хорошие рифмы). А значит, рифма должна (или хотя бы может) быть и волшебством, и чуть ли не шаманством (с чего и начиналась) — не только шпаргалкой для лучшего запоминания строчек.

Но если говорить о верлибре, тут дело далеко не столько в отсутствии рифмы. Верлибр отсекает и даже выжигает каленым железом традиционные ямбы и хорей. И здесь бы ему сказать спасибо — надоели эти укачивающие та-та-та-та. Когда еще Пушкин писал: «Четырехстопный ямб мне надоел»! Однако в русской поэзии появился и развивается дольник или акцентный стих, который успешно пре-

Лилия Газизова. Люди февраля. — М.: Воймега, 2013.

одолевают «укачивание» и ставят авторскую интонацию поверх размера (можно сказать и — поверх барьеров). Этот путь кажется самым плодотворным.

Верлибры же по-русски, как и по-французски, по большей части умозрительны. Они как правило формулируют некую мысль — кстати, Эйнштейн, например, говорил, что у него за всю жизнь мыслей было всего две (общая и частная теория относительности)! А вот настроение — вещь заразительную и склоняющую к присоединению, пойманное в силки слов тонкое ощущение, без чего, по-моему, поэзии просто не бывает, большинство донны написанных русских верлибров не передают.

Большинство, но — не все. Вспомните блоковский верлибр «Она пришла с мороза раскрасневшаяся...».

Мне кажется, этим блоковским путем в своих верлибрах пытается идти Лилия Газизова. Она хочет уловить, зафиксировать и передать те мгновенные ощущения, которые, в сущности, и составляют жизнь, во всяком случае — жизнь души. Это невероятно сложно. И, кстати, тут рифмы и уже как бы заранее заданный размер могут сильно помешать, толкнуть на инерционный путь. Поэтому — вопреки инерции — она и пишет верлибры, не потому что рифмовать не умеет (у нее выходили и вполне «традиционные», с зарифмованными стихами книжки). Иногда получается лучше, иногда хуже. Но это так в любом деле, тем более — в литературе. И вот — вчитайтесь:

Стать стрелкой на часах
Казанского Кремля
Клавишей Delete
Мирового компьютера
Выскальзывающим из рук
Дымчатым портсигаром
Западающей клавишей си-бемоль
Утренним бесцветным мраком
Всеми собаками мира
Очками Ehte на родной переносице
Безвольным сердечным клапаном —
Всем что угодно
Лишь бы не Лилией Газизовой

Здесь, по-моему, замечательны: и «родная переносица» (экое отстранение души от собственного или близкого — не важно! — тела и при том сочувствие ему), и «безвольный сердечный клапан» (ведь действительно нашей волей он не управляется, а жаль!), и желание стать «всеми собаками мира». Но еще замечательней нежелание быть... Нет, не собой, а той, за кого тебя «держат», принимают или числят. Той, кто для большинства людей исчерпывается именем-фамилией-внешностью.

Кстати, процитированные стихи озаглавлены — «Настроение». В общем, для Газизовой это петушиное слово — могло быть и не названным.

Неудачи, кажется, в ее очень женских, но и вполне антропоморфных верлибрах подстерегают ее только там, где настроение вдруг пропадает. Или — выпархивает, не ловится. Но это у нее случай не частый. К умозрительности или к интонационному (уже верлибровому!) однообразию Лилия Газизова не склонна.

А вот как вам такие стихи про любовь, где нет ни этого слова, ни страданий-придыханий:

Куришь неловко,
И дым сигаретный
В глаза попадёт тебе.
Смешно шуришься...
Что же, придётся мне
Дым отгонять от тебя...
Как и прочие неприятности.

Нужны ли еще здесь какие-то слова или изящные рифмы, чтобы передать и чувство, и состояние, и — где-то в глубине — боль?

Хочется пожелать Лиле Газизовой: пусть еще не раз поймает для нас, читателей, то, что в унылой повседневности мы не ловим и не осознаем.

Будем читать, ждать и надеяться.

Владимир Шпаков

Альманах + альманах

В прошедшем году руководство Союза российских писателей выпустило в свет два объемистых альманаха. На обложке первого красуется название: «Паровоз», второй поименован цитатой из классика: «Лед и пламень». Эти издания объединили десятки авторов, входящих в СРП, что, в принципе, не может не радовать. Как бы ни глумились язвительные критики над «братскими могилами», издающимися там и тут, а любая новая площадка для публикаций — всегда благо. Ну, и радость, конечно — как для авторов, так и для ценителей изящной словесности.

Начнем с альманаха современной поэзии «Паровоз». Как явствует из структурного принципа книги, это не столько *паровоз* (иначе говоря — локомотив), сколько полноценный состав, причем с немалым количеством вагонов. В их числе и обычные пассажирские вагоны, и вагон-ресторан, и багажный вагон, и почтовый, разве что разделения на плацкарты, купе и люксы здесь нет.

Впрочем, бог с ним, с названием, речь должна идти не о структуре, а о «пассажирах» состава, сиречь о поэтах. Их немало, можно даже сказать — много, как и положено (не «автобус» все-таки!). Однако в СРП поэтов, причем не слабых, гораздо больше, чем могло разместиться в вагонах состава.

Паровоз: Поэтический альманах-навигатор Союза российских писателей. — М., 2013.

Лед и пламень: Литературно-художественный альманах Союза российских писателей. — М., 2013.

А посему неизбежны разговоры типа: а меня почему не взяли?! Не иначе, бригадир поезда и проводники сажают своих — по блату или за мзду!

На самом деле все обстоит иначе. Взяли тех, кто быстрее откликнулся на инициативы, выдвинутые руководством Союза, кто более оперативно прислал свои подборки, да и вообще тут нет резона для переживаний. Перед вами все-таки издание, которое будет выходить регулярно (дай бог издателям финансирования!), поэтому проехаться на поэтическом «Паровозе» имеет шанс любой талантливый поэт России.

Теперь вскочим на подножку первого вагона, объединившего поэтов из таких разных городов, как Москва, Смоленск и Калуга. Надо полагать, сработал принцип относительной географической близости. Хотя, если вчитаться в сами стихи, мы увидим, что эстетическая близость тоже сыграла свою роль. В подавляющем большинстве это авторы традиции, чуждые авангардистским экспериментам и тотальной иронии, это авторы прямого лирического высказывания. Что ни хорошо, ни плохо — это просто есть. Если не читать биографических справок, то поэтика никак не выдает место проживания, в этом отношении москвич Игорь Меламед не особо отличается от уроженца Калуги Александра Трунина или смолянина Владимира Макаренкова. Отголоски экспериментальных течений чувствуются разве что у Андрея Коровина и Светланы Василенко (оба — московские авторы):

вот человек играет на пиле
он никогда не слышал о Рабле
и девушка напрасно наклонилась
ему монетку верности подать
вокруг зеваки смотрят в объективы
но ни в одном не видят перспективы
какая перспектива, вашу мать!

(Андрей Коровин.

«Человек играет на пиле...»)

Но это лишь отголоски, эти авторы тоже высказываются, что называется, от сердца. И такое сходство, опять же, надо принимать как должное. Оно вовсе не предполагает единообразия, поскольку судьбы — разные, темы — разные, взгляд — разный, и этим-то традиция и сильна: она позволяет в одну и ту же форму наливать совершенно разные напитки.

О напитках, впрочем, рановато, до вагона-ресторана мы пока не добрались. Пассажиры следующего вагона — поэты Твери, Петербурга и Калининграда. Почему питерцев поместили не с новгородцами и псковичами, которые географически ближе — загадка, но решать мы ее не будем. Главное, что подбор поэтов — весьма представительный, во всяком случае, поэтов петербургских. Трудно найти любителя поэзии в этом городе, не слышавшем, например, о Галине Гампер или Вячеславе Лейкине. Оба не просто поэты с именем, это еще и учителя, не одно десятилетие воспитывающие (и довольно успешно) талантливых авторов. Так что качество их стихов, думаю, нет смысла обсуждать. Можно обсуждать количество, тот же Лейкин, поэт из первого ряда в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, мог быть представлен в альманахе более масштабно.

Мир от меня отстал. Возможно, что забыл.
Сказать ли — повезло? Не знаю, не уверен.
Неволюсь тем, что есть.
Так, глядя на кобыл,
Судьбу благодарит тяжелобрюхий мерин.

(Вячеслав Лейкин.

«Мир от меня отстал...»)

Елена Елагина, Дмитрий Григорьев, Галина Илюхина — каждый из этих поэтов имеет узнаваемую манеру, авторитет в среде профессионалов и свой круг поклонников. Да и остальные петербуржцы вкупе с тверскими и калининградскими авторами не роняют общий уровень. Соотношение традиции и эксперимента здесь примерно такое же, как и в предыдущем вагоне, и больше мы об этом говорить не будем. Читатель альманаха довольно быстро поймет, что на этот состав постмодернистам билетов не продавали, разумно решив: пусть садятся в другой поезд.

Нижний Новгород, Владимир и Набережные Челны едут в следующем вагоне. В основном тут представлены владимирские поэты, многие из которых выпустили не одну книгу, печатались в авторитетных литературных журналах. И стихи действительно достойные. Изысков формы и замысловатой образности тут меньше, чем в стихах поэтов из «северной» и «южной» столиц, но сама материя стиха — добротна, эта поэзия не поверхностна и энергична.

Если тень продлить, то получишь ночь,
Если искру света — получишь день,
Если точку умножить, то будет дождь,
Бесконечный и медленный, как мигрень.

(Владимир Пучков.

«Если тень продлить...»)

Впрочем, у автора из Нижнего Новгорода Марины Кулаковой мы обнаружим-таки элементы языковой игры (в «народном» смысле), а у владимирского поэта Дмитрия Кантова — филологические мотивы, обыгранные весьма интересно.

Далее переход через тамбур, и мы попадаем к поэтам из Ярославля, Костромы, Вологды и Каргополя. Здесь составители не погрешили против географии, действительно близкие друг

другу города, хотя поэты в них живут разные (в вышеупомянутом смысле). Владимир Перцев из Ярославля не похож на Александра Логинова из Каргополя, а Татьяна Жмайло из Череповца — на Павла Маркина из г. Мантурово Костромской области. Некоторые из представленных авторов более продвинуты в эстетическом плане, засвечены и отмечены в литературной среде, например, Наталья Сучкова и Галина Щекина (обе — из Вологды). Но и остальные не теряются на их фоне, тут каждый поэт любопытен не в контексте, а сам по себе.

Я с кровати свешу ноги.
Вот он, двадцать первый век,
На моём стоит пороге —
Беспощадный, как абрек.

(Александр Логинов.

«Не пора ли нам на волю...»)

В Самаре, Тольятти и Оренбурге тоже есть поэты, любопытные сами по себе. Виталий Молчанов, Владимир Мисюк, Игорь Крестьянинов и др. представлены интересными и разнообразными подборками, которые дают пусть и не полноценное, но все-таки представление о поэтическом мире и манере каждого автора. Есть замечательные поэты в Перми, Екатеринбурге и Омске, а также в Томске, Красноярске, Иркутске, Братске. Да простят меня поэты, которых не называю поименно — это всегда проблема для рецензента любой поэтической антологии, который при всем желании не имеет возможности даже перечислить фамилии всех авторов (коих более сотни). Здесь основная задача — привлечь внимание к альманаху в целом, а он вполне достоин внимания любителей и ценителей поэзии.

Особенно заметно это будет для того читателя, который доберется до «специального» вагона, в котором едут лауреаты Волошинской премии за раз-

ные годы. Стихи Марии Ватутиной хорошо известны в поэтическом мире, как и произведения Александра Тимофеевского, Алексея Остудина или Александра Переверзина. Лауреаты — они, как говорится, и в Африке лауреаты, за красивые глаза премий не дают, и этот раздел альманаха, конечно же, наполнен стихами весьма высокого уровня.

Мы так обвыклись без чудес,

мы перестали ждать.

У нас такой банкет бес, тебе не передать.

Нас подготовили уже к тому, что в этот раз —

Мы на последнем рубеже.

Не приходи сейчас.

(Мария Ватутина.

«Чудес не будет в этот раз...»)

В этой связи даже не хочется задавать вопрос: а почему в вагоне-ресторане в гордом одиночестве едет Валентин Нервин из Воронежа? Во-первых, стихи, опять же, приличные, во-вторых, его подборка по количеству произведений не больше, чем у других «пассажиров».

В «международном» вагоне помещены переводы иноязычных авторов в исполнении поэтов — членов СРП, в «багажном» — ряд критических статей о поэзии. Надо сказать, что составители подобных антологий до критики редко когда доходят, как и до переводов, но в «Паровозе» и эти сферы творчества не остались без внимания.

Что сказать после прочтения первого выпуска поэтического альманаха-навигатора «Паровоз»? Что Россия — по-прежнему поэтическая Ойкумена, здесь для многих «жить» и «писать стихи» — понятия если не синонимичные, то весьма близкие. Что слово для немалого количества людей в этой стране, как и ранее — ценно, в особенности поэтическое слово. А это значит, что требуются регулярные рейсы «Паровоза», а не эпизодические.

Альманах «Лёд и пламень» отличает-

ся от «Паровоза» и по наполнению, и, если можно так выразиться, по судьбе. Прецедент выпуска антологии под таким названием уже имел место в 2009 году: один том составляла проза, другой — поэзия. Четыре года спустя проект шагнул на другой уровень, поскольку, во-первых, был выпущен альманах, предполагающий регулярность выхода. Во-вторых, стала более замысловатой структура: составители отказались от очевидной дихотомии «проза — поэзия», дав приют еще целому ряду жанров.

Основу, как и положено, составляют стихотворные подборки и рассказы. Но помимо этого тут есть драматургия (пьеса Валентины Кизилю «Спящая красавица»), произведения для детей в рубрике «Качели», очерки, выдержки из дневников, даже тексты «с картинками». В каком толстом журнале вы увидите произведение, дополненное интересными иллюстрациями? А вот здесь имеется такое произведение — повесть-сказка Владислава Отрошенко «Наряд Мнемозины», которую дополняют замечательные рисунки Татьяны Морозовой. Есть тут и краеведческий очерк (Олег Ермаков, «Смоленский мост»), снабженный интересными фотоматериалами, и семейные архивы Михаила Стрельцова, и выдержки из прессы, освещающие жизнь СРП. Альманах выходит за стандартные рамки составления, он богаче и объемнее того, что принято включать в такого рода сборники. В итоге появляется возможность ознакомиться с самыми разными аспектами и вариантами творчества авторов, входящих в Союз российских писателей, включая тех, кто уже ушел из этого мира.

В рубрике In memoriam размещены стихи Людмилы Абаевой и Владимира Коробова. Это посмертные публикации замечательных поэтов, снабженные короткими, но емкими коммента-

риями Виктора Стрельца. «Поэты уходят — стихи голословно остаются наедине со временем. *Само*-стоятельно. Стихи, как могут, за себя стоят — содержанием». Но и другие произведения участников альманаха вполне могут постоять за себя, поскольку авторы подобрались по преимуществу сильные, а некоторые так очень даже известные.

Вряд ли кому-то требуется представлять поэта Юрия Кублановского или, допустим, Бахыта Кенжеева. Это, что называется, «тяжелая артиллерия», участие авторов такого уровня украсит любую антологию и любой альманах.

тем от смертного плена и лечится.
Веселей в нашей бездне висеть,
уповая, что цвет человечества
в мировую составит сеть

и охватит вселенную раннюю,
где над кельями чёрных сестер
пожилой инженер мироздания
перепончатый парус простёр

(Бахыт Кенжеев. «1988»)

Другие поэты, включенные в альманах, тоже выглядят достойно. В частности, тут опять отметилась Ната Сучкова из Вологды и тоже со стихами высокого уровня. Качественные подборки у питерца Анатолия Бергера, у Александра Чеснокова из Нижнего Новгорода, у оренбуржца Виталия Молчанова, да и у всех остальных участников поэтического раздела.

...а время плакало, и влагу пил песок
Обычных дней, похожих друг на друга.
Летала кисть — мазок, ещё мазок...
Холст отвечал пружинисто, упруго,
Чуть смазывая тёмные года
Ворсинками шершавого пространства,
И кари глаз блестящая слюда
Лубочно попрощалась с ренессансом

(Виталий Молчанов. «Над городом»)

Хотелось бы отметить такую особенность альманаха, как репрезентативность не в масштабах обеих столиц,

а в масштабе страны в целом. К примеру, поэта Виталия Молчанова лично я открыл, пересекшись с автором во время одного из литературных фестивалей и получив книжку в подарок. Но это было случайное событие, я вполне мог бы пройти мимо талантливого поэта из Оренбурга; и то, что «Лёд и пламень» (как, впрочем, и разобранный выше «Паровоз», где тоже опубликована подборка Молчанова), не дает пройти мимо — заслуга издания, ну и, конечно же, его составителей. География в этом альманахе не столь отчетлива, поэты и прозаики из разных городов существуют на страницах вперемешку, но это неважно. Главное, что создается довольно широкая панорама, своего рода литературный хор, в котором на свой лад поют уроженцы Тольятти, Смоленска, Вологды, Ярославля, Екатеринбурга и т.п.

Определенный «перекос» наблюдается разве что в прозаическом разделе, где присутствуют в основном московские авторы, почти все — довольно известные. Открывает альманах проза букеровского лауреата Олега Павлова; далее мы ознакомимся с рассказами Бориса Евсеева, Алексея Варламова, Светланы Василенко, Александра Яковлева, да и уже упомянутый Владислав Отрошенко — тоже москвич. Все это сильные литераторы, помещение их в альманах придает изданию вес, авторитет, но при этом сужает возможность новых открытий. Старый конь борозды не портит — истина неоспори-

мая; но в этом случае «коням» помоложе на поле уже не находится места.

Показательно в этом смысле и довольно скромное присутствие на страницах альманаха питерских авторов. Один поэт (вышеупомнутый Бергер), один прозаик — Михаил Кураев, ну и один драматург — недавно переехавшая в Питер Валентина Кизило. Вряд ли составителям неизвестен тот факт, что в Петербурге проживают десятки авторов, которые с полным правом могут присутствовать в этом издании.

Впрочем, замечания насчет представительства, пропорций и процентов присутствия не стоит воспринимать как упреки. Если звезды сойдутся, как надо, и альманах будет выходить с заданной регулярностью, все достойные литераторы, входящие в СРП, попадут на эти страницы.

В заключение повторим, что вопрос о целесообразности составления и выпуска подобных изданий — не является вопросом. Без сомнения, такой «смотр сил» членов наиболее состоятельной и сильной писательской организации страны время от времени проводить нужно. Это интересно самим писателям, особенно из глубинки, поскольку такие издания помогают ликвидировать провинциализм и способствуют тому, чтобы литераторы из регионов не варились в своем соку. Интересно это и читателю, который ни в одном другом месте не ознакомится со столь представительной панорамой современной российской словесности.

Нина Габриэлян

Палиндромы судьбы Глана Онаняна

Свою новую книгу стихов Глан Онанян назвал «Палиндромы судьбы». Это название как бы аккумулирует в себе те тенденции, которые наметились в творчестве поэта в последние десять лет. Как известно, палиндром (греч. *palindromeo* — «бегу назад») — это слово, фраза или стих, одинаково читающиеся слева направо и справа налево. Однако ценители этих виртуозных форм будут разочарованы: ничего подобного они здесь не обнаружат. Для Глана Онаняна «палиндромы судьбы» — это не литературная форма, а метафора человеческой жизни:

По стене вертикальной мы круги нарезали,
Но стена истончалась, качаясь спяная,
Миновав лепрозорий, мы влетали в розарий,

Но от ангельских крыльев люто ныла спина,

Жизнь звено за звеном — жёлудь, дуб
и дубрава,
Только огненный конь вдруг встаёт на дыбы:
Пепел справа налево, пепел слева направо,
Так зачем ворошить палиндромы судьбы?

Палиндромы судьбы, перевёртыши Рока,
Озорная игра перепутанных строк —
Каждый смертный в бессмертье уходит
до срока,
Не успев изменить зашифрованный срок...
(«Палиндромы судьбы»)

Основной лейтмотив новой книги поэта, недавно разменявшего девятый десяток — взыскание смысла жизни, и своей личной, и жизни как таковой.

Глан Онанян. «Палиндромы судьбы». — М.: «Голос-Пресс», 2013.

Это попытка заглянуть по ту сторону вещей и событий, уловить за физическим планом мира отблески мира метафизического, заново прочитав личную историю, нащупать глубинные связи между разрозненными событиями, расшифровать «тайные знаки» судьбы, «раскодировать Фатум».

Следуя стратегии чтения палиндрома (слева направо и справа налево), Глан Онанян пытается заново перечитать свою жизнь — от рождения до нынешнего дня и в обратном направлении, продвигаясь вспять по оси времени к исходной точке.

Попасть в прошлое можно разными способами. Например, погрузиться в сновидческую реальность:

Мне снятся лоза виноградная,
Рождение и рождество,
И мама моя ненаглядная —
Младенческих снов божество...
(«Младенческих снов божество...»)

Однако игры со временем чреваты неожиданностями. Устремляясь в прошлое, к радостным дням детства, можно вылететь в совершенно иные пространства:

Там хорошо, там весело,
Там все мои родные.
Там Смерть, резвясь, развесила
Гирлянды ледяные,

Там в зеркалах завешанных
Дробятся голограммы,
Живут во снах завешанных
Улыбки папы-мамы...
(Триптих «На крутом берегу»)

Веселый приплясывающий ритм, очень похожий на ритм детской песенки «В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла», выносит лирического героя за пределы физического мира, туда, где радостный семейный хоровод превращается в «данс макабр» — пляску смерти.

Сочетание трагического содержания и бодрого, порой даже разухабистого ритма характерно для многих стихов этого сборника. Это создает эффект трагифарса, который зачастую усиливается за счет использования дактилических рифм, близких к каламбурным (весело-развесила, парировал-препарировал и т.д.). В поэзии Онаняна ритм несет на себе важную нагрузку, именно он сдвигает смысловые акценты, дает возможность совместить несовместимое, например, «данс макабр» с шутковской пляской:

Изнемогаю, рожи корчу,
Глотаю слёзы и пляшу...
(«Юбилейное»)

В поэтическом мире Глана Онаняна перегородки между разными явлениями жизни, уровнями материи, отсеками психики, эмоциональными состояниями очень тонкие, зыбкие, проницаемые. В пределах одного стихотворения ликование способно мгновенно смениться взрывом отчаянья, гнев — смирением, лиризм — сарказмом... Это парадоксальный мир: здесь «Всё... нелинейно // От корпускул до полей...», из любой точки обыденной реальности можно вылететь как в мегамир, «закольцованный // Хула-хупом орбит», так и в микромир, и в антимир. Здесь все чревато всем: «лепрозорий» потенциально содержит в себе «розарий», а в «жалости» может таиться «жало». И это не просто игра слов, обусловленная их фонетикой. За звукорядом брезжат смысловые связи.

Глан Онанян исследует пласты реальности с упорством и упрямством

естествоиспытателя, отказываясь принимать на веру какие бы то ни было априорные постулаты. Подобно анатому, он срезает с видимого мира «за слоем слой», стремясь увидеть собственными глазами, каково же истинное мироустройство: «Мир реял и блистал, // А я его пластал, // Живого препарировал...» («Урок анатомии»). Занятие, заведомо небезопасное. И потому, что «страшно одному // В прозекторской обители...». И потому, что, устремляясь в глубь реальности, можно угодить и в водовороты хаоса, и в зоны турбулентности, и в провалы пустоты. Надо обладать большим мужеством, чтобы пройти сквозь них. Глан Онанян отважный мыслитель. Он заглядывает в такие пласты реальности, созерцать которые решается не каждый. Там все вибрирует, зыбится, вихрится:

Мир — продукт флуктуации,
Игр азартных продукт,

Он в полях радиации
Звёздным ветром продут...
(«Челюсти»)

Это мир, колеблемый в самых своих основаниях, продуваемый насквозь. Человек, заглянувший за грань привычных представлений, туда, где «все двоятся и рябит», все непредсказуемо, и осознавший, что «геометрией Эвклида... мир не спеленать», уже не может вернуться к обыденным уютным шаблонным способам смыслообразования. У него иная точка обзора, иной масштаб видения, иной взгляд на земную жизнь:

Мир висит на ржавой шпильке
С полусорванной резьбой,
Рыжий олух ест опилки
И смеётся над собой...
(«Чик-чирик...»)

В «Палиндромах судьбы», равно как и в других последних по времени сбор-

никах стихов Глана Онаняна, жизнь все чаще предстает как трагифарс, цирковое зрелище, бал-маскарад:

Арлекин и Пьеро,
Симулякры, кадавры, фантомы...
Ставит жизнь на zero —
Кем, куда и зачем мы ведомы?
(«Жизни бал-маскарад...»)

На этом карнавале жизни поэт примеряет к себе различные маски, чаще всего — шута и дурака. «Старый клоун», «усталый шут», «рыжий олух», «скоморох», «лицедей» — вот неполный перечень самохарактеристик, которыми изобилует сборник.

Но, как известно, в карнавальной стихии шут и дурак — фигуры отнюдь не второстепенные. Как писал в свое время Михаил Бахтин, «самая наружность их, все, что они делают и говорят, имеет не прямое и непосредственное значение, а переносное, иногда обратное, их нельзя понимать буквально, они не есть то, чем они являются... Им присуща своеобразная особенность и право — быть чужими в этом мире, ни с одним из существующих положений этого мира они не солидаризируются, ни одно их не устраивает, они видят изнанку и ложь каждого положения. ...шут и дурак — "не от мира сего" и потому имеют особые права и привилегии»¹.

Ощущение своей чуждости этому миру — один из лейтмотивов поэзии Онаняна: «Мы все здесь чужие, на этом празднике жизни...» («Чужие»). Это ощущение связано с мыслью об иллюзорности всех человеческих представлений и постулатов:

И жизнь иллюзорна, и смерть иллюзорна,
Всё майя, всё — мнимостей наваждение,
И даже граната трансгенные зёрна
Подделаны, как права на вождение.
(«Чемодан без ручки»)

Образ мира, каким он рисуется человеческому сознанию, иллюзорен, потому что сама душа человека в ее актуальном состоянии является лишь наброском какой-то иной, высшей реальности:

...Душа, ты жива ли,
Пожалуйста, скажи —
Тебя свежевали
Проворные ножи,

В конце без начала,
В начале без конца
Ты криком кричала
На кухне у Творца,

Ты гнулась под пыткой
Трепещущей дугой,
Наброском, попыткой
Реальности другой...

(«Реинкарнация»)

По сути, этот мир предстает в стихах Онаняна как нечто недолжное по отношению к реальности иного непостижимого уровня:

Все мы — падчерицы и пасынки,
Вечно ищущие Отца,
Но над ульями Божьей пасеки
Только марево и пыльца...

(«Недосказанное»)

Мысль о непостижимости мира не дает поэту принять какую-либо мировоззренческую концепцию в качестве единственной и окончательной. Отсюда полифонизм, многоголосье его поэзии. Он озвучивает множество разных, зачастую взаимоисключающих точек зрения на один и тот же предмет, как бы испытывая каждую из них на прочность. По сути, это вопрошание в форме утверждения. И чаще всего в стихах последних лет и в том числе в «Палиндромах судьбы» это вопроша-

¹ М. Бахтин. «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» // М. Бахтин «Вопросы литературы и эстетики». М., 1975, с.с. 308-309.

ние относится к последнему событию человеческой жизни — уходу из этого мира. Как в калейдоскопе, Онанян прокручивает всевозможные сценарии жизни за пределами физического мира — от полного отрицания какой-либо формы посмертного существования («Мы приходим ниоткуда — // Исчезаем навсегда») до надежды на то, что там, за роковой чертой «Вот-вот закончатся мучения, // И оживёт твой старый друг...» В этом вопросе Онанян скорее всего агностик, страстно жаждущий веры:

Проклиная свою потерю,
Я под занавес хлопну дверью,
Прохриплю, уходя во тьму,
Что не верю я ничему,

Никому, никаким заветам —
Но, неверующий, я при этом
Даже сам своему неверью
Не верю!

(«Пылающий шар»)

«Палиндромы судьбы» — это вопрошание смысла жизни вблизи последней черты в продуваемом насквозь мире. Это горькая и мудрая книга мужественного человека. И что главное, большой жизненный опыт, в том числе и опыт страдания, глубина мысли, сила чувств претворены здесь в истинную поэзию. Глан Онанян не просто стихотворец, рассуждающий на те или иные темы, он — Мастер, виртуозно владеющий всем арсеналом поэтических средств. Его поэзия гармонична, но это не поверхностная гармония благодушного человека, не беспокоящего себя «неудобными» вопросами, но поэтическое совершенство, выстраданное всей жизнью и опытом погружения на большую глубину.

Моя Айдан Салахова

Я вспоминаю годы учебы в институте им. В.И. Сурикова и думаю — сколько талантливых ребят из разных республик, городов и уголков огромного Советского Союза учились со мной. Мы знали по всесоюзным выставкам в Манеже и по авторским экспозициям в Домах творчества, какие интересные работы можно увидеть в Таллине и Вильнюсе, Баку и Ереване, Тбилиси, Киеве и Ташкенте.

Я была хорошо знакома со многими художниками из Азербайджана. Это и недавно ушедший из жизни Тогрул Нариманбеков, и Фархад Халилов, и всем известный, всеми уважаемый Таир Салахов, и Рауф Мамедов, и другие. Когда-то уехавшие из Азербайджана, они сохранили неповторимо яркую палитру красок, как например Тогрул Нариманбеков, много лет проживший в Америке и умерший в Париже. Цвет Апшерона я чувствую в абстрактных работах бакинца Фархада Халилова. С юности мне запомнились картины «сурового стиля» Таира Салахова. Художник Рауф Мамедов работает и выставляется в Москве и в других столицах мира. Многие мои друзья, с которыми я училась, представляют разнообразный и сложный пейзаж — картину современного искусства Азербайджана.

Я написала эту преамбулу, чтобы рассказать немного о жизни и творчестве моей современницы, замечательной художницы Айдан Салаховой, дочери знаменитого Таира Теймуровича Салахова.

Айдан Салахова — вопреки расхожему выражению «на детях гения природа отдыхает» — необыкновенно популярна среди живущих ныне художниц и среди любителей живописи. Кто не слышал о галерее «Айдан»? Эта галерея открыта и уже много лет работает на «Винзаводе» в Москве, а также представляет своих художников на других площадках России и за рубежом — самых разных, самых непохожих по творческой манере, но очень ярких художников. Мне тоже по приглашению Айдан Салаховой посчастливилось показать свою видеоинсталляцию «Один день лета» в галерее на «Винзаводе».

Но, конечно, главное для Айдан — это ее собственное творчество. Получив прекрасное образование, она могла бы пойти по стопам отца, оваянная его славой. Но время было уже другое — время поисков. И от живописи Айдан смело переходит к инсталляциям и к видеоинсталляциям, постоянно экспериментируя и находя новые формы творческого выражения своих идей. Мне всегда импонировали художники, которые не останавливались на достигнутом, не успокаивались, не обольщались успехами, а неустанно искали новые формы в искусстве. Именно к таким художникам принадлежит Айдан Салахова.

Айдан неоднократно участвовала в различных международных выставках

и биеннале, в том числе в престижной Венецианской Биеннале современного искусства в 1999 и в 2011 годах. Айдан увлечена историей взаимодействия культуры Востока и Запада, она, в частности, исследует актуальные темы запретов, эзотерики и красоты.

Помню большую выставку Айдан Салаховой в московском Музее Современного искусства, на которой я ожидала увидеть привычные компьютерные работы, но неожиданно для себя обнаружила скульптуру — удивительно сложную по исполнению и глубокую по мысли. Последние работы Салаховой, знакомые по различным выставкам, посвящены образу восточной женщины, ее индивидуальности. На выставке на Гоголевском бульваре меня поразила удивительная трансформация этих образов в скульптуре, созданной в Италии из знаменитого каррарского мрамора, с которым работали лучшие скульпторы всех времен и народов, начиная с Микеланджело. Меня поразила изысканная графика Айдан, где представлены таинственные, прекрасные, обольстительные и трагические женщины Востока. Только такой тонкий стилист, как Салахова, могла создать эти волнующие образы, полные обаяния, современные по исполнению и сохраняющие вековую связь с персидской миниатюрой или японской гравюрой времени Хокусаи. Скульптуры, изображающие женщин из черного мрамора с тонкими белыми пальцами, напоминают своей трагической обреченностью жертвенные камни, готовые плакать... Подсвеченные, в большом зале, удивляют своим исполнением белые свитки из мрамора, которые, казалось, сотканы из света.

Выставка замечательно заканчивалась (или начиналась?) — документальным фильмом, где красавица Айдан в рабочей одежде сидела за большим рабочим столом вместе со своими подмастерьями, обсуждая творческие проблемы.

Потом я спросила: что же это за мастерская, так похожая на мастерские советских художников 1960-х годов, таких художников как Вучетич или Манизер? Айдан сказала: это просто современная мастерская итальянского скульптора.

Уверена, что сейчас Айдан Салахова делает что-нибудь удивительное. Будучи профессором Суриковского института и возглавляя мастерскую современного искусства, она сумеет изменить имидж института, а ее студенты непременно найдут, как и она, новые формы изобразительного искусства.

Татьяна НАЗАРЕНКО



Айдан Салахова

БЕЛОЕ № 1. 2012.
мрамор 100 x 80 x 20 см.



Айдан Салахова

ПРЕДСТОЯНИЕ № 1. 2010.
гранит, мрамор 180 x 80 x 80 см.



Айдан Салахова

ПРЕДСТОЯНИЕ № 3. 2012.
гранит, мрамор 180 x 80 x 80 см.



БЕЗ НАЗВАНИЯ. ИЗ СЕРИИ
«ПЕРСИДСКИЕ МИНИАТЮРЫ». 2012.
бумага, тушь, акрил, карандаш 76 x 56 см.



Айдан Салахова

БЕЗ НАЗВАНИЯ. 2012-2014.
холст, акрил, карандаш 200 x 55 см.

Расцеп. Раздор. Разбор

Рубрику ведет Лев Аннинский

— А сейчас где мы?
— Да в раю мы, в раю!

Анатолий Ким. Радости рая

После «Белки», в критическом обсуждении которой (не лишенном скандальности) я участвовал, Ким на время выпал из моего читательского внимания. И зря.

Попадись мне лет 15 назад опубликованная тогда «Стена», — могу себе представить как врезался бы в мое сознание вот такой отечественный пейзаж:

«Два великолепных белокаменных собора украшали этот городок, два архитектурных шедевра, построенных когда-то князьями Волконскими и графьями Бутурлиными. А может быть, и не графьями, и не князьями — но, несомненно, людьми высокородными, богатыми и весьма кичливыми. Потому как совершенно неоправданным и нелепым было возведение двух таких величественных и дорогих храмов на одной соборной площади, метрах в пятидесяти друг от друга, в одном и том же приходе».

Два храма на одном пятачке единой неделимой земли! Какая беспощадно-точная зарисовка нашего разодранно-родственного сознания, какое абсурдное соперничество уловлено тут, какая взаимная непримиримость в любви нашей к Единому Богу!

Теперь, прочтя повесть в очередном томе собрания сочинений Анатолия Кима, я вижу, что дело вовсе не в том саморазъедающем сознании, которое подметил своим узким, острым глазом отпрыск обрусевших корейцев. Дело в некоем общем, всечеловеческом, изначальном обречении чувств, отрицающих одно другое и притом неразрывных. Любовь молодоженов, на два года соединившая их в счастливом браке, раскрыта изнутри фатальной ненавистью. Стена! Вовсе не ими воздвигнутая, а стоящая между душами влюбленных «во все времена их существования». И разделяющая, и соединяющая их!

Писательская виртуозность Кима доходит до того, что он сцепляет расцепленные эмоции своих героев в одном абзаце и даже в одной фразе, так что мы по одной только интонации определяем, где он, а где она... Болит, плачет, смеется, умирает то, что изначально их роднит, а теперь откатывается в разрыв. В «той» *преджизни* роднит, а в «этой» *послежизни* сводит заново, сплетая ад и рай, а потом опять разводит, может, затем, чтобы свести опять в какой-то «той» жизни — после «этой» смерти...

«Смерть вообще ничто, некий фокус и обман, чистое надувательство».

А это уже из «Поселка кентавров», который жанровой страсти ради назван «романом-гротеском», а по сути представляет собой попытку предъявить нам логику живого существа, составленного природой (и воображением) из несоеди-

нимых, иногда враждебных друг другу частей, но тою же воображенной природой обреченных на единство.

Кентавр. Полуконь-получеловек. Ни с людьми, ни с лошадьми не смешивается. Что он такое? Исчадь раздвоенной двуединости? Конское колено... человеческая талия... кобылы бока, лошадиные ноги... «левая передняя, правая задняя...» Не поймешь, что для чего. «Союз независимых членов». Единое тело, в смертельных драках раздираемое на независимые части, бьющиеся среди зловонных кишок и распоротых животов.

Что это все значит? Ошибка природы? Находка природы? «Кобылье веселье», прикрытое «лошадиным спокойствием». Составные части прекрасны, как... у Адониса, Аполлона. А судьба трагична: кентавромахия, столь же абсурдная (гротескная по жанру), как совокупление кобылицы и человека, от чего произошли эти конелюди с тем чтобы исчезнуть в безумных потасовках и смертельных схватках...

Горечь этих жертв искупается у Кима самозабвенными описаниями брачных союзов, о коих философ Евклид, мобилизованный в роман, говорит так:

«Да это же какой-то половой экзистенциализм!»

В полном соответствии со своей запредельной сверхзадачей Ким венчает биологический эксперимент следующей филологической кодой:

«И наблюдая вокруг такое большое число мучительных смертей, кентавры понимали их неотвратимость, не противились судьбе и желали себе только одного: быстрой смерти, легкой и милосердной *серемет лагай*».

А это еще что за член... предложения? Набирая курсивом такие кентаврические словеса, Ким не объясняет их смысла, справедливо полагая, что смысл ясен из контекста. Тем более, что контекст чаще всего узок, как брачное ложе. (С одним, впрочем, исключением: служебных собак Ким именует *энкаведами*, — но это политическое озорство — между делом). Дело же серьезно и патетично: кентаврическое племя жаждет быстрой и легкой смерти, потому что оно изначально обречено.

Природой обречено. Ходом вещей. Складом бытия. Непонятно чем.

Может, тем и хорошо, что непонятно.

Подходя к своему огромному, около полутысячи страниц, итоговому эпосу — роману «Радости рая», — Ким копит проблемы, которые выходят за пределы лабораторного поселка кентавров и за стены, которые разделяют влюбленных, — речь идет об основах мироздания, причем не воображенного, а реального, исторического, переживаемого нами.

Тайна реального — необъяснима. Человек необъясним самому себе. Происходящее с ним лучше всего излагать с невинной улыбкой ребенка.

«Детей дает Бог»?

Да понимал ли Бог, когда затевал человечество, что оно наломает столько дров? И при чем тут Бог? «Человеческий народ сочинен не Богом, а чертом наверное...»

А как все это разграничить: черта с Богом, правду с иллюзией, бытие с небытием, когда между ними... *покров*, который нащупывался уже в «Белке»? В «Радостях рая» — это *завеса*...

«Легчайшая и непроницаемая завеса мира скрывает за собою радость жизни, похожей на Божественное существование, и этот дивный полог отвесно стоит в воздухе, подобный земной многоцветной радуге, которая становится видимой лишь в минуты влажного просветления солнца после чистого дождя».

Только после дождя?

«Изгибающееся пространство» инобытия делает прозрачной завесу между жизнью и смертью, между миготом твоего бытования и безграницей вечности, между *кувырком* твоего появления на этот свет и *кувырком* твоего ухода на тот свет... то есть возвратом к вечным безответным вопросам.

«Да разве человек может помнить, откуда он спустился на землю?»

Все, что происходит в мироздании, происходит *нигде*, то есть *никогда*.

Тогда зачем терзать завесу и задавать своему времени вопросы, на которые ответов нет и не будет?

Тем интереснее!

Например. Какой смысл обустривать новоиспеченную демократию и громкогласно на площади договариваться о правах и обязанностях сторон, если *сторонке*, в переулке, тихо стоят наготове танки?

Это — о событиях 1990-х годов.

Или: как характер русских женщин, готовых «мгновенно полюбить и тут же убить», сказывается на характере империи, когда народы, «покоренные обаянием русских глаз», готовы поверить им до конца, но не успевают, потому что «завоеватели принимаются рубить им головы».

Это — о тысячелетней нашей истории.

Или: откуда в процветающем государстве — такое «неимоверное количество отработанного человеческого материала»?

Тут — подробнее:

«Огромная туча бездомных, безработных, безобразных, безденежных, безвозрастных, безликих (все на одно лицо, словно в монголоидной маске), без документов, без памяти, без совести, без жалости, без стыда, без чувства, без брезгливости, без носков (обувь на грязную босую ногу), без нижнего белья (снятого и выброшенного за ненадобностью, полуистлевшего, всегда сырого из-за мочи) — так называемых бомжей?»

Между прочим, мастерски сделанный перечень, точная зарисовка... чего? Того, чего на самом деле *нет*. Только видимость.

Как только Ким принимается что-то детально перечислять, — перечень окрашивается мороком мнимости, сумерками потери — укрывается тихой завесой.

«Ибо был послан Спаситель... чтобы показать, как проехать нам, всем скопом, всей общечеловеческой кюадрильей, камарильей, эскадрильей, армадой, громадой, командой, корпорацией, корпоративной вечеринкой, великосветской тусовкой, бал-маскарадом, парадом, парадом пожарных команд, всемирной историей — к тому месту в мировом пространстве, где раздавали райские радости».

Хорош перечень, замечательна маркировка пути к радостям, которых нет и не будет!

«После каждой смерти, в состоянии нового *безсмертия*, я смог выбирать любую дорогу, не знал ни ада, ни рая и никто меня ни к чему не принуждал, не стыдил меня, не гнобил, не упрекал, не дразнил и не собачился, показывая мне клыки, не шантажировал, не избличал, не тянул за ухо в суд, не глумился надо мной, показывая язык, не совал фигу под нос, не выкручивал мне руки, не бил мордой об стол, не заставлял есть дерьмо под дулом пистолета, не третировал, не давил, не скрежетал зубами мне вослед, не материл меня, не вызывал на ковер, не продавал, не предавал, не эксгибиционировал предо мной, не тюкал меня по голове, не мочил в сортире».

Замечательная сервировка бытия, которого нет. А есть — вечный, безответный, скользящий вдоль псевдобытия вопрос: а где у всего этого... смы-ysl?!

— Зачем вы живете? И где ты найдешь смысл жизни, если его никогда не имел и, стало быть, не терял? Никакого толку не было (сейчас последует заволаживающий перечень того, в чем не было смысла) «в эволюциях и цивилизациях»... То есть: «в эволюции, революции и цивилизации» нет ничего, что подтвердило бы «хоть маленький смысл».

Поиски смысла увенчиваются следующим обменом доводов:

« — Ты же смысла жизни ищешь.

— Ничего подобного. Я ищу трусы, которые упали под кровать».

Оставив героя (несколько утомленного совместными поисками маленького смысла в паре с неотразимой американкой) нашаривать истину под кроватью, Анатолий Ким возносит нас к деятелям, вписавшим свои имена в мировую историю.

Чтобы избежать упреков в субъективности, он избирает что-то вроде алфавитного подхода: сначала — все, кто на «А». Точнее, все, кого зовут «Александр». От Александра Македонского до Александра Солженицына. С упором на Александра Первого, скрывшегося после кончины неизвестно где, на Александра Кима, появившегося на свет, чтобы обрусеть и породить внука-писателя, и наконец, на Александра Циолковского, покинувшего этот свет в отчаянии, пока отец его Константин Циолковский бился над тем, чтобы отодвинуть *завесу* и открыть человечеству цель бытия...

И открыл?! Вот бы у кого спросить:

«Правда ли, правда ли, что христианская идея любви людей друг к другу есть всего лишь суть выражение вселенского закона, по которому живут и здравствуют в беспредельном Космосе все одухотворенные небесные тела? Звезды небес любят друг друга, поэтому вид их столь радостен, светел, лучезарен?»

А вдруг эта чаемая им лучезарность — лишь реакция калужского учителя физики и астрономии на советский лозунг: «Кто был ничем, тот станет всем»? «Несовершенные миры ликвидируют...» Это о ком, Константин Эдуардович?

Нет, лучше не прицеплять Циолковского к красным лозунгам — он ведь совсем другого цвета:

«— Дорогой Константин Эдуардович, темно-синенький мой учитель, ты бы сказал, прежде чем переходить в лучистое состояние, — зачем нам нужно было быть вечно? Зачем было меняться постоянно, постепенно, эволюционно, бесконечно? Эволюция — перемена к лучшему, что ли? И лучистое состояние — разве было более предпочтительным, чем все прежние? Ты выбрал это состояние и полетел — бывший глухой учитель из Боровска — бог знает по какому участку искривленного пространства — и тебе стало хорошо?»

Все прежние и все грядущие состояния — разве не одно и то же, если смотреть в корень? То есть — «мы были раньше звездами, потом пали на землю метеоритами и, проклюнувшись из них грибами, эволюционировали далее в травы, животных и людей?».

А дальше что?

«А через них опять эволюционировали в лучистое состояние...»

«— Но зачем, зачем, Константин Эдуардович? Зачем это челночное движение? К чему такой суетный вселенский маятник? Ведь это так же скучно, как бесконечность самого веселого существования, в котором единственным развлечением была игра в смерть! Которой на самом деле никогда и не было! Если

жизнь бесконечна, то где же смерть? Если бы она была, то и живая вселенная однажды умерла бы — и тогда бесконечность проглотила бы самое себя, начиная с собственного хвоста. Тогда зачем бы нам было рождаться из хаоса и выныривать в жизнь из бездны, Константин Эдуардович?»

«— Что, так и тянет заглянуть в бездну? Забыли, что сказал Фридрих Ницше?»

Помним, помним! Не заглядывай в бездну, а то ведь и бездна может заглянуть в тебя.

Разум отшатывается от края.

Не найдя утешения в идеях мудрецов, Ким возвращается к страданиям праведников. И тут из толщи повествования (которое отдает у Кима то философским неистовством, то хаотическим веротерпением) прорезается история жизни и смерти Андрея Первозванного... лучшая, я думаю, глава книги — по силе сочувствия рыбаку, которого первым окликнул Христос на берегу моря и которого занесла судьба на берег совсем другого моря (к местам, в которых эру спустя появится Киев), а потом вернула в Грецию и истязала на кресте, искаженном палачами, поставившими крест *вкось* (эру спустя именно этим *косым* Андреевским крестом будет увенчан русский военно-морской флаг).

«И он поминал Русь в проповеди той минутою, когда его привязывали веревками за руки и за ноги к Х-образному кресту по велению правителя Египта, римского прокуратора в городе Патра...»

Но почему, почему, Господи?

«— Андрей, не печалься. Я все же пришел на Русь, а твое усердие не было напрасным. Ты стал апостолом-покровителем русской Православной Церкви...

— Но отчего же доброе Слово Твое, родившись в мир, не могло прийти на Русь целых тысячу лет, хотя мне, Твоему посланцу туда, в первый же век рождения Иисуса Христа, удалось даже поставить крест на Киевских холмах?

— Я тоже тогда, когда еще был Богом-младенцем, возлюбил Срединную Русь, где северная ледяная ярость полярных айсбергов сходилась с южными вулканами, с их огнедышащим бешенством...»

Ярость и бешенство — замечательная рамка для картины чаемого рая?

Это вам не лучезарность, наблюдаемая в ходе лабораторного эксперимента. Не в лабораториях она получается, а в местах, весьма отдаленных от научных институтов и мозговых центров...

Хочется переспросить: в тех местах, где ледяная ярость переключается с огненным бешенством? До чего же это по-нашему...

Не только по-нашему! Это цель главного поиска для всего бедного человечества.

Обязательно бедного?

— Вот, понимая бедность только как социальную язву быта, умники и воображают, будто они получили от Вершителя Мира задание спроектировать на земле не метафизический, но вполне реальный рай с физико-математическим обоснованием.

А если получится? Разве человек не рожден для... счастья?

Кажется, это тот самый, «последний» вопрос, которым заразился Ким в русской ойкумене. И вот ответ, который увенчивает эпопею:

Вовсе не для «счастья» рожден человек. А для *райского* счастья! Для испытания которого и были придуманы люди.

Постойте, так в чем разница? Счастье реальное или счастье райское?

А чтобы это осознать, надо той несчастной женщине на верхнем этаже заплывшего нью-йоркского близнеца-небоскреба почувствовать надвинувшу-

юся гибель; тогда она звонит домой по мобильнику и говорит сквозь слезы срывающимся в нежность голосом:

«— Милый, я только теперь поняла, каким раем была наша с тобой жизнь, ты дал мне не меньше, чем Господь Бог, нет, ты дал больше, чем даже сам Господь Бог, и я Ему высказала бы слова благодарности за то, что Он нас соединил, — если бы не умерла скоро».

Она умерла скоро: через считанные мгновенья бешенство огня сменилось яростью ледяного финала — это обрушилась реальная стена небоскреба, и исчезла та мистическая *стена*, что в этой жизни разделяет влюбленных.

Что тут скажешь? Райские блаженства — как инобытие катастрофы?

Ой, это по-нашему!

Тоска. Тоска. И опять тоска.

«Ну, как при такой вселенской тоске не захотеть испытать райских блаженств?»

Тоска каменная! В том месте, где мы родились, — у Кима не просто камни, — у него — *тоска* камней! Невыносимость. Скука...

Чего ожидать? Что скуку прогонят «кормчие», которых коллективный разум пригнетет к рулям национальных кораблей и государственных машин, — «президенты, фюреры, генералиссимусы, команданте, дуче» — кажется, Анатолий Ким никого не упустил, разве что «фюрера»... И что же, после их самосожжения возвратится нам вместе с обыкновенным счастьем мирной передышки ощущение чего? Неизбывной вселенской... скуки? Которая потом опять сменится взрывами ярости и бешенства?! Ну, это, наконец, уж точно по-нашему.

Финал не описан, он нарисован Кимом. Недаром же в детстве будущий писатель посещал классы Московского художественного училища «Памяти 1905 года». Четвертый том собрания сочинений (который я рецензирую) украшают у Кима три десятка цветных иллюстраций, которые композиционно и колористически подтверждают профессионализм живописца. И — размах интересов: старая Москва. Сормово, Ока, Муром... И — Корея, Корея, Корея... Ее закаты, ее рассветы...

Композиционная хватка свойственна и черно-белым рисункам Кима. Но в них все пронизано нервно-дышащим штрихом и словно отделено от нас *завесой*.

Завеса исчезает — в финальном рисунке. Тихая городская улочка. Двухэтажный домик, ветхая деревянная пристройка, аккуратные деревья у тротуара. Купол церковки, выглядывающий из-за крыш.

Тишь, благодать? Пространство, не служащее «ни мамоне, ни черным паукам звезды или свастики». Элементарное счастье?

Рисунок назван: «Русская провинция. Тоска».

Тоска... Куда мы от нее денемся? Сгорим? Окоченеем?

Где мы, наконец?

Нескончаемая работа духа продолжается.

Распад. Раздор. Раздел. Разбор. Разбег. Раздрай. Рассвет. Расцвет...

Summary

Golden Pages

Under this heading we present here some poems by Boris Slutskij and his translations from Gevorg Emin and Debora Vaarandi. The prose works of Andrej Platonov are reread anew by Roman Senchin.

Maria Anufrieva. The Eaves

In M. Anufrieva's novel «The Eaves» is the name of one of peculiar places of entertainment in St-Petersburg. Though places like this are surely available in other cities too. Of course the title of the novel is metaphoric. The young author is trying to discuss the things not everybody would dare to speak of. In the same way her protagonist is moving through the life as if along some eaves at every moment running the risks to slip and fall down

Poetry

Lyrics by Vladimir Salimon, the New Pushkin prize winner, abides at that kind of poetical heights that elevate the life as a whole, down to its trifles. Such lucidity and simplicity are not up to everybody. But Dmitrij Rumyantzev from Tomsk, Natalya Polyakova from Moscow and Anatolij Maruschak from Kherson — each in his/her own way — prove their alliance with this vein of poetry.

Liana Alavardova. We Were Going, Going — And Where Have We Got To?

In his memoir book Richard Nixon writes that many years ago in Moscow Khrushchev had arrogantly foretold him: your grandchildren will be living in the times of communism. He answered then: and your grandchildren will be living in the times of freedom. At that time, admits Nixon, he was sure that Khrushchev was wrong but he was not sure of his own rightness. The new Soviet revolution proved my rightness, — exclaims Nixon. Comment is superfluous? Or?..

This «or?..» is the subject of analysis undertaken by our compatriot living in the USA.

Mikhail Rumer-Zaraev. Returning Onto the Soil

What are the bottoms of the «Israeli agricultural miracle»? The author of the essay tells how the country which had been beginning with the food cards within a few years managed to create the industrial farming oriented toward export.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На журнал «Дружба народов»

можно подписаться с любого месяца во всех отделениях
Почты России

подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» —
70250

подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» —
91826

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала
дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале
<http://drujba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале
<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>